Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

На правах рукописи

Шунков Александр Викторович

«ПЕРЕХОДНЫЙ ТЕКСТ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ

10.01.01 – Русская литература

Диссертация
на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Научный консультант:
доктор филологических наук, профессор
Лебедева Ольга Борисовна

Томск – 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……..... 4

ГЛАВА 1.
«ПЕРЕХОДНЫЙ ТЕКСТ»: ДИНАМИКА ТРАДИЦИОННОГО СЮЖЕТА И МОТИВА В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА…… 35

§ 1.1. «Переходный текст» в русской литературе как научная проблема в отечественной и европейской медиевистике …… 35

§ 1.2. Церковная книжная традиция в условиях переходного периода («Сказание об Успении Богородицы» царя Алексея Михайловича) ……. 50

§ 1.3. Беллетризация обрядового сюжета в повествовательной традиции переходного периода
(«Повесть о преставлении патриарха Иосифа», послание Алексея Михайловича князю Н. И. Одоевскому 1653 года) ……. 71

§ 1.4. Притча о блудном сыне и ее интерпретация в эпистолярной традиции переходного времени: традиция и новизна
(Послания царя Алексея Михайловича) …… 86

§ 1.5. От текста Средневековья – к тексту Нового времени: динамика художественной картины мира в русской повести переходного периода (вторая половина XVII века – 30 годы XVIII века)
«Повесть о Горе-Злочастии» …….. 101

§ 1.6. «Блудный сын» Петровского времени: новые аспекты в интерпретации евангельского мотива в русской беллетристике первой трети XVIII века
(«Гистория о Василии Кориотском…», «Гистория о храбром российском кавалере Александре…») …….. 113

Глава 2.
СОБЫТИЕ И ГЕРОЙ В КНИЖНОЙ ТРАДИЦИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА …….. 129

§ 2.1. Восприятие времени и его изображение в документальной книжности второй половины XVII века («Дневальные записки приказа Тайных дел») …… 129

§ 2.2. Историческое событие и его интерпретация в эпистолярной традиции переходного времени
(Послания царя Алексея Михайловича) …… 145

§ 2.3. «Поэтизация» мира души человека в эпистолярной традиции переходного времени. Литературная традиция и авторская индивидуальность …….. 160

2.3.1. От героя исторического масштаба – к герою повседневности (Послания царя Алексея Михайловича в Савво-Сторожевский

монастырь) ……... 160
2.3.2. «Новый герой» в эпистолярном наследии царя Алексея Михайловича……. 178
§ 2.4. Элементы беллетризации в документальном тексте переходного периода развития русской литературы
(Григорий Котошихин «О России в царствование Алексея Михайловича») …… 194

ГЛАВА 3.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ: ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ …….. 215
§ 3.1. Понятие «чина» в культуре и литературе Древней Руси……... 215
§ 3.2. «Чиновник» как книжный жанр Древней Руси – «текст-ритуал»…. 227
§ 3.3. Церемониальный текст второй половины XVII века как явление книжной культуры переходного времени (семиотический аспект) …….. 239
§ 3.4. Модель идеального универсума и ее воплощение в церемониальном тексте переходного времени
(«Урядник сокольничья пути») …….. 251
§ 3.5. «Чиновник» в литературной традиции переходного времени …….. 267
§ 3.6. Традиция церемониальной книжности Древней Руси в литературе Нового времени ……... 280
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……. 292
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …….. 304
1. Рукописные источники …….. 304
2. Опубликованные источники ……. 305
3. Исследования ……... 309
ПРИЛОЖЕНИЯ …… 344

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы

XVII век, как неоднократно уже отмечалось исследователями, – особая эпоха в истории русской литературы, подводящая итог средневековым традициям и одновременно открывающая перспективы Нового времени. Противоречивость эпохи была осознана как самими современниками, давшими ей и ее правителям эмоционально-окрашенные метафорические определения («Смута», «Смутное время», «тушинский вор», «бунташный» век, «тишайший царь» Алексей Михайлович), так и представителями науки, специально посвятившими отдельные исследования процессам, происходившим в русской культуре XVII века.

По насыщенности историко-культурными и литературными событиями и их динамике XVII век отличается от предшествующих периодов развития русской средневековой литературы. В отечественной историографии не раз уже высказывалось мнение о необходимости написания отдельной истории русской литературы XVII века, а именно переходного этапа в ее развитии (вторая половина XVII – начало XVIII века). Аргументов в пользу такого решения существует несколько[1], но объединяет их общее стремление комплексно исследовать и описать происходившие литературные события, противоречивые по своей природе в ряде случаев, но в конечном итоге в корне изменившие представление о литературе, роли автора, жанровой природе, принципах изображения человека и т. д.[2] Как справедливо отмечает П. Е. Бухаркин, «период

[1] Так, например, два известных академических издания произведений древнерусской литературы (12 томов «Памятников литературы Древней Руси» и 20 томов «Библиотеки литературы Древней Руси») в своей совокупности насчитывают 9 томов произведений, общим количеством почти 6000 страниц, представляющих литературный процесс XVII века. Четыре тома – в серии «Памятники литературы Древней Руси» (Т. 9: Конец XVI века – начало XVII века. М. : Художеств. лит, 1987.616 с., ил.; Т. 10: XVII век, Кн. I. М.: Художеств. лит, 1988. 704 с., ил.; Т. 11: XVII век. Кн. II. М.: Художеств. лит., 1989. 704 с., ил.; Т. 12: XVII век, Кн. III. М.: Художеств. лит, 1994. 654 с., ил.) и пять томов – в «Библиотеке литературы Древней Руси» (Т. 14: Конец XVI – начало XVII века. СПб.: Наука, 2006. 760 с.; Т. 15: XVII век. СПб.: Наука, 2006. 536 с.; Т. 16: XVII век. СПб.: Наука, 2010. 664 с.; Т. 17: XVII век. СПб.: Наука, 2013. 664 с.; Т. 18: XVII век. СПб.: Наука, 2014. 640 с.).

[2] Следует отметить, что на сегодняшний день подобный опыт создания учебника, посвященного изучению отдельного периода (этапа) развития русской литературы, уже имеется. См.: Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб.: Фак. филологии и искусств СПбГУ,

второй половины XVII – первой трети XVIII в. вполне можно описать именно как один определенный этап в истории русского самосознания, русского языка и русской литературы – принципиально важным здесь оказывается тот убедительный факт, что все эти три определяющие плоскости национальной жизни дают для этого основания»[3].

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день подобного издания, тем не менее, интерес к переходному периоду в развитии русской литературы не ослабевает. Наоборот, все больше публикуется научных статей, монографических исследований, акцентирующих внимание на репрезентативных явлениях в истории русской литературы XVII – начала XVIII века, на творчестве отдельных ярких авторов переходной эпохи[4].

Отечественная медиевистика, в основе которой лежат принципы научных подходов школы академика Д. С. Лихачева, при изучении литературного процесса XVII века, переходного этапа русской литературы в большей степени сконцентрировала свое внимание на тех произведениях, которые позволяют проследить формирование и развитие беллетристического начала в истории русской литературы[5]. В этой связи XVII столетие всегда оценивается как период в

2009. 498 с.; Его же. История русской литературы XVIII века (1700–1750-е годы). СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2013. 488 с.

[3] Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века (1700–1750-е годы) / П. Е. Бухаркин СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. С. 18.

[4] Приведем несколько фундаментальных работ монографического характера, посвященных этой проблеме. Демкова, Н. С. Сочинения протопопа Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества: Мат-лы и исслед. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та 1998. 329 с.; Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Яз. рус. культуры, 1999. 288 с.; Титова, Л. В. Послание дьякона Федора сыну Максиму. Литературный и полемический памятник раннего старообрядчества. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. 310 с.; Панич, Т. В. Книга «Щит веры» в историко-литературном контексте конца XVII века. Новосибирск: Сибир. хронограф, 2004. 332 с.; Сазонова, Л. И. Литературная культура России: раннее Новое время. М.: Яз. славян. культур, 2006. 896 с.; Севастьянова, С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: исследование и тексты. М: Индрик, 2007. 776 с.; Сазонова, Н. И. У истоков раскола Русской церкви в XVII веке: исправление богослужебных книг при патриархе Никоне (на материалах Требника и Часослова). Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. 296 с.; Ромодановская, Е. К. Римские деяния на Руси. Вопросы текстологии и русификации: исследование и издание текстов. М.: Индрик, 2009. 968 с.; Сазонова, Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени. М.: «Рукопис. пам. Древней Руси, 2011. 472 с.; Киселева, М. С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII–начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. – М.: Прогресс-Традиция, 2011. 472 с. и ряд других.

[5] Примером может служить известное научное издание: Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970.

историческом развитии русской литературы, сформировавший новую поэтику литературного текста. Критерии, которые чаще всего используются при оценке литературного произведения XVII века, сводятся к следующим: проявление личностного начала в литературном творчестве, индивидуализация персонажей, динамика жанровых форм, «обмирщение» литературы и т. д. Выводы, сделанные в свое время И. П. Ереминым[6], Д. С. Лихачевым[7], А. М. Панченко[8], А. Н. Робинсоном[9], А. С. Деминым[10], Е. К. Ромодановской[11], Л. И. Сазоновой[12] и другими учеными, по сути стали аксиомой и приводятся в значительном перечне работ, посвященных изучению разных аспектов литературных явлений XVII века.

Однако, несмотря на убедительные и признанные результаты научного анализа в области текстологии, атрибуции текстов, изучении списков и редакций одного текста, нельзя сказать, что подведена черта в исследовании литературных процессов, происходивших во второй половине XVII – начале XVIII века. На сегодняшний день создана целостная картина литературы периода перехода от Средневековья к Новому времени, состоящая из знаковых, эпохальных сочинений и текстов. Внимание отечественной медиевистики в большей мере было направлено на поиск в средневековом книжном памятнике (летописях, житиях, паломнической литературе (хожениях), ораторской прозе) литературного начала. Однако неизученным остается «*исследование конкретного механизма слома традиции* (*курсив наш. – А. Ш.*)»[13]. Этот процесс проследить можно на примерах «пограничных», «переходных» текстов, для которых характерно соединение в одном произведении средневековой поэтики и зарождающейся новой эстетики.

---

[6] Еремин, И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. 326 с.
[7] Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. 254 с.
[8] Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 205 с.
[9] Робинсон, А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. М.: Наука, 1974. 407 с.
[10] Демин, А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М.: Наука, 1977.
[11] Ромодановская, Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994. 232 с.
[12] Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко: (вторая половина XVII – начало XVIII века). М.: Наука, 1991. 263 с.
[13] Ромодановская, Е. К. Римские деяния на Руси. Вопросы текстологии и русификации: исследование и издание текстов. М.: Индрик, 2009. С. 8. Эта же проблема исследовательницей была поставлена и ранее. См. Ее же. Русская литература на пороге Нового времени. Новосибирск: Наука, 1994. С. 6.

Высказанное Е. К. Ромодановской мнение о необходимости разработки и использования нового подхода к исследованию текста XVII века не только не противоречит, но даже в чем-то созвучно выводам, сделанным в свое время Л. А. Черной[14], и основанным на философско-антропологическом подходе при изучении культуры переходного периода: «Все возрастающий интерес к русской культуре в мировой науке и явно назревшая необходимость по-новому осмыслить “переход” от Средневековья к Новому времени, определить его сущность, хронологические рубежи и подпериоды, выявить связь процесса в России с культурной динамикой других стран и многое другое заставляет обратиться к более детальному изучению этого одного из самых сложных и значимых периодов в истории русской культуры»[15].

Сосредоточив свое внимание на изучении механизмов перехода в сфере культуры, вызванного появлением новой концепции человека, детально охарактеризовав критерии и признаки переходного этапа культуры, Л. А. Черная делает ряд наблюдений и выводов, которые представляются нам ценными. В них проявляется детально прописанный механизм культурного перехода (движение от культуры «тела» в язычестве к культуре «души» в Средневековье и далее к культуре «разума» в Новое время). Такой механизм применим и к интересующим нас книжным текстам, в которых переходность культуры себя и проявляет. Как пишет Л. А. Черная, «механизм перехода в целом одинаков и совпадает в общих чертах: проходя через начальную фазу обнаружения несостоятельности прежней культуры и попыток ее “оживления”, культура вступает в полосу сосуществования, почти неосознанного, старого и нового под эгидой “старины”, затем происходит обострение конфликта и возникает резкое противостояние двух культурных систем, наконец, на последнем этапе бесповоротно утверждается новая концепция человека и соответствующая ей культура»[16]. Концепция

[14] Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Языки русской культуры, 1996. 288 с.; Ее же. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Языки славянских культур, 2008. 464 с.
[15] Ее же. Русская культура переходного периода … С. 30.
[16] Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 245.

Л. А. Черной органично вписывается в методику исследования книжных текстов заявленного периода, в которых актуализируется смена культурной парадигмы.

Таким образом, философско-антропологический подход к изучению культуры переходного периода, в рамках которого существует и особый «переходный текст», существенно дополняет исследования по древнерусской книжности, основанные на герменевтическом подходе, позволяющем рассмотреть и интерпретировать произведение в контексте определенной книжной традиции (в культурно-семиотическом пространстве), в соответствующем семантическом окружении[17].

В связи с этим в поле внимания исследователя должна быть включена особая разновидность текстов, в силу своей эклектичной «пограничной» природы расположенных на периферии литературного процесса и не являющихся столь яркими с позиции их оценки как беллетристических произведений (в большинстве случаев это тексты, имеющие документальную форму, но с элементами литературно-эстетического начала). Именно по этой причине такая группа произведений долгое время пребывала вне исследовательского интереса. Но поскольку она существует в одном историко-культурном пространстве с книжными памятниками, обладающими литературной природой, то, соответственно, не может быть проигнорирована. Тексты, имеющие переходный характер, несмотря на отсутствие в них в ряде случаев явного художественного начала, тем не менее, также способны дополнить и расширить устоявшееся в науке представление о развитии русской литературы переходного периода. В данном случае интерес представляют образцы документальных текстов, в

[17] Ранчин, А. М. К герменевтике древнерусской словесности // Ранчин, А. М. Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М.: Новое литератур. обозрение, 2007. С. 11–23. В статье автор высказывает ряд важных наблюдений относительно применения герменевтического метода анализа средневекового текста. Так, например: «при интерпретации конкретного текста другие тексты, составляющие его смысловое окружение, семантическое поле, выступают для исследователя в роли кодов. Но если прямые отсылки к этим текстам отсутствуют, то должны учитываться только сведения из них, имеющие “общеобразовательный” характер, отражающие “картину мира”, содержащие набор категорий, присущих средневековому сознанию» (Ранчин, А. М. Указ. соч. С. 18).

которых проявляется субъективный взгляд их составителей на произошедшее событие и зафиксировано «осознание особого статуса времени»[18].

Именно поэтому при проведении исследования (помимо историко-литературных фактов) нельзя не учитывать эволюции сознания книжника, составителя или редактора текста. Данный подход к исследованию книжности Древней Руси обязателен. По верному замечанию А. Н. Ужанкова, «как область умственной деятельности средневековая литература тесным образом была связана с философско-мировоззренческими представлениями писателей, выражая их прямо или отражая опосредованно. <…> Иными словами, объективно складывающаяся в определенный исторический момент “литературная среда” прежде всего обусловлена мировоззрением»[19]. Литература и книжность XVII века, переходного этапа, в этом случае не менее показательны, так как дают возможность через текст увидеть процесс формирования субъективной, личностной оценки произошедшего события, отношения к нему участника или свидетеля. И это еще один важный подход, который применяется в исследовании заявленной проблемы, – анализ текстов, эклектичных по своей природе.

Материалом проводимого исследования стали книжные памятники второй половины XVII – начала XVIII века, переходного этапа русской литературы, ранее широко не изучавшиеся и не являвшиеся предметом отдельного историко-литературного изучения с предлагаемой в диссертации стороны. Это «Дневальные записки приказа Тайных дел» (1657–1675), образец обрядово-ритуального текста («текст-ритуал»); «Книга, глаголемая Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути» («Урядник сокольничья пути», 1656)[20], сочинение Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (1666–1667), беллетристические повести рубежа XVII–XVIII

[18] Позволим себе использовать данное определение В. Н. Топорова, примененное им при анализе «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина. Однако понимание неразрывной связи национального и исторического в культуре, которое было характерно для прозы Н. М. Карамзина, не могло не основываться на традициях христианского учения о взаимосвязи мира и человека. См.: Топоров, В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М., 2006.

[19] Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 77, 80.

[20] Рукописный оригинал памятника хранится в РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 52 / 1. Л. 1–62. XVII век.

веков, а также эпистолярий и другие сочинения, написанные царем Алексеем Михайловичем и его окружением.

При первом знакомстве с вышеуказанными текстами нельзя не заметить их разножанровость. Отличаются они и своими формальными признаками: сочинение Григория Котошихина и «Дневальные записки…» представляют собой книги исторического характера, «Урядник сокольничья пути» – «текст-ритуал», в вербализованной форме изображающий один из придворных церемониалов эпохи царя Алексея Михайловича, и образцы эпистолярного жанра. Однако при всей жанровой мозаичности привлекаемого материала есть то общее, что объединяет эти тексты в одну группу, названную нами «переходный текст». Данную группу произведений уже нельзя полностью отнести к средневековым. Хотя они и функционируют как деловые, но уже не являются таковыми в чистом виде, в то же время они еще и не художественные с позиции Нового времени. Важным здесь является то, что для всех этих книжных памятников как документальных свидетельств своей эпохи свойственно изображение новой модели человека[21] переходного периода, на их основе возможно рассмотреть сам процесс и механизм ее формирования в переходных условиях русской культуры, а также процесс порождения новой светской литературы деловой книжностью.

В то же время выбранная группа произведений представляет собой повествовательную традицию русской литературы переходного времени. В исследовании мы намеренно обратили внимание на жанры, находившиеся в ситуации эволюции. Многожанровость привлекаемого материала, с одной стороны, позволит охватить широкий круг культурных стратегий, обозначивших себя в переходный период русской литературы, что в свою очередь даст возможность представить целостную концепцию формирования особого варианта книжного текста, отражающего переходные процессы в русской словесности второй половины XVII – начала XVIII века. С другой стороны, сосредоточение внимания исключительно на повествовательных жанрах оправдано еще и тем, что

[21] «Homo novus» – человека нового типа, по определению Л. А. Черной (Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Яз. рус. культуры, 1996. 288 с.).

именно этот массив предоставляет возможность увидеть в русской литературе переходного времени начало динамичных процессов, изменивших жанровую систему средневековой литературы за счет драматизации повествования, усиления субъективного авторского восприятия мира и героя при их изображении в книжном тексте. В конечном итоге эти «открытия» повествовательных жанров затем проявят себя уже в новых литературных автономиях второй половины XVII века, какими станут поэзия и драматургия, заслуживающие отдельного исследования.

Для достижения поставленной цели помимо тех методов, которые были обозначены выше, также будет применен метод «нового историзма», позволяющий в более широком интертекстуальном, культурно-историческом контексте показать границы происходивших изменений. Напомним, принцип «нового историзма» при изучении истории литературы в свое время был предложен представителями американского литературоведения в 80-е годы XX века (Стивен Гринблатт, Кэтрин Галлахер)[22]. Такой принцип предполагает рассмотрение текста в неразрывной связи с историей, в тесном их взаимоотношении. В традиции отечественного литературоведения эти же подходы в изучении литературы Древней Руси в свое время были предложены Д. С. Лихачевым[23].

Взаимодействие документального и литературного начал в древнерусской книжности – явление, охватывающее всю историю русской литературы, начиная с

---

[22] Greenblatt, S. Renaissance self-fashioning. Univ. of Chicago press, 1983; Greenblatt, S. Shakespearean negotiations. Univ. of California press, 1989; Greenblatt S. Hamlet in purgatory. Princeton univ. press, 2001; Gallagher, C. The industrial reformation of English fiction: social discourse and narrative form, 1832–67. Chicago, 1985.

[23] Лихачев, Д. С. Принцип историзма в изучении литературы // Лихачев, Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996. С. 103–127. См. также: URL: http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/class_lit/Ocherky/princip_istor.pdf; Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. С. 40. На страницах номера журнала «Новое литературное обозрение» развернулась полемика отечественных ученых относительно «нового историзма». В ней участвовали А. Эткинд, И. Смирнов, С. Зенкин, Л. Гудков, Б. Дубин. Здесь авторы, полемизируя, пытались определить как специфику «нового историзма», так и перспективы использования методологии «нового историзма» в отечественной науке. См.: Смирнов, И. П. Новый историзм как момент истории. (По поводу статьи А. М. Эткинда «Новый историзм, русская версия») // Новое литературное обозрение. 2001. № 47; Лев Гудков. Раздвоение ножа в ножницы, или Борис Дубин диалектика желания (О работе Александра Эткинда «Новый историзм, русская версия») // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. См. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/ (дата обращения: 26.07.2014).

первых этапов ее становления и развития. Различные аспекты взаимодействия этих двух начал в древнерусской книжности были рассмотрены в работах И. П. Еремина, А. А. Назаревского[24], Д. С. Лихачева[25], А С. Демина[26], Е. К. Ромодановской[27] и других ученых. Объектом исследования в основном являлись статейные списки и челобитные – жанры, близкие к литературе и именно по этой причине наиболее показательные при освещении данного вопроса. В качестве примера приводятся сатирические повести XVII века, пародирующие документальные формы. Это «Калязинская челобитная», в названии которой уже маркирован жанр деловой письменности; «Повесть о попе Савве» («Сказание о попе Саве и о великой его славе»), пародирующая акафист; «Повесть о Шемякином суде» и «Повесть о Ерше Ершовиче», обе являющиеся пародией на судопроизводство; «Праздник кабацких ярыжек» («Служба кабаку») как пародия на церковную службу, церковные песнопения и еще ряд других повестей, литературная природа которых никогда не вызывала сомнений у исследователей[28].

Однако в корпусе деловой книжности помимо жанров, имеющих коррелят в литературе, существуют образцы деловых текстов, которые изначально всегда находились за пределами литературы. К таковым относятся различные акты, приходно-расходные книги, грамоты, имущественные описи, частные письма и многие другие. Перечисленные жанровые формы деловой письменности также оставили свой след в процессе секуляризации древнерусской литературы, однако их роль в процессе взаимодействия литературы и документалистики в условиях

---

[24] Назаревский, А. А. О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1961. 80 с.

[25] Лихачев, Д. С. Повести русских послов как памятники литературы // Путешествия русских послов XVI–XVII веков.: Статейные списки. М.; Л., 1954. С. 319–346; Его же. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. 254 с.

[26] Демин, А. С. О литературном значении древнерусских письмовников // Русская литература, 1964. №4 С. 165–170; Он же. Русские письмовники XV–XVII веков: (к вопросу о русской эпистолярной культуре): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1964.

[27] Ромодановская, Е. К. К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях // Литература и документ: сб. науч. тр. / Ин-т филологии СО РАН; отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 2011. С. 5–15.

[28] Адрианова-Перетц, В. П. Русская демократическая сатира XVII века. Изд. 2-е. М.: Наука; 256 с.; Лихачев, Д. С., Панченко, А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л.: Наука, 1976; Лихачев, Д. С., Панченко, А. М., Понырко, Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.

переходного времени еще полностью не изучена. Именно поэтому тексты, вводимые нами в исследование, позволят существенно расширить представление о масштабах взаимодействия документального и литературного начал в переходный период русской культуры. На их примере будет рассмотрен процесс смены семиотической парадигмы в русской культуре XVII столетия. Исследуемый материал позволит увидеть, как пробуждается личностное сознание в книжных памятниках переходного периода, а на примере «Дневальных записок приказа Тайных дел» будет показано, как зарождается ощущение исторического процесса, проявляемого в фиксации будничных ежедневных событий из жизни государя.

Книжные памятники, на которых строится наше исследование переходного периода русской литературы и культуры, имеют разную степень историографического описания в отечественной науке. Поэтому проводимый анализ, помимо прямых и первоочередных задач, которые мы ставим, позволит определить место этих произведений в историко-литературном процессе XVII века.

«Дневальные записки приказа Тайных дел», впервые опубликованные С. А. Белокуровым в 1908 году, за всю историю XX столетия не переиздавались и не публиковались даже фрагментарно в хрестоматиях по древнерусской литературе. Нет каких-либо сведений о данном памятнике и в академических справочниках, посвященных книжности Древней Руси. Так, например, в «Словаре книжников и книжности Древней Руси»[29] отсутствует статья о «Дневальных записках…», хотя текст органично вписывается в процесс секуляризации духовной культуры, одним из проявлений которого, как известно, стало размывание границ между литературой и деловой книжностью. Причиной невключения «Дневальных записок…» в академическое справочное издание является малоизученность данного памятника в историко-литературном аспекте. Его двойственная природа оставалась не раскрытой с момента издания (1908 год) и до настоящего времени. Единственный реверанс памятнику, который имеется в

[29] Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3: XVII век. Ч. 1.

«Словаре…», – это обращение внимания составителями издания на особенность «Дневальных записок…», как раз и заключающуюся в переходном характере самого текста: «*Дифференцированного к себе отношения требуют и иные тексты, стоящие на грани между документом и литературным произведением, – дневники* (*ср. "Дневальные записки приказа Тайных дел"*), библиографические описания (ср. "Оглавление книг, кто их сложил") и т. д.»[30] (*курсив наш. – А. Ш.*).

Отсутствуют упоминания о проводимых научных исследованиях памятника и на страницах интернет-ресурсов. Чаще всего «Дневальные записки…» используются только как комментарий к историческим событиям эпохи Алексея Михайловича, как иллюстрация быта монарха. Таким образом, комплексного исследования произведения как памятника литературы не проводилось, соответственно, нет на сегодняшний день и научных публикаций, в которых были бы подняты проблемы и поставлены задачи изучения «Дневальных записок…» как произведения переходного периода в развитии русской литературы. Сам книжный памятник заслуживает научного внимания хотя бы уже потому, что дает возможность увидеть истоки особого восприятия и изображения исторического процесса через документальную фиксацию в книжном памятнике будничного события, своеобразного прообраза истории «домашним способом». Именно поэтому документальный по своей форме памятник интересен как текст, позволяющий увидеть в нем черты, свойственные литературному процессу переходного периода, – детализацию фиксируемого во времени события, отсутствие его при восприятии и изображении с религиозной точки зрения.

«О России в царствование Алексея Михайловича» Григория Котошихина так же, как и вышеуказанный памятник, не получил пока освещения в научных публикациях, хотя литературная уникальность исторического сочинения, написанного беглым подьячим Посольского приказа в 1666–1667 годах в Швеции,

[30] Буланин, Д. Последнее столетие древнерусской книжности // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3: XVII век, Ч. 1. С. 9.

была отмечена И. П. Смирновым в специальной статье «Словаря книжников и книжности Древней Руси»[31].

Про сочинение Григория Котошихина нельзя сказать, что оно принадлежит к числу малоизвестных памятников книжной культуры XVII века. Первое упоминание о книге относится к 1838 году, когда в библиотеке Уппсальского университета (Швеция) была обнаружена оригинальная рукопись, изданная впервые в России в 1840 году Императорской Археографической комиссией[32]. Сочинение Котошихина затем будет издаваться неоднократно в 1859, 1884, 1891, 1906 годах. Позже фрагменты «О России в царствование Алексея Михайловича» будут опубликованы в серийном издании «Памятники литературы Древней Руси»[33].

Однако, несмотря на частотность переиздания памятника, он так и остался не исследованным именно с филологической точки зрения, хотя сочинение Григория Котошихина по своим литературным особенностям абсолютно органично вписывается в контекст тех процессов, которые происходили в переходный период русской литературы, совмещая в себе черты документального и литературного начал. Сочинение характеризуется особой фабулой (барочный принцип «нисходящей спирали»[34]), антиномичностью авторского мышления (характерная черта барочной традиции). Диалогичность и приемы театрализации, используемые автором, опять-таки подчеркивают барочную природу книжного памятника.

Помимо названных признаков барочной книжной традиции, отмеченных И. П. Смирновым в словарной статье[35], памятник интересен как произведение с четко выраженной авторской позицией. Сочинение Григория Котошихина позволяет увидеть субъективное восприятие и оценку истории, ее персонажей.

---

[31] Смирнов, И. П. Котошихин Григорий Карпов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. С. 186–190.

[32] О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григорья Котошихина. Издание Императорской Археографической комиссии. СПб: Типография Эдуарда Праца, 1840. 160 с.

[33] Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М.: Худож. лит., 1989. Кн. 2. С. 252–285.

[34] По определению И. П. Смирнова. (Смирнов, И. П. Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. С. 188).

[35] Смирнов, И. П. Указ. соч. С. 189.

Григорий Котошихин как личность представляет собой тот тип человека, который по своим взглядам опережал свою эпоху, предвосхищая реформы Петровского времени. Короткая, но насыщенная событиями жизнь беглого подьячего Григория Котошихина сама сопоставима с авантюрным сюжетом, полным непредсказуемости и динамики. Обращение к сочинению Григория Котошихина позволит выявить определенные черты писательской манеры, начинающей проявлять себя в русской литературе переходного периода и заявляющей о своей принципиально иной позиции, отличной от средневековой.

Другой образец «переходного текста» – «Книга глаголемая Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути» (1656) – в русской филологии в отличие от двух предшествующих имеет долгую и богатую традицию изучения. Историография текста в свое время уже была нами подробно освещена[36]. Как было установлено, начиная с XVIII века памятник постоянно был в центре внимания исследователей[37]. Так, например, А. И. Богданов включил «Урядник сокольничья пути» в «Камерный каталог» академической библиотеки. Для Г. Ф. Миллера «Урядник сокольничья пути» был одним из исторических источников, который он использовал при написании своего труда «Известие о дворянех российских. О их древнем происхождении, о старинных чинах, и какия их были должности при Государях, Царях и Великих Князьях, о выборе доказательств на дворянство, о родословной книге, о владении деревень, о службе предков и собственной и дипломах»[38]. Н. И. Новиков дважды публиковал его в «Древней российской Вифлиофике»[39].

В XIX веке начинается этап научного изучения текста. Импульсом к тому послужило издание памятника в 1856 году в составе «Собрания писем царя Алексея Михайловича», подготовленного Петром Бартеневым. Обширный

---

[36] Шунков, А. В. «Урядник сокольничья пути» как памятник русской художественной культуры середины XVII века. Кемерово: АРФ, 2007. 70 с.

[37] Подробно об этом см.: Формозов, А. Литературная судьба книги «Урядник сокольничья пути» // Московский журнал. 1991. № 8. С. 27.

[38] Миллер, Г. Ф. Известие о дворянех Российских // РГАДА. Ф. 199. П. 387. Д. 5. Первое издание книги было подготовлено И. Г. Рахманиновым и Н. И. Новиковым в 1790 году. В XX веке труд был переиздан (Миллер, Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М.,1996. С. 180–226).

[39] Древняя российская вифлиофика. Изд. Н. И. Новикова. СПб.,1773. Ч. 1. С. 399–447; 2-е изд. СПб.,1788. Ч. 3. С. 430–463.

комментарий к тексту П. А. Бессонова и С. Т. Аксакова стал поводом для дискуссии вокруг «Урядника…» между издателями сочинений царя (П. Бартеневым, П. А. Бессоновым) и историком И. Е. Забелиным[40]. Полемика выявила спорные моменты в комментировании текста памятника, были внесены значительные коррективы в объяснения обрядов, ритуала соколиной охоты. Позже, уже в конце XIX века, «Урядник…» вновь привлечет к себе внимание исследователей. На этот раз Н. И. Кутепов, русский генерал, изучая историю русской охоты, обращается к «Уряднику…», иллюстрируя им эпоху правления Алексея Михайловича[41].

Затем возникает интерес к книге уже в XX столетии. Так, в 1969 году М. А. Салмина по известной рукописи памятника[42] публикует сокращенный вариант «Урядника…» и снабжает его комментариями[43]. «Урядник сокольничья пути» окажется в центре внимания исследователей и при изучении истории возникновения русского театра, являясь, по их мнению, прообразом первых русских пьес[44]. В конце XX века наметился новый подход в изучении и характеристике памятника, обоснованный В. В. Бычковым. Изучение «Урядника…» позволило ученому сделать ряд интересных выводов, касающихся эстетической природы памятника, увидеть в «Уряднике…» зарождение эстетической мысли в России[45].

Ранее нами уже были представлены выводы по ряду вопросов, возникавших в процессе изучения памятника[46]. Был подробно рассмотрен вопрос об источниках произведения (как книжных, так и фольклорных), которые могли

---

[40] Бартенев, П., Бессонов, П. Антикритика. Ответ г. Забелину // Молва, 1857. № 6. С. 375–378.
Забелин, И. Е. Царь Алексей Михайлович // Опыт изучения русских древностей и истории. М.,1872. Ч. 1. С. 203–281.

[41] Кутепов, Н. И. Царская охота на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII век. СПб.,1898. Т. 2.

[42] РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 52 / 1. Л. 1–62. XVII век.

[43] Библиотека всемирной литературы. «Изборник» (Сборник произведений Древней Руси). М.,1969. С. 567–572, 774–775.

[44] Робинсон, А. Н. Историческое место и значение первого русского театра. // Первые пьесы русского театра. М.,1972. С. 51–55.

[45] Бычков, В. В. Эстетика в России XVII века. М.: Знание, 1989. С. 26–33. См. также: Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII века. М.,1996. С. 345–351.

[46] Шунков, А. В. «Урядник сокольничья пути» как памятник русской художественной культуры середины XVII века. Кемерово: АРФ, 2007. 70 с.

быть использованы при составлении «чина»; проведено интертекстуальное исследование в сопоставлении с другими сочинениями царя, посвященным теме соколиной охоты; изучена степень участия Алексея Михайловича в составлении и редактировании книги; выявлены литературные основы источника.

Повторное обращение к «Уряднику…» позволит ответить и на другие вопросы, связанные с исследованием переходной эпохи в истории русской литературы. «Урядник сокольничья пути» по своей жанровой природе относится к категории документальных текстов, именуемых «чиновниками». Данная жанровая форма еще мало исследована, хотя она как нельзя лучше демонстрирует стирание границ между деловой книжностью и литературой в переходный период развития русской литературы, определяя обозначивший себя процесс постепенного переноса акцента на внешнюю зрелищность разыгрываемого представления. В итоге на примере «Урядника…» становится возможным проследить процесс секуляризации обряда, его обмирщение, превращение в светское театральное представление, доставляющее эстетическое удовольствие зрителю. Рассмотрение «чина» с культурно-семиотической позиции позволит увидеть формирование новой упорядоченной системы знаков культуры переходного периода, что является абсолютно новым подходом в истории изучении этого памятника.

Эпистолярные сочинения царя Алексея Михайловича, его переписка с ближайшим окружением – показательные явления переходного периода. В первую очередь, они свидетельствуют о расширении социальных границ литературной деятельности в России XVII века. Царь Алексей Михайлович, как неоднократно уже подчеркивалось в исследованиях XIX[47] – XX веков, любил писать, охотно брался за перо по любому поводу, высказывая свои соображения касательно государственных дел, хозяйственных и имущественных распоряжений, в том числе создавая образцы посланий, обладающих определенными литературными признаками. Данный историко-литературный факт особо показателен, так как иллюстрирует собой

[47] Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории. М.: Высш. шк., 1993. С. 412.

вышеназванную ситуацию – литературная деятельность в XVII столетии вышла за пределы монастырских стен, перестала быть уделом духовенства и монашествующих лиц и захватила теперь как царя, так и простого подьячего приказа.

Ранее уже отмечалось, что до XVII века практика написания князем (царем) собственноручного послания не существовала. Сохранены лишь единичные примеры автографов, принадлежащих монархам. Алексей Михайлович здесь предстает как своеобразный феномен. Своими действиями Алексей Михайлович (как книжник) нарушил придворный этикет (чин), заимствованный из Византии[48] и запрещавший монарху собственноручно писать. Благодаря неиссякаемой страсти монарха к чтению и письму мы имеем уникальную возможность работать с автографами царя, причем не только с приписками, вставками в уже готовый текст грамоты, но и с письмами, составленными полностью самим монархом. В итоге архив документов различного характера, имеющих непосредственное отношение к деятельности царя Алексея Михайловича, насчитывает свыше 900 единиц хранения[49].

История публикации и изучения эпистолярного наследия монарха, а также вопросы, затрагивающие литературное своеобразие посланий, их жанрово-стилевые особенности, связь с эпистолярной традицией ранних периодов развития жанра были подробно нами рассмотрены в книге «Жанр послания в русской литературе XVII века. (На материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича)», вышедшей в 2006 году[50]. Но, в силу того, что круг корреспондентов царя Алексея Михайловича был огромен, не все произведения вошли в исследование. На тот момент были выбраны только те образцы посланий, которые явно имели литературный характер и демонстрировали писательский

---

[48] История русской литературы. Л.,1980. Т. 1. С. 294; Панченко, А. М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л.,1984. С. 20–21; Буланин, Д. М. Последнее столетие древнерусской книжности // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3: XVII век, Ч. 1. С. 4.; Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван грозный (теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М.: Яз. рус. культуры, 1998. С. 138.

[49] Путеводитель: в 4 т. / ЦГАДА СССР. М.: Главархив СССР, 1991. Т. 1. С. 385.

[50] Шунков, А. В. Жанр послания в русской литературе XVII века. (На материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). Кемерово: КемГУКИ, 2006. 95 с.

талант монарха. Сегодня необходимо расширить границы исследования за счет привлечения новых сочинений как самого царя Алексея, так и других его корреспондентов, состоявших с ним в активной переписке. Причем при отборе памятников делается акцент на грамотах и посланиях, как совмещающих в себе черты документального текста, так и обладающих публицистическим началом, имеющих ярко выраженную субъективную позицию их составителя, то есть находящихся на грани «перехода» от документа к литературе.

Обращение к эпистолярному наследию царя Алексея Михайловича в контексте исследуемой проблемы позволяет расширить представление об эволюции эпистолярного жанра, его разновидностях в русской литературе. Переходный период, например, предоставляет возможность проследить, как постепенно складывается, обретает свои формы такая разновидность жанра, как дружеское послание, преобладающее в эпистолярном наследии монарха. Послания царя, адресованные своей семье и близким друзьям, интересны с точки зрения раскрытия в них авторской позиции при изображении внутреннего мира адресанта, его яркой палитры чувств и эмоций. Послания переходного периода в интересующем нас случае – послания Алексея Михайловича – закладывают традиции жанра, который займет одно из главных мест в русской классической литературе XVIII–XIX веков.

Таким образом, **материалом исследования являются** как рукописные, так и опубликованные источники второй половины XVII – начала XVIII века, представляющие собой одну группу книжных памятников, названную нами «переходный текст» второй половины XVII – начала XVIII века. Такое определение является условным, но оно абсолютно органично для самой историко-культурной эпохи, в рамках которой складывался и бытовал новый тип текста в русской литературе, «мерцающий» новыми гранями. Мы считаем, что данное определение нового типа текста, предлагаемого нами, не сужает рамки самого литературного явления переходной эпохи. Наоборот, исключает возможность однозначной его трактовки, демонстрирует подвижность границ текста нового типа – «переходного».

Известно, что в истории отечественной медиевистики сам период в развитии русской литературы XVII – первой трети XVIII века называют «переходным». В науке существует несколько подходов, применяемых при исследовании переходных явлений на определенных этапах развития культуры: социально-экономический, семиотический (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский), историко-литературный (Д. С. Лихачев), философско-антропологический (Л. А. Черная) и другие. Ранее неоднократно уже отмечалось в ряде исследований, что это название, которое закрепилось за этим историческим периодом, «лишено терминологической четкости и грешит субъективизмом»[51]. Тем не менее, несмотря на имеющиеся сомнения и возражения по поводу применения данного определения, оно прочно закрепилось за конкретной эпохой в развитии русской литературы. По словам Д. М. Буланина, «для некоторых разделов истории нелегко обойтись без определения “переходный”, выражающего наиболее примечательную черту эпохи. Таков русский XVII век»[52].

Исходя из этого, мы разделяем взгляды отечественных исследователей древнерусской литературы, которые видят объективную связь между исторической эпохой и типом текста, соответствующим и отвечающим духу времени. Такой тип текста, который выражает соответствующее определенному историческому периоду мировоззрение как автора (книжника), так и читателя.

В пользу применения термина «переходный текст» может быть приведен еще один аргумент – это процессы, которые происходили в культуре XVII века. Они подробно в свое время были описаны и охарактеризованы Д. С. Лихачевым в работах, посвященных историческому развитию древнерусской литературы[53]. Один из таких процессов – секуляризация русской духовной культуры, следствием которой стало абсолютно новое понимание литературной деятельности книжника, не связанной только со сферой церковно-служебной.

---

[51] Буланин, Д. М. Последнее столетие древнерусской книжности // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3: XVII век, Ч. 1. С. 3.
[52] Буланин, Д. М. Указ. соч. С. 3.
[53] См., например: Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. 254 с.

В конечном итоге, под **термином «переходный текст» мы понимаем такую разновидность книжного текста, который объединяет элементы традиционной средневековой поэтики и новые эстетические представления автора о мире и человеке, совмещает в себе черты документа и литературного произведения и получает распространение в период второй половины XVII – первой трети XVIII века.** «Переходность» книжного текста второй половины XVII – начала XVIII века проявляется как в трансформации жанровых форм (взятых за основу диссертационного исследования), так и в художественной динамике внутреннего мира самого произведения (сюжет, мотивный комплекс, пространственно-временная организация, герой). В результате изменения точки зрения автора на героя и событие происходит переход от устоявшихся и закрепленных средневековой книжной традицией книжных приемов к поиску новых художественных средств, способствующих выражению и формированию авторской и читательской позиций.

Выдвигаемая нами проблема и предлагаемый вариант ее решения находятся в русле тех идей и наблюдений, ранее высказанных в историко-литературных исследованиях отечественных медиевистов, о необходимости изучения новых пластов литературного творчества в Древней Руси, отдельных текстов и отдельных авторов, на основе которых возможно затем выстраивать новые теоретические концепции.

В соответствии с логикой изложения анализа исследовательской проблематики настоящей работы впервые привлекаются тексты переходного типа, ранее детально и широко не изучавшиеся в древнерусской филологии и требующие совершенно иной методики анализа, которая даст возможность проследить становление новой литературной парадигмы в переходный период. Масштабность же привлекаемых текстов (историко-документальное сочинение Григория Котошихина, ежедневные, почти двадцатилетнего периода записи приказа Тайных дел, текст одного из придворных церемониалов, эпистолярий царя Алексея Михайловича и его окружения, охватывающий почти тридцатилетний период русской истории), их бытование в культурно-

семиотическом пространстве второй половины XVII века позволит нам при их исследовании сформулировать выводы, претендующие на статус объективных в рамках заданной проблематики.

Обоснование темы исследования.

В отечественной науке проблема изучения русской литературы и культуры переходного периода, определения ее специфики поднималась неоднократно и рассматривалась в различных аспектах. Историография этого вопроса насчитывает не один десяток работ как отечественных, так и европейских славистов[54]. Однако, несмотря на разные подходы к изучению проблемы переходности в русской литературе, все исследования так или иначе были связаны с выявлением художественного начала в произведениях данного периода. В этом контексте рассматривалось творчество отдельных, наиболее ярких авторов: протопопа Аввакума, дьякона Федора, патриарха Никона, царя Алексея Михайловича, представителей силлабической поэзии и других писателей и книжников эпохи. Началом же «переходного этапа» в развитии русской литературы согласно концепции, предложенной Д. С. Лихачевым, явились повести Смутного времени, которые и привели к проникновению в русскую литературу ренессансных идей и утверждению нового стиля. Последствия этих изменений хорошо известны, о них много было сказано в исследованиях Д. С. Лихачева и в работах других отечественных медиевистов советского периода (И. П. Еремин, В. П. Адрианова-Перетц, А. М. Панченко, Л. А. Дмитриев, А. Н. Робинсон, А. С. Демин, В. В. Кусков и др.). Результатами исследований огромного пласта литературных памятников «переходного периода» стали выводы, которые создали устойчивое представление о литературной эпохе XVII века как о времени, открывшем для русской литературы человека,

[54] Małek, E. Русская нарративная литература XVII–XVIII веков: Опыт указателя сюжетов. Łódź, 1996; Ее же. Указатель сюжетов русской нарративной литературы XVII–XVIII веков. Łódź, 2000. Т. 1; Ее же. Место и роль светской повествовательной прозы в литературной культуре Руси XVII – первой трети XVIII века // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 32: Kultura literacka dawnej Rusi. Łódź 1992. S. 101–113; Малэк Элиза. Разыскания по русской литературе XVII–XVIII веков. Забытые и малоизученные произведения. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. 400 с.
Матхаузерова, С. Две теории текста в русской литературе XVII века // Труды отдела древнерусской литературы. 1976. Т. 31. С. 271–284.

индивидуальный авторский стиль, новые темы, жанры, направления и т. д. По утверждению Д. С. Лихачева, «век этот был веком постепенного перехода от древней литературы к новой соответственно переходу России от средневековой культуры – к культуре нового времени»[55].

Высказанный Д. С. Лихачевым еще в начале 70-х годов XX века тезис об особой роли XVII века в развитии русской литературы стал основой для новых теоретических и практических исследований литературных явлений переходного периода, через которые возможно было бы исследовать переходные процессы в культуре. Определенным знаковым явлением в этом направлении стала серия работ 70–80-х годов XX века академика А. М. Панченко, в которых он исследовал процессы, происходившие в «русской культуре в канун Петровских реформ»[56]. А. М. Панченко при изучении разных, противоречивых, «неоднородных и пестрых» культурных пластов, сосуществовавших в XVII столетии, показал на примере текстов эпохи, как происходил «культурный переворот». Следствием «состязательности» двух культурных традиций («грекофилов» и «латинствующих») стал не только выбор европейского пути развития страны, но и выбор нового слова в литературе Петровского времени. По словам А. М. Панченко, «словесный этикет Петр отождествлял с косностью, с шаблонным мышлением. Поэтому он ополчился против инерции слова, против тех стереотипов, которые были унаследованы от русского средневековья или заимствованы в католическом барокко»[57]. Однако полностью устранить и искоренить старые ценности невозможно, «они только оттесняются на задний

---

[55] Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили // Лихачев, Д. С. Избранные работы: в 3 т. Л.: Наука, 1987. Т. 1. С. 172.

[56] Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века / отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. Л.: Наука,1973. 280 с; Лихачев, Д. С., Панченко, А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л.: Наука, 1976. 204 с; Панченко, А. М. Литература «переходного века» // История русской литературы: в 4 т. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века / ред.: Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко. Л.: Наука, 1980. С. 291–407; Он же. Русская культура в канун Петровских реформ. Л.: Наука, 1984; Лихачев, Д. С., Панченко, А. М., Понырко, Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.

[57] Панченко, А. М. Русская культура в канун Петровских реформ // Панченко, А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Звезда, 2005. С. 297.

план, но не покидают “вечного града”» (под метафорой понимается культура. – *А.Ш.*)[58].

Новый подход к исследованию литературы переходного периода был предложен Е. К. Ромодановской[59]. Она на примере беллетристической повести XVII века показываля, как происходил процесс зарождения новой литературной традиции в России. Секуляризация русской культуры и преодоление средневекового синкретизма литературы привели к усилению вымышленного начала в русских повестях (вымышленное событие, герой, его имя). Изменение содержания повести привело к изменению самой формы. Именно в этом ученый видит «механизм слома древнерусской литературной традиции и ее смены литературой нового времени»[60].

Среди научных концепций, рассматривающих проблемы переходного этапа культуры, заслуживает внимание подход, предложенный Л. А. Черной. Несмотря на то, что ее исследование не является филологическим и носит в большей степени культурологический характер, тем не менее, конечная цель его – применив философско-антропологический подход, исследовать механизм перехода в культуре, позволяющий увидеть формирование новой концепции человека. Л. А. Черная для доказательства основных положений своей концепции обращается к памятникам русской литературы XVII века, демонстрирующим появление в русской культуре «человека нового типа»[61], и апеллирует к трудам медиевистов, разноаспектно исследовавших произведения литературы переходного периода.

Таким образом, на протяжении уже длительного времени в отечественной науке историко-литературный период XVII века вызывает пристальный интерес ученых. Их внимание обусловлено, прежде всего, разносторонностью тех процессов, которые происходили в литературе переходного периода, приведших в

---

[58] Там же. С. 316.

[59] Ромодановская, Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994.

[60] Там же. С. 6.

[61] Определению типологических признаков «homo novus» автор посвящает отдельную главу в своей монографии. См.: Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Яз. рус. культуры, 1999. С. 173–245.

конечном итоге к трансформации традиционной, существовавшей с момента крещения (мир Slavia Orthodoxa), и к утверждению новой культурной парадигмы (в том числе и под влиянием традиций Slavia Latina). Одним из следствий этого перехода стало утверждение новой концепции художественного текста, явившегося одним из результатов «перехода» от Средневековья к Новому времени. Этот факт бесспорен и не подлежит сомнению. Однако, несмотря на существование на сегодняшний день фундаментальных работ авторитетных ученых, посвященных исследованию конкретных произведений, писательской манере авторов XVII века, жанров, стилей, направлений, открытым остается вопрос о понимании того, что есть такое «переходный текст», представляющий определенный этап в развитии русской литературы, ее переходный период.

В работах рубежа XX–XXI веков (Л. И. Сазонова, Е. К. Ромодановская) неоднократно высказывалась мысль о назревшей необходимости проведения исследований, расширяющих представление о масштабах процессов трансформации всей литературной системы, происходивших именно в переходный период русской литературы. Л. И. Сазонова считает, что «насущной задачей медиевистики является осмысление реальной жанровой панорамы литературы средневековой Руси в ее историческом существовании на основе конкретных историко-литературных и историко-культурных исследований, позволяющих понять, что жанровые реализации, складывающиеся в живом бытии литературы, не претендуют на вневременность и извечность, а могут лишь рассчитывать на свое место в обобщенной картине литературных жанров средневековья, – картине, полной динамики, развития, переходов и противоречий»[62].

Актуальность темы диссертации обусловлена как общей проблемой изучения в современной науке процесса взаимодействия документальной и литературной традиций в переходный период, так и исследованием данного

[62] Сазонова, Л. И. Литература средневековой Руси в контексте Slavia Ortodoxa: теоретические и методологические проблемы исследования жанров // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации. М.: Наследие, 1998. С. 18.

явления на примере отдельных книжных памятников второй половины XVII – начала XVIII века, ранее подробно не рассматривавшихся в отечественной медиевистике и литературоведении.

Работа выполнена на стыке нескольких научных дисциплин и реализует комплексный подход к материалу, что позволяет взглянуть на него иначе, чем это делалось прежде, и проанализировать те аспекты, которые ранее оставались вне поля зрения исследователей русской литературы переходного периода. В диссертации по-новому реализовано изучение особенностей взаимодействия в XVII веке документального и литературного начал, вводятся в научный оборот новые источники по данной проблеме. Актуальным представляется и предложенный в диссертации механизм анализа «переходного текста».

Объектом исследования является феномен понятия «переходный текст», представленный рядом книжных произведений второй половины XVII – начала XVIII века.

Предмет исследования – выявление механизмов и способов формирования «переходного текста», демонстрирующего новое представление автора о возможностях книжного произведения в переходный период русской словесности и совмещающего в себе черты документа и литературы.

Целью диссертации является исследование памятников переходного времени (вторая половина XVII – начало XVIII века) как целостного явления, что подразумевает интерпретацию различных жанровых форм, имевших наибольшее распространение в исследуемой эпохе, в качестве вариантов одного художественного феномена – «переходного текста», обладающего особой поэтикой.

Проведенное исследование позволит впервые охарактеризовать литературную природу новых жанровых форм рубежа XVII – начала XVIII века; изучить процесс открытия новых возможностей в изображении события в текстах, занимающих переходное положение между документом и литературой; увидеть процесс трансформации старой жанровой системы; охарактеризовать новые

явления литературного характера, расширяющие сведения о процессе зарождения личностного сознания в русской культуре, проявляющие себя в усилении интереса автора/составителя того или иного произведения к событиям частного характера.

Достижение вышеуказанной цели основано на постановке и решении **следующих конкретных задач:**

1) определить генезис понятия «переходный текст» в русской литературе XVII века, обозначить четкие терминологические границы этого понятия в теоретико-литературном плане;

2) дать описание поэтики «переходного текста» русской литературы второй половины XVII – начала XVIII века через обращение к основным поэтологическим категориям: поэтике жанра, поэтике сюжета, композиции, стилю и др.;

3) выделить характерные особенности влияния европейской литературной традиции, а также художественной культуры эпохи на формирование нового типа текста в переходный период развития русской литературы;

4) изучить процесс формирования авторского сознания, ориентированного на принятие и усвоение европейской традиции понимания исторического процесса на примере «Дневальных записок приказа Тайных дел», памятника документальной книжности второй половины XVII века;

5) исследовать особенности влияния деловой письменности на литературу через анализ особой жанровой формы русской книжности XVII века – «чиновников», рассмотрев эволюцию данной жанровой формы в истории русской литературы второй половины XVII века;

6) дать литературную характеристику образцам эпистолярных сочинений царя Алексея Михайловича, хранящимся в архиве приказа Тайных дел, выявив случаи индивидуальных авторских приемов в исследуемых текстах.

Общей **методологической основой** диссертации стало системное единство различных литературоведческих подходов при анализе поэтики произведения

древнерусской литературы, в частности – текста XVII века, как в соотнесенности с литературным процессом, так и в обнаружении имманентных свойств текста.

Поставленные в диссертации цель и задачи потребовали привлечения следующих общенаучных и специальных **исследовательских методов**: историко-функционального, сравнительно-исторического, семиотического, нарратологического. В работе используются подходы и данные литературоведения, а также других гуманитарных дисциплин: истории, эстетики, философии, культурологии.

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы А. Н. Веселовского по исторической поэтике; исследования, посвященные специфике древнерусской словесности и общелитературным процессам XVII века (А. С. Демина, В. В. Кускова, Л. В. Левшун, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, Е. К. Ромодановской, Л. И. Сазоновой, А. Н. Ужанкова и др.); работы историков литературы и культуры, представителей московско-тартуской семиотической школы (Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского); а также исследования отечественных ученых, основанные на философско-антропологическом подходе к изучению явлений художественной культуры (Л. А. Черная).

В основе анализа памятников лежит системный подход, предполагающий изучение текста как художественного целого в единстве формы и содержания. Он основывается на сочетании сравнительно-текстологического, сравнительно-исторического, историко-типологического и герменевтического методов.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые предпринята попытка изучение «переходного текста» второй половины XVII – начала XVIII века как единого целого. Это позволяет вычленить общие особенности книжных текстов переходной эпохи, обобщить и систематизировать частные случаи, прибегая к анализу поэтологических категорий, которым ранее не было уделено должного внимания.

В частности, в диссертации:

- раскрыт генезис понятия «переходный текст» в русской литературе;

- целостно представлена особая группа книжных текстов, обладающих признаками «переходности» (чиновники, ежедневные записки, описания церемониальных действ и др.);

- впервые разработана и предложена к применению методика анализа жанровых форм документальной книжности как переходного явления в русской литературе;

- впервые явления переходного характера в русской литературе XVII – начала XVIII века рассмотрены на текстах, ранее не вводившихся в научный оборот;

- впервые проанализирована поэтика ряда текстов второй половины XVII – начала XVIII века, определено их место в развитии литературной традиции переходного периода;

- под новым углом зрения осуществлена интерпретация повествовательных произведений переходного периода;

- установлен ряд своеобразных черт индивидуального стиля произведений, принадлежащих царю Алексею Михайловичу;

- впервые проанализирован характер взаимовлияния историко-культурных событий XVII века и книжных форм переходного периода развития русской литературы.

Теоретическая значимость работы заключается в возможностях применения ее методологии и выводов к изучению русской литературы переходного периода, предложена методологическая модель анализа закономерностей трансформации средневековой культуры в светскую.

Практическая значимость исследования состоит в разработке универсальных принципов филологического анализа произведений, представляющих тип «переходного текста». Выводы и вводимые в научный оборот источники могут быть использованы при разработке новых программ и пособий, лекционных курсов по древнерусской литературе, в спецсеминарах и спецкурсах, при подготовке курсовых и дипломных работ студентов, в ходе

дальнейшего изучения закономерностей развития русской литературы переходного периода.

Положения, выносимые на защиту:

1) Вводимое понятие «переходный текст» позволяет рассматривать книжные произведения второй половины XVII – начала XVIII века как целостное явление, представляющее «пограничный» период в развитии русской литературы, в рамках которого происходили изменение и смена семиотической парадигмы в русской культуре. Их поэтикой была подготовлена национальная почва для перелома в русской литературе XVIII века. Усвоение новых европейских форм культуры было закономерно и естественно, поскольку процесс модернизации страны начался задолго до Петровских реформ и нашел свое отражение в памятниках книжной культуры переходного времени.

2) Литературное явление, обозначенное понятием «переходный текст», включает в себя комплекс разножанровых произведений второй половины XVII – начала XVIII века, объединенных общими признаками новой поэтики: традиционность и новизна находятся в синтезе, жесткий стилевой канон уступает место свободному стилю выражения мыслей, что в дальнейшем способствовало развитию в литературе художественной речи.

3) Поэтика «переходного текста» определяется совокупностью элементов двух художественных парадигм: традиционной средневековой и новой, только формирующейся в русской культуре второй половины XVII века, которая отражает новые эстетические представления о мире и человеке.

4) Выделение особой группы текстов «переходного типа» уточняет характеристику процессов, которые происходили в русской литературе второй половины XVII – начала XVIII века и формировали и новую семиосферу русской культуры переходного периода.

5) Активное составление во второй половине XVII века особого рода книжных текстов – описаний церемониалов («чиновников») – позволяет проследить «переход» сакрального обряда в светское и секуляризированное действо, вербализуемое и разыгрываемое в театрально-зрелищных формах. В

переходный период развития русской культуры эти «чиновники» закладывают традиции драматургии. Художественно-эстетические особенности как светских, так и церковных чинов определят поэтологическое своеобразие произведений русской литературы Нового времени.

6) В переходный период усиливается взаимодействие документальных и литературных жанров, что привело к созданию крупных книжных произведений эпохи («Дневальные записки приказа Тайных дел», «О России в царствование Алексея Михайловича» Григория Котошихина), активизируется процесс формирования авторского самосознания, ориентированного на принятие и усвоение европейской традиции понимания исторического процесса.

7) Крупные книжно-документальные тексты переходной эпохи («Дневальные записки приказа Тайных дел», сочинение Григория Котошихина) фиксируют новую историческую картину мира, новое восприятие времени, исторического события и его выражение в книжном тексте. Акцент переносится с крупных и монументальных исторических событий на моменты частной жизни человека, что является одной из новых особенностей поэтики произведений переходного времени.

8) Признаком поэтики «переходного текста» становится изображение «новой» человеческой личности. Динамика внутреннего мира героя приходит на смену средневековой схематичности в изображении человеческой души. «Поэзия души» найдет свое воплощение и выражение в эпистолярных сочинениях царя Алексея Михайловича, адресованных широкому кругу читателей и представляющих собой различные варианты жанра послания. Таким образом, в переходный период развития русской литературы закладывается традиция дружеского письма, расцвет которого произойдет в литературе Нового времени (XVIII–XIX века).

9) Поэтика «переходного текста» демонстрирует новое мировоззрение автора, не связанного средневековыми книжными канонами и стремящегося к выражению своего взгляда и отношения к изображаемому событию и герою. Литературная техника автора переходной эпохи включает в себя новые

риторические приемы, определяющие индивидуальный стиль; субъективность авторской точки зрения; новые изобразительные средства языка и жанровые границы произведения. Наряду с сохраняющейся еще деловой предназначенностью и утилитарностью средневекового текста во второй половине XVII века активно формируется представление о необходимости риторического украшательства произведения. В этом случае риторичность уже выступает как признак литературности текста.

10) «Переходный текст» второй половины XVII – начала XVIII века дает возможность более детального изучения времени, общественного сознания в России, что, в свою очередь, расширяет представления современного человека об историко-культурных, историко-литературных процессах и явлениях, носивших «пограничный» характер и заложивших основы будущих преобразований в культурной жизни России.

Апробация исследования. Результаты исследования нашли отражение в 41 научной публикации, в том числе в 19 **публикациях в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня журналов, рекомендованных ВАК Минобразования России для защиты докторских диссертаций.**

Статьи, отражающие результаты исследования, опубликованы в российской научной периодике гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерова. А также в научных изданиях Варшавского (Uniwersytet Warszawski, Польша), Варминско-Мазурского (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Польша), Щецинского университетов (Uniwersytet Szczeciński, Польша), Католического университета в Ружемберке (Katolícka univerzita v Ružomberku, Словакия).

Результаты исследования докладывались на научных конференциях:

международных – «Культура как предмет междисциплинарных исследований» (Томск, 2008), «Нарративные традиции славянских литератур: от Средневековья к Новому времени» (Новосибирск, 2008, 2012), «Духовные начала русского искусства и образования» («Никитские чтения») (Великий Новгород, 2007, 2009), «Homo communicans: человек в пространстве межкультурной

коммуникации» (Szczecin, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012), «Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet 2013 v dňoch 21–22 marca 2013 v Poprade» (Ružomberok, 2013), «Русская литература и культура в Европе XXI века. Традиция – перемены – перспективы» (Warszawa, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014);

всероссийских с международным участием – «Православная культура в современном мире» (Кемерово, 2008); III Российский культурологический конгресс с международным участием «Креативность в пространстве традиции и инновации» (Санкт-Петербург, 2010); «Христианство и славянское культурное наследие» (Кемерово, 2013); «Сюжетно-мотивная динамика художественного текста» (Новосибирск, 2013) и «Сюжетология / Сюжетография» (Новосибирск, 2014);

всероссийских – «Из Древней Руси в Россию старообрядческую» (Новосибирск, 2012).

ГЛАВА 1

«ПЕРЕХОДНЫЙ ТЕКСТ»: ДИНАМИКА ТРАДИЦИОННОГО СЮЖЕТА И МОТИВА В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА

1.1. «Переходный текст» как научная проблема в отечественной и европейской медиевистике

Совершенно очевидно, что каждой исторической эпохе соответствует определенный тип текста, особое отношение к слову и творчеству, отражающее свойственное времени понимание автором природы Слова (logos). История литературы Древней Руси, как известно, представлена двумя типами текста, условно определяемыми как субстанциональный и релятивистский. Подобная типологизация текста Древней Руси в свое время была предложена в 70-е годы XX века С. Матхаузеровой[1] и нашла поддержку со стороны отечественных авторитетных ученых-медиевистов (А. М. Панченко[2]). На рубеже XX–XXI веков высказанные ранее идеи были одобрены и поддержаны В. В. Колесовым[3] и другими учеными.

Согласно предложенной С. Матхаузеровой классификации, первая разновидность (субстанциональная) демонстрирует сакральное отношение к тексту, имеющему божественное происхождение. Соответственно, читатель воспринимает текст как Откровение, данное свыше и требующее медленного неторопливого его прочтения. Подобное восприятие книжного текста отмечено в одном из старейших рукописных сборников – «Изборнике 1076 года»[4]. В первой

---

[1] Матхаузерова, С. Две теории текста в русской литературе XVII века // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, Ленинград. отд-ие, 1976. Т. 31. С. 271–284.

[2] Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Панченко, А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Звезда, 2005. С. 124, 130.

[3] Колесов, В. В. Источники древнерусской культуры и истоки русской ментальности // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 1(3). С. 1–9.

[4] «Читая книги, не старайся быстро читать от главы до главы, но вдумайся, о чем говорят книги и слова их, трижды возвращаясь к каждой главе. Ибо сказано: “В сердце моем сокрыл Я слова твои, чтобы не согрешить пред тобою”. Не сказано “устами лишь произнес”, но – “в сердце сокрыл, чтобы не согрешить пред тобою”, – подразумевая глубины написанного, направляемый ими», – так сказано в «Изборнике

статье сборника дается совет читать медленно, трижды перечитывать одну и ту же главу, пока не постигнешь ее смысла. Трансцендентное отношение к книжному тексту, восприятие его как явленность божественной сущности (essentia) также проявляется и в одном из фрагментов «Повести временных лет»:

> Велика ведь бывает польза людям от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь – реки, напояющие всю вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они – узда воздержания[5].

Подобное понимание роли книги в духовной жизни человека Древняя Русь восприняла от Византии и оставалась верной усвоенной традиции, о чем свидетельствует и «Измарагд» (XIV век), и особенно творчество старообрядцев (к примеру, протопопа Аввакума). XVII век, как прекрасно показано в работах А. М. Панченко[6], наряду с процессами, изменившими традиции русской культуры, принес и совершенно новое отношение к книге, новое понимание слова и новый тип книжного текста. Символично, что раскол русской церкви (а по сути, русского общества) начался с правки церковных книг и исправления слова, природа которого на Руси всегда понималась как имеющая сакральную основу, что подтверждается самим текстом Священного Писания («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» Ин. 1: 1). В итоге спор представителей противоборствующих партий (традиционалистов и западников) в середине XVII столетия обнажил узел противоречий, которые сложились к тому времени в русской культуре.

Второй тип текста, определяемый как existentia, начиная с XVII века, иллюстрирует релятивистское, критическое отношение как к изображаемой в книжном произведении реальности, так и к словесному сочинению. Подтверждение высказанному суждению можно найти в исследованиях

1076 года». (Изборник 1076 года // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. СПб.: Наука, 1999. Т. 2. XI–XII века. С. 407.).

[5] Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. СПб.: Наука, 1997. Т. 1. С. 195.

[6] Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Панченко, А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Звезда, 2005. С. 272–280.

В. В. Колесова. Ученый пишет: « <…> с XVII века развивается вполне релятивистская теория текста: всякий текст относителен, его можно критиковать, соотносить с другими текстами, каждый раз новыми; он всего лишь источник информации, которую достаточно поверхностно *знать* и не обязательно глубинно *ведать,* достаточно проговорить известное. Теперь текст не перерабатывается (каждый древнерусский текст имеет свои редакции и варианты; чтобы их выявить, разрабатывается особая текстология) – теперь *пишется новый текст*»[7].

В одной из своих работ[8] мы отмечали, продолжая обсуждение ранее заявленной проблемы взаимосвязи типа текста с определенной исторической эпохой в развитии литературы, с процессами, происходившими в русской культуре, что «XVII век наряду с социальными, политическими изменениями в государственном устройстве принес с собой и совершенно новое понимание задач, стоящих перед писателем, а также представление и о новых возможностях самой литературы»[9]. XVII век, по словам Д. С. Лихачева, был «веком постепенного перехода от древней литературы к новой соответственно переходу России от средневековой культуры – к культуре Нового времени»[10]. Приведенное заключение Д. С. Лихачева – одно из многих, которые на протяжении уже десятилетий актуализируют проблему изучения русской литературы переходного периода, обозначившего себя границами второй половиной XVII века – первой третью XVIII столетия[11].

Напомним, проблема изучения явлений переходного характера в литературе была поставлена еще в трудах В. П. Адриановой-Перетц[12], П. Н. Беркова[13]. Так,

---

[7] Колесов, В. В. Источники древнерусской культуры и истоки русской ментальности // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 1 (3) С. 8.

[8] Шунков, А. В. «Переходный текст» в русской литературе XVII века. Основные подходы научного исследования проблемы // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 6 (43) С. 404–408; URL: http://cyberleninka.ru/article/n/perehodnyy-tekst-v-russkoy-literature-xvii-veka-osnovnye-podhody-nauchnogo-issledovaniya-problemy#new_comment

[9] Шунков, А. В. Указ.соч. С. 405.

[10] Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили // Лихачев, Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 1. С. 172.

[11] Разные определения периода: Сазонова Л. И. (раннее Новое время), Ужанков А. Н. (стадия миропредставления) и др.

[12] Адрианова-Перетц, В. П. О связи между древним и новым периодами в истории славянских литератур // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Инс-т рус. лит. (Пушкинский Дом); ред.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 19. С. 427–447.

например, В. П. Адрианова-Перетц еще в начале 60-х годов XX века констатировала, что в истории любой славянской литературы есть периоды, условно называемые «древние» и «новые», находящиеся в активном контакте друг с другом в переходные периоды. Причем это взаимодействие, по словам ученого, проявляется как с внешней стороны (в «форме прямого “влияния” произведений старшего периода на творчество писателей нового времени»), так и на уровне «внутреннего родства между литературами разных исторических этапов», на уровне «идейно-художественных тенденций»[14].

П. Н. Берков, апеллируя к известной статье В. П. Адриановой-Перетц, принимает метод исследования, предложенный исследователем при изучении русской литературы переходного периода ее развития на основе анализа внутренних связей литературных эпох. В то же время П. Н. Берковым были определены и новые задачи, которые требовали своего решения на тот момент изучения переходных процессов русской литературы. Исходя из анализа ряда книжных памятников второй половины XVII – начала XVIII века, можно утверждать, что переходная эпоха как уникальный исторический этап в развитии русской культуры и литературы породила особый тип текста, соответвовавший своему времени и обладавший определенными признаками, благодаря которым он выделялся на фоне средневековой книжной традиции и одновременно обозначал перспективы дальнейшей эволюции литературного творчества, но уже в совершенно иных исторических условиях.

«Срединное» положение книжного текста переходного периода в развитии русской литературы как раз и обеспечивает постоянный интерес к нему как со стороны отечественной, так и европейской славистики. В результате бытования многолетней научной традиции по изучению произведений, принадлежащих переходному периоду в развитии русской литературы, сформировались определенные подходы и методы исследования проблемы.

---

[13] Берков, П. Н. Задачи изучения переходного периода русской литературы. (От древней к новой) // Пути изучения древнерусской литературы и письменности. Л.: Наука, 1970. С. 12–19. Его же. О литературе так называемого переходного периода // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII века). М.: Наука, 1971. С. 19–32.

[14] Адрианова-Перетц, В. П. Указ. соч. С. 427.

Один из аспектов изучения памятников литературы, обладающих переходным характером, был представлен в работах Д. С. Лихачева[15]. Переходность литературной эпохи ученый видел в первую очередь в усилении личностного начала как проявления авторской воли, в свою очередь свидетельствующей о начале секуляризации русской литературы. Следствием усиления личностного начала в книжности XVII века, с точки зрения Д. С. Лихачева, стали трансформация традиционной жанровой системы, индивидуализация персонажей, бытовых зарисовок, расширение тематики, «эмансипация сюжетного построения» и другие факторы, которые в конечном итоге окончательно разграничили две традиции в книжной культуре: Средневековья (церковная) и Нового времени (светская). Таким образом, главной причиной переходных процессов в литературе Д. С. Лихачев видел автора текста, стремившегося уже с иных позиций высказать свою точку зрения: «Русская литература на грани XVI–XVII веков стояла перед необходимостью подчинения литературы личностному началу, выработке личностного творчества и стабильного авторского текста произведений»[16]. Индивидуализация персонажей, прямой речи героев, их пребывание в новом художественном пространстве напрямую связано с изменившимся восприятием мира субъектом художественного творчества – автором произведения.

Исторический подход, предложенный Д. С. Лихачевым при изучении литературы, был успешно апробирован и применен на практике сторонниками его научной школы: А. С. Деминым, А. Н. Робинсоном, Е. К. Ромодановской, Л. И. Сазоновой и другими, как отечественными, так и европейскими исследователями древнерусской литературы. Благодаря исследованиям ученых-медиевистов существенно было расширено представление о масштабе процессов,

[15] Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958; Его же. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973.
[16] Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили // Лихачев, Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л.: Художеств лит., 1987. Т. 1. С. 173.

происходивших в русской литературе второй половины XVII века, объяснена их природа, расширен и сам перечень художественных открытий в литературе[17].

Так, например, Е. К. Ромодановская[18] на примере повествовательных жанров XVII века продемонстрировала, как благодаря художественному вымыслу, проникавшему в литературу во второй половине XVII века, начался процесс кардинального ее измения, затронувший и содержательную (сюжетную), и формальную стороны. С точки зрения ученого, немаловажную роль в процессе эволюции русской литературы в переходный период[19] ее развития играл не только автор, но и читатель. Именно в эпоху второй половины XVII – первой трети XVIII века в русской литературе рождается абсолютно новая причинно-следственная связь в парадигме «автор – читатель». Как показала Е. К. Ромодановская на примере русской повести, представляющей переходный период литературы, вымысел стал осознаваться не только автором, но и читателем, который стал также играть важную роль в литературном процессе, и именно по этой причине автор уже не мог не учитывать читательское мнение.

XVII век, таким образом, для русской литературы открыл нового читателя, который занял свое место в цепи литературного творчества и который оказался в состоянии оценить новую форму и новое содержание литературного произведения. «Понимание этого позволяет представить читателя равноправным участником литературного процесса, выявить зависимость автора и его творений от востребованности того или иного явления читателем»[20], – таков вывод, сделанный Е. К. Ромодановской.

---

[17] Так, например, вступительная статья Д. М. Буланина к I тому «Словаря книжников и книжности Древней Руси» дает краткий обзор признаков переходной эпохи, часто приводимых при характеристике литературного процесса XVII века. См.: Буланин, Д. Последнее столетие древнерусской книжности // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. С. 3–13.

[18] Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994. 232 с.

[19] Напомним, исследовательница точкой отсчета переходного периода в русской литературе определяет 40-е годы XVII века: «По-видимому, с 1640-х, а не с 1660–1670-х годов, как было принято до сих пор, и следует вести отсчет явлениям новой литературной традиции». (Ромодановская, Е. К. Указ. соч. С. 182). Д. С. Лихачев начальную границу литературы «переходного периода» связывал с появлением публицистических повестей эпохи Смутного времени.

[20] Ромодановская, Е. К. Указ. соч. С. 181.

Роль авторского начала в развитии литературы XVII века как главной причины слома традиций и привнесения в русскую культуру ренессансных идей будет в дальнейшем развита в исследованиях А. М. Панченко. Культурно-исторический подход, примененный академиком в изучении отдельных явлений русской культуры «кануна Петровских реформ», имевших ренессансный характер, позволил ученому назвать основной признак переходной эпохи, заключающийся в «замене веры культурой»[21]. Результатом процесса стало новое понимание человека и его роли в истории. Как писал А. М. Панченко, «если прежде история определяла судьбу человека, то в канун петровских реформ человек предъявил свои права на историю, попытался овладеть ею. <…> Важно, что “новые учители” провозглашают идею о едином, цивилизованном времени, как бы упраздняя различия между вечностью и бренным существованием. Событие не находится в зависимости от Бога; событие – лишь “аппликация” на бесконечном потоке времени»[22]. Установление новой культурной парадигмы привело к утверждению нового направления в русской культуре и литературе – барокко, породившего иную модель поведения человека[23], нашедшую художественное воплощение в новых формах текста – поэзии и драматургии, передающих динамизм новой культуры. Именно поэтому барокко, первое западноевропейское литературное направление в России, объединившее в себе традиции Средневековья и Ренессанса, рассматривалось ученым как одна из ярких иллюстраций переходных процессов, происходивших в русской культуре второй половины XVII века.

---

[21] Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Панченко, А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Звезда, 2005. С 131.

[22] Там же. С. 136.

[23] А. М. Панченко проводит сравнение двух разных типов поведения человека в переходный период русской культуры: традиционалиста, воплощающего модель мученика и страдальца, и новатора, пребывающего в состоянии радости и восторга. «Была в то время устойчивая стилистическая формула: “Ох, ох! Увы, увы! Горе, горе!”. Это восклицание можно взять эпиграфом и к жизни традиционалистов, и к произведениям, вышедшим из-под их пера. Их ментальность – “оханье” и “гореванье”. <…> Из культуры барокко новаторы заимствовали лишь оптимистические мотивы. Медитации, рефлексия, барочный пессимизм были им совершенно чужды. Поэтому ключевые слова сочинений новаторов – “радость” и “веселье”» (Панченко, А. М. Указ. соч. С. 116, 118–119).

Это направление в изучении литературы переходного периода, обозначенное в начале 80-х годов XX века А. М. Панченко[24], в дальнейшем получит развитие в исследованиях Л. И. Сазоновой[25]. Применяя историко-культурный подход, она сосредотачивает свое внимание на изучении произведений силлабической поэзии, церемониальных текстов, в которых появляются новые темы, мотивы, художественные символы, эмблемы, привнесенные в русскую словесность и культуру из западно- и восточнославянских литератур. На основе исследования значительного корпуса книжных памятников второй половины XVII века, художественная природа которых уже не вписывается в традицию Древней Руси, Л. И. Сазонова делает вывод о том, что они принадлежат уже совершенно иной эпохе, требующей более детального подхода к своему изучению. С точки зрения ученого, переходный период в развитии русской литературы имеет свои особенности: «Разнородные явления, которым суждено было определить перспективу будущего развития русской литературы и культуры в целом, дают основание для выделения внутри “переходной эпохи”, начиная с середины XVII века, периода *раннего Нового времени*, продолжающегося до первых десятилетий XVIII века – начала собственно Нового времени»[26].

Л. И. Сазонова в барокко видит начало нового этапа в истории русской культуры, определяя его как раннее Новое время (Early Modern Times): «С одной стороны, это очередной шаг, завершающий в “переходном периоде” движение к Новому времени, а с другой – доминирующие явления культуры уже обладают очевидными признаками Нового времени. Такая ситуация переходности фактически сохраняется до конца Петровской поры»[27]. Рассмотрев явления русской литературы, представляющие раннее Новое время (поэзия Симеона

[24] 1984 год – первое издание монографии А. М. Панченко «Русская культура в канун Петровских реформ», вышедшее в Ленинграде. Хотя «бунташный век» всегда находился в центре внимания ученого, о чем свидетельствуют его более ранние работы.

[25] Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII века). М.: Наука, 1991. 263 с.; Ее же. Литературная культура России. Раннее Новое время / Рос. Акад. наук; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Яз. славян. культур, 2006. 896 с.; Ее же. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени. М., Рукопис. пам. Древней Руси, 2011. 472 с.: ил. (Studia philologica).

[26] Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время / Рос. Акад. наук; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 15.

[27] Сазонова Л. И. Указ. соч. С. 16.

Полоцкого и его последователей) в общеславянском контексте, ученый приходит к выводу об органической взаимосвязи русской традиции и традиции славянских литератур (западной и восточной). Сосредоточив внимание на изучении стихотворных и драматических произведений, представляющих ранне Новое время и, безусловно, ставшие ярким явлением литературной эпохи второй половины XVII – начала XVIII века, Л. И. Сазонова не рассматривала группу произведений этой же исторической эпохи, но находившихся на периферии литературного процесса: документальную книжность. Однако ряд образцов памятников могут быть органично вписаны в этот же историко-литературный контекст, для которого станет характерным взаимодействие литературного и документального начал. Именно на этом моменте мы и сделаем акцент в нашем дисертационном исследовании, продемонстрировав и доказав актуальность изучения книжных произведений, представляющих особое явление в русской литературе – «переходный текст».

Барокко, пришедшее с Запада, изменило русскую литературу, оказало свое влияние не только на творчество просвещенных поэтов, но и на представителей традиционалистского направления – старообрядцев: «Если Аввакум, не признавая ни внешнюю мудрость, ни внутреннюю красоту, выразил резкое неприятие языка новой культуры, то старообрядцы следующих поколений, писатели выговской школы первых десятилетий XVIII века, оказавшись перед лицом изменяющихся исторических обстоятельств, пришли к необходимости усвоить его, чтобы быть понятыми обществом, в котором менялись не только социальные структуры, но также структуры жанровые и стилистические»[28]. Барокко способствовало утверждению новой идеологии, выраженной в новых художественных формах (поэтические жанры, придворно-церемониальные произведения), пришедших на смену средневековым. В результате синтеза европейской и русской традиций появляется новый тип текста, представляющий иные мировоззренческие и

[28] Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время / Рос. Акад. наук; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Яз. слав. культур, 2006. С. 701

художественные категории[29] и тем самым предвосхищающий классицистическую эпоху: «… возникает литература, открывающая новую перспективу; призывая к движению вперед, она теперь определяет вектор будущего развития»[30].

Помимо вышеприведенных подходов в изучении переходных явлений русской культуры и литературы в отечественной науке в 60-е годы XX века был применен семиотический подход. Так, с точки зрения представителей тартуско-московской семиотической школы (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский), в основе модели русской культуры лежит категория дуальности[31], полярности: «Специфической чертой русской культуры исследуемой эпохи (Средневековье и до конца XVIII века – *примеч. А. Ш.*) в интересующем нас аспекте является ее принципиальная полярность, выражающаяся в дуальной природе ее структуры»[32].

Развитие русской культуры в связи с этим осмысливается как смена этапов, из которых каждый новый решительно пытается порвать связи с предшествующим. Дуальная модель русской культуры, предложенная Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским, предполагает со-противопоставление двух антиномий (одна из самых известных «старое – новое», по природе своей соотносимая с антитезой «свое – чужое»), которое становится особо заметно в периоды слома традиций. Ввиду того, что модель русской культуры, в отличие от западной, не знает третьей составляющей («нейтральной аксиологической сферы»), каждый раз новое в истории русской культуры (от Крещения до реформ Петра I) всегда вызывало недоверие, страх, эсхатологические настроения. В свою очередь традиционное, укоренившееся со стороны «новых людей» эпохи осмысливается как консервативное, нуждающееся в радикальном изменении. Именно поэтому развитие русской культуры мыслится не как поступательное, динамичное эволюционирование, а как «радикальное отталкивание от предыдущего этапа». Как отмечают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский,

---

[29] Исследователь приводит свыше десятка характерных признаков нового текста, появившегося в русской литературе благодаря влиянию барокко.
[30] Сазонова Л. И. Указ. соч. С. 700.
[31] Лотман, Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский, Б. А. Избр. труды. М.: Гнозис, 1994. Т. I. С. 219–253.
[32] Лотман, Ю. М., Успенский, Б. А. Указ. соч. С. 220.

«естественным результатом этого было то, что новое возникало не из структурно “неиспользованного” резерва, а являлось результатом трансформации старого, так сказать, выворачивания его наизнанку»[33]. Однако старая культура, вступая в полемику с новой, противопоставляя себя ей, не могла быть искоренена полностью. С позиции сторонников культурно-семиотического подхода, в исследовании процессов, происходивших в русской культуре, здесь возможны следующие варианты решения проблемы. Первый предполагает столкновение двух противоположностей, которое приводит к переворачиванию устоявшейся ранее системы, замене «плюса» на «минус». При втором варианте рассматривается возможность сохранения ранее сложившейся традиции, которая трансформируется, и «в этом случае создаются новые тексты при сохранении архаического культурного каркаса»[34]. Подобная ситуация в истории русской культуры имеет постоянный и неизменный характер.

Таким образом, переходность с семиотической позиции есть одна из констант русской культуры, демонстрирующих на разных этапах ее развития противоположное аксиологическое отношение к традиции и новаторству. Подводя итог вышесказанному, Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский пишут: «Специфика русской культуры рассмотренной эпохи, в частности, проявлялась в том, что связь с прошлым объективно наиболее резко ощущалась тогда, когда субъективно господствовала ориентация на полный с ним разрыв, и, напротив, ориентация на прошлое связывалась с вычеркиванием из памяти реальной традиции и обращением к химерическим конструктам прошлого»[35].

Объяснение причин переходных процессов в русской культуре, их сущности содержится в трудах представителей философской антропологии, активно о себе заявивших в славистике на рубеже XX–XXI веков. Одним из представителей этого направления в российской науке является Л. А. Черная, которая считает, что

---

[33] Лотман, Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский, Б. А. Избр. труды. М.: Гнозис, 1994. Т. I. Лотман, Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский, Б. А. Избр. труды. М.: Гнозис, 1994. Т. I. С. 221.

[34] Там же. С. 224.

[35] Лотман, Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский, Б. А. Избр. труды. М.: Гнозис, 1994. Т. I. С. 245.

«переходные периоды в культуре, с философско-антропологической точки зрения, – это смена концепции человека, отказ от старого решения проблемы человека и поиск нового решения»[36]. Философско-антропологический подход позволяет увидеть начало всех изменений, происходивших в культуре, в динамике понимания природы человека, «человек становится исходной точкой отсчета в поисках новой концепции мира и себя самого»[37]. Переходность в русской культуре связывается с появлением и утверждением новой концепции времени (акцент делается на событии настоящего времени), пространства (актуальность приобретает мир земной), привнесением новизны во все сферы жизнедеятельности человека и соответственно отказом от прежних старых форм, в конечном итоге – появлением и утверждением новой жанровой системы в литературе, соответствующей «эпохе познающего разума» и представляющей «“личностный тип” человека переходного периода», «homo novus».

Нетрудно заметить, что в данном случае философско-антропологический подход в рассмотрении явлений переходного характера в русской культуре и литературе XVII века находит общие точки соприкосновения с идеями, высказанными академиком Д. С. Лихачевым, тем самым еще раз подтверждая выводы ученого о роли личностного начала в литературе XVII века. В то же время философско-антропологический подход, применяемый в исследовании явлений культуры переходного периода, с точки зрения Л. А. Черной, позволяет более детально выстроить его периодизацию, выделив четыре основных этапа[38].

В последнее время был предложен новый подход в изучении переходного периода литературы Древней Руси. В его основу положена идея эволюции мировоззрения древнерусского книжника (писателя). Развитие литературы напрямую связано не столько с историческими событиями, сколько с той формой сознания автора, которая соответствовала определенной

---

[36] Черная, Л. А. Философско-антропологический подход к изучению славянских культур // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII Междунар. съезд славистов (Краков, 1998). Докл. рос. делегации. М.: Наследие, 1998. С. 289.

[37] Там же. С. 290.

[38] Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Яз. рус. культуры, 1999. С. 52–87.

мировоззренческой стадии. Предложенная А. Н. Ужанковым[39] концепция стадиального развития русской литературы XI – первой трети XVIII века «позволяет увидеть не только конкретный результат развития литературы в виде конкретных произведений, но и выявить и объяснить происхождение их литературно-художественных особенностей»[40].

Переходный период русской литературы, согласно концепции А. Н. Ужанкова, очерчивается 40-ми годами XVII – 30-ми годами XVIII века и определяется как стадия миропредставления, в основе которой лежит рационалистический способ познания мира и эгоцентрический тип сознания. Аргументом, доказывающим объективность данного подхода в определении границ периода, является тот тип сознания автора, который отражается в литературных памятниках, представляющих стадию миропредставления в истории русской литературы. По мысли А. Н. Ужанкова, «стадия миропредставления, опирающаяся на рассудочное постижение мира, – это переходный период от средневекового объективно-идеалистического мышления к рационалистическому мышлению Нового времени, а в истории русской культуры – это переходный этап от Средневековья к Новому времени (40-е годы XVII века – 30-е годы XVIII века)[41].

Начало переходного периода в истории русской литературы ученый связывает с секуляризацией мировоззрения автора, наиболее ярко проявившейся в сатирических повестях (демократическая сатира), датируемых 40-ми годами XVII столетия. Секуляризация сознания человека середины XVII века также заметна и в дифференциации двух методов познания мира: религиозного и рационалистического. В истории литературы это нашло свое отражение в тех художественных новациях, которые демонстрируют памятники, относящиеся к данному периоду.

---

[39] Ужанков, А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2008. 528 с.
[40] Его же. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 254.
[41] Там же. С. 203.

Перечень «новин», представляющих иной тип литературного творчества, хорошо известен, он неоднократно уже приводился в большинстве работ медиевистов, посвященных изучению переходных явлений в истории древнерусской литературы. Это и появление категории художественного вымысла, изменение представлений о времени, иное понимание задач, стоящих перед писателем, трансформация жанровой системы, отражающей уже новую модель мира и др.

Процессы, происходившие в русской литературе в период ее кардинального измения, перехода от средневековья к Новому времени, вызывают пристальный интерес не только у отечественных исследователей, но и европейских медиевистов, которыми сделано немало ценных выводов по проблеме изучения историко-литературных процессов, происходивших в России на рубеже XVII–XVIII веков. Выше мы уже приводили статью С. Матхаузеровой, в которой предложена типология текста русской литературы XVII века, отражающая ее переходный характер. Мнение, высказанное ученым еще в 70-е годы XX века, было высоко оценено и было поддержано ведущими отечественными медиевистами (Д .С. Лихачевым и А. М. Панченко)[42]. Основу научной концепции С. Матхаузеровой составлял анализ сочинений двух ярких личностей: протопопа Аввакума и Симеона Полоцкого, каждый из которых представляет определенный тип эстетических взглядов на природу текста.

Не менее интересен подход к исследованию русской литературы переходного периода, предложенный Элизой Малэк. На примере беллетристики рубежа XVII–XVIII веков, условно относимой к категории «неполезного чтения», она высказывает идею о том, что в переходный период русской литературы традиционная средневековая книжность нисколько не уступала произведениям светского характера. Наоборот, как считает Э. Малэк, судя по количеству списков «душеполезных» и «неполезных» беллетристических повестей, дошедших до Нового времени, преобладает как раз первая категория: «Если взглянуть на

[42] Панченко, А. М. История и теория // Рус. лит. 1981. № 3. С. 203–208; Ковтун, Л. С., Колесов, В. В. Новый труд о древних теориях искусства слова на Руси // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. 37. С. 391–400.

литературное наследие XVII – первой трети XVIII века с этой точки зрения, то картина триумфального шествия светской повествовательной прозы заметно потускнеет»[43], – делает заключение ученый. Несмотря на активные историко-культурные процессы, происходившие в России в период XVII – первой трети XVIII века, в поле зрения русского человека находился традиционный для средневековой эпохи перечень произведений, не терявший своей актуальности. Э. Малэк пишет, что «данные доступных в настоящее время архивных материалов показывают, что подавляющее большинство читателей XVII – первой трети XVIII вв. не проявляло ни малейшего интереса к произведениям светской повествовательной прозы, довольствуясь чтением традиционного типа: большинство четьих рукописных сборников того времени по своему характеру не отличается от четьих сборников XV–XVI веков»[44].

Объяснением подобной ситуации, как отмечает Э. Малэк, является культурная образованность читателя эпохи, воспитанного в книжной традиции Средневековья и не стремившегося пока еще в полной мере оценить и принять новизну беллетристики, представляющей совершенно другой уровень литературы. «Литературная судьба произведений светской “неполезной” литературы XVII – первой трети XVIII в. была теснейшим образом связана с культурными компетенциями читателей, проявляющимися в умении понимать нестандартные литературные тексты, со вкусами читающей публики, выражавшимися прежде всего в отборе текстов для индивидуального чтения, в предпочтении произведений одного жанра произведениям, реализующим требования иного жанрового и идеологического канона»[45]. Интересным в научной концепции, сформулированной Э. Малэк, является то, что ее точка зрения в рассмотрении вопроса особенностей развития русской беллетристики в переходный период и акцентирование внимания на роли читателя как одной из

[43] Малэк, Э. Место и роль светской повествовательной прозы в литературной культуре Руси XVII – первой трети XVIII века // Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria 32, 1992. S. 103.
[44] Малэк Э. Указ. соч. S. 106.
[45] Małek E. «Неполезное чтение» в России XVII–XVIII веков. Łódź: Wydawnictwo naukowe PWN, 1992. S. 44.

ключевых фигур в данном процессе созвучна с выводами, которые были сделаны по этому вопросу Е. К. Ромодановской[46].

Таким образом, рассмотрев основные позиции ученых по проблеме изучения литературного процесса переходного времени, можно говорить о том, что данный период в истории русской литературы остается до сих пор одним из дискуссионных в отечественной науке. Существующие научные концепции, предлагающие разные подходы в исследовании явлений переходного характера в истории русской литературы, демонстрируют не только полярность точек зрения на исследуемую проблему, но в то же время показывают возможность ее многоаспектного изучения. Рассмотренные выше подходы к изучению литературы переходного периода в своей совокупности иллюстрируют неоднозначность решения проблемы, сохраняющей свою актуальность. Сложность процессов, происходивших в переходный период русской культуры и литературы, не может быть объяснена только с какой-либо одной точки зрения. Это приведет к сужению и упрощению представлений о мозаичности переходного периода культуры и литературы. Именно об этом и говорил в свое время А. М. Панченко: «Эволюция культуры – явление не только неизбежное, но и благотворное, потому что культура не может пребывать в застывшем, окостенелом состоянии. Но эволюция эта протекает все же в пределах “вечного града” культуры»[47].

1.2. Церковная книжная традиция в условиях переходного периода. («Сказание об Успении Богородицы» царя Алексея Михайловича)

Традиционно одним из характерных признаков литературы переходного периода называют ее амбивалентность, проявляющуюся в столкновении в рамках одного произведения двух противоположных традиций: средневековой и Нового времени. Двойственная природа многих книжных текстов переходного периода в исследовательской литературе рассмотрена сквозь призму жанрового своеобразия

[46] Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994. 232 с.
[47] Панченко А. М. Россия: история и культура. СПб.: Звезда, 2005. С. 316.

наиболее репрезентативных авторских и анонимных произведений эпохи, их стиля, использования автором новых оригинальных приемов сюжетопостроения и пародирования старых, усиления литературного начала в документальной книжности и т. д. Отметим, что подобный подход в анализе произведений, относящихся к переходному периоду русской литературы, оправдан, поскольку дает возможность на конкретном примере увидеть процесс художественной динамики, слома устоявшихся средневековых литературных канонов и формирования новых правил создания литературного произведения.

Помимо тех индикаторов переходности в литературе, которые всем хорошо известны, также может быть взят за основу и текст Священного Писания, его восприятие и интерпретация авторами рассматриваемого историко-литературного периода. Это вполне обосновано, так как библейский текст с момента Крещения Руси определял не только систему этических ценностей, но и являлся для книжника эстетическим эталоном словесного выражения.

Образность, метафоричность, символичность, ритмичность, присущие ветхозаветным и новозаветным книгам, не могли не сформировать и особого понимания роли словесного искусства, его сакральной природы. Восприятие и истолкование любого исторического события через соотнесенность его с библейской историей – прием, впервые положенный митрополитом Иларионом в основу оригинального произведения русской литературы «Слова о законе и благодати».

Данный прием, как известно, позволил автору посредством слова (понимаемого им как символ Божественного Откровения) с вневременной позиции рассмотреть и показать значение Крещения Руси. Поэтому активное цитирование текстов Священного Писания в книжных текстах рассматривалось как прием, демонстрирующий не слепую зависимость автора от канонического образца, а подчеркивающий именно взаимосвязь мира горнего и мира дольнего, событий настоящего времени и вневременных. В дальнейшем эта особенность сохранится и на завершающем этапе русской литературы средневекового типа – литературы эпохи барокко, в произведениях русской силлабической поэзии.

Л. И. Сазонова отмечает, что «в поэтической культуре барокко так же, как в литературе риторического типа в целом, текст существовал как осмысленный пример для подражания и как образец-источник. С риторической установкой на готовое слово в русской силлабической поэзии связаны перетекание текста из одного произведения в другое и практика литературных заимствований. <…> Использование чужого текста поощрялось риторикой и ценилось именно потому, что подчеркивало преемственность автора и устанавливало его в русле традиции»[48].

Противоречивость и амбивалентность литературной ситуации во второй половине XVII века возможно увидеть в том, как воспринимается и осмысливается книжниками эпохи библейский текст, всегда служивший эталоном для древнерусского книжника. Как пишет А. Н. Ужанков, «древнерусский православный книжник, человек церковный или мирской, руководствовался в своей жизни Святым Писанием – Библией, и Святым Преданием – трудами святых отцов церкви. Тем более, если это творческая личность, и тем более, если он жил в монастыре»[49]. Исходя из приведенного наблюдения, писательский труд в Древней Руси рассматривался как акт словесного со-творчества с Богом, следование древнерусским книжником тем образцам, которые запечатлены в Божественном Откровении – Библии. Осознание подобной высокой миссии Слова было свойственно как простым книжникам-монахам, так и лицам высокого социального статуса[50].

К XVII столетию в осмыслении писательского труда и характере книжных текстов появились новые представления о задачах литературы, возможностях автора. Они хорошо известны и связаны с такими художественными открытиями, как вымысел, индивидуализация персонажа, авантюрный тип сюжета, субъективный взгляд на происходящее историческое событие, внимание к

---

[48] Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII–XVIII веков). М.: Наука, 1991. С. 63, 73.

[49] Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 108.

[50] Подробно о понимании природы литературного творчества см.: Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 105–114., 184–190.

отдельной личности и др. Традиционно эти новации в русской культуре XVII века оцениваются как прогрессивные, приблизившие ее к усвоению ренессансных идей, проявляющихся в ослаблении средневековых традиций в творчестве, которые лежали в основе теоцентрической картины мира, и усилении антропоцентрических тенденций в мировоззрении русского книжника. Однако в решении вопроса о путях развития русской литературы в переходный период не стоит абсолютизировать одну линию, безусловно, ярко заявившую о себе в это время в ущерб другой – традиционной, основанной на библейском тексте.

Как показывают, например, результаты исследований Элизы Малэк[51], произведения эпохи перехода от Средневековья к Новому времени с признаками новизны (авантюрный тип героя, смеховое начало) не были столь распространенными в читательской среде, как это может показаться на первый взгляд. «Душеполезная» литература, в основе которой лежит традиция библейской и святоотеческой книжности, не теряла своей популярности и была востребована читательской аудиторией. По словам Э. Малэк, «книжники старого закала нашли также более действенный способ обезвреживания уже попавших на Русь мирских текстов. Путем более или менее искусного редактирования занимательных повестей, они старались усилить религиозные акценты повествования и придать их сюжетам телеологическое звучание».[52] Неслучайным в этой ситуации является факт отношения современников к силлабическим виршам Симеона Полоцкого как к произведениям, удивлявшим своей необычной формой и воспринимавшимся как «зрелище»[53] («поэтическая кунтскамера», по выражению И. П. Еремина), требовавшим от читателя, слушателя виршей интеллектуальной культуры[54].

---

[51] Małek E.. «Неполезное чтение» в России XVII–XVIII веков. Łódź: Wydawnictwo naukowe PWN, 1992.

[52] Малэк Э. Место и роль светской повествовательной прозы в литературной культуре Руси XVII – первой трети XVIII века // Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria 32, 1992. S. 107.

[53] У И. П. Еремина читаем: «Так называемые “книжицы” Симеона Полоцкого свидетельствуют, что этот его стихотворный парад вещей иногда принимал форму настоящего зрелища – зрелища в буквальном смысле этого слова: стихи можно было не только читать, но и рассматривать, как рассматривают здание или картину». (Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. Т. 6. С. 126).

[54] Вспомнить хотя бы то впечатление, которое произвел на царя Алексея Михайловича Симеон, впервые преподнеся ему приветственные «метры» в 1656 году, во время приезда царя в Полоцк.

Насколько противоречивой была ситуация взаимодействия двух литературных традиций (средневековой и новой) в век потрясений, может свидетельствовать творчество ярких писателей эпохи (протопоп Аввакум, патриарх Никон, Симеон Полоцкий и др.), к числу которых принадлежит и фигура царя Алексея Михайловича. Тот факт, что царь Алексей Михайлович обладал литературным талантом и питал особую страсть к ремеслу книжника, широко известен и представлен во многих исследованиях, посвященных изучению эпохи правления монарха.

Интерес исследователей к архиву царя, в котором представлены как документальные, так и литературные сочинения Алексея Михайловича, сохраняется уже на протяжении трех столетий. Объемы самого рукописного наследия, его наполнение и своеобразие, с точки зрения литературной природы входящих в него документов, позволяют каждый раз обращаться к нему под новым углом зрения, подчеркивая тем самым писательскую незаурядность царя Алексея. В свое время, равно как и другие исследователи[55], мы уже поднимали проблему необходимости всестороннего изучения литературного наследия монарха: «В отечественной науке литературное творчество царя Алексея Михайловича не получило еще всестороннего изучения и общей объективной оценки. До сих пор созданные им литературные произведения, письма интересовали ученых-историков, которые использовали этот богатый материал для характеристики как самой личности монарха, так и его эпохи правления»[56].

Нами детально был проанализирован ряд сочинений царя (переписка с А. И. Матюшкиным, письма, адресованные патриарху Никону, семье и др.), которые демонстрируют индивидуальный авторский стиль Алексея Михайловича

---

[55] Душечкина, Е. В. Статейный список 1652 г. как литературный памятник // Уч. зап. Тартус. ун-та. Вып. 369. (Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение). Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1975. С. 3–18. Ее же. Царь Алексей Михайлович как писатель. Постановка проблемы // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции / отв. ред. В. Г. Базанов. М.: Наука, 1976. С. 184–188; Кротов, М. Г. Послания царя Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа. (Этюд из исторической психологии) // Герменевтика древнерусской литературы XVI – начала XVIII веков. – М.: Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 1989. С. 140–178; Шунков, А. В. Жанр послания в русской литературе XVII века. (На материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). Кемерово: КемГУКИ, 2006. 97 с.

[56] Шунков, А. В. Литературное творчество царя Алексея Михайловича (Эпистолярное наследие, «Урядник сокольничья пути»): автореф. дис. … канд. филологических наук. Новосибирск, 2000. С. 3.

как писателя. Итогом проделанной работы[57] стал вывод, подтверждающий органичность писательской фигуры царя для своей эпохи, стремящегося в одной ситуации использовать традиционные приемы эпистолярной традиции, в другой – экспериментировать с жанровой формой, стилистическими приемами и создавать по сути литературный текст, привлекающий внимание читателя более позднего времени. Примером подобного послания является Статейный список 1652 года («Повесть о преставлении патриарха Иосифа»), в котором авторская оригинальность проявляется в завуалированной форме высказать свое истинное негативное отношение к герою, спрятав его за традиционные этикетные словесные приемы, используемые при описании смерти патриарха. В данном случае виден талант царя как писателя, виртуозно владеющего приемами иронии и сатиры, переводящими событие из сферы святости в плоскость земной греховности.

Солидный по количеству единиц хранения архив (свыше 900 различных письменных текстов) царя Алексея Михайловича позволяет привлечь для исследования новый материал, тем самым расширяя представления как об особенностях литературной деятельности монарха, так и о масштабах явлений и процессов переходного характера в русской литературе второй половины XVII века.

В обширной литературе, посвященной царю Алексею Михайловичу, уже отмечалось, что границы его литературной деятельности не были связаны каким-то одним жанром. Динамизм, как индивидуальная черта его характера, с одинаковой силой проявил себя и в писательском мастерстве монарха. Разножанровость и широкий охват тем в сочинениях – то, что характеризует Алексея Михайловича как книжника. От богословских по форме и содержанию произведений к сочинениям частного и бытового характера – таков творческий диапазон венценосного писателя. В этой связи представляется логичным обратиться к литературно-публицистическим, духовным сочинениям,

[57] Шунков, А. В. Указ. соч. См.: URL: http://cheloveknauka.com/literaturnoe-tvorchestvo-tsarya-alekseya-mihaylovicha#2

демонстрирующим различные стороны творчества Алексея Михайловича, раскрывающим его взгляды как автора на актуальные для эпохи вопросы.

Ранее нам приходилось в своих работах[58] освещать вопрос, затрагивающий литературное творчество русских монархов. Это одна из наиболее интересных литературных традиций в русской книжной культуре, охватывающая период с XVI по начало XX века. Как известно, первым книжником в монаршей литературной традиции можно назвать Ивана Грозного (1530–1584) – автора знаменитых посланий Курбскому, духовенству и другим адресатам, а также музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери[59], «Канона Ангелу Грозному…»[60]. Литературный талант Ивана IV был унаследован его сыном, царевичем Иваном (1554–1581), создателем одной из редакций жития Антония Сийского, написанного ранее в 1578 году иеромонахом Ионою. Как показало сравнительное исследование двух житий, проведенное Н. М. Тупиковым[61], царевич Иван к новой редакции жития самостоятельно пишет канон и предисловие, показывая глубокие познания в истории церковно-славянской литературы и проявляя себя в житии как мастер «плетения словес». Редакция жития, выполненная царевичем Иваном, как свидетельствуют архивные

---

[58] Шунков, А. В. Царь Алексей Михайлович как духовный писатель // Вестн. Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2008. № 4. С. 85–90; URL: http://vestnik.kemguki.ru/images/stories/vestnik-4-2008.pdf#8

[59] Серегина, Н. С. Отражение исторических событий в стихире о Темир-Аксаке и в других песнопениях Владимирской иконе и проблема авторства Ивана Грозного // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1985 года. М.: Наука, 1987. С. 148–164; Ее же. Стихиры Митрополиту Петру «творения» Ивана Грозного // Древнерусская певческая культура и книжность. Сб. науч. тр. Л., 1990. С. 69–80. Ее же. Песнопения Русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI–XIX веков. «Стихирарь месячный». СПб.: 1994; Рамазанова, Н. В. Тропарь и кондак на пренесение честных мощей князю Михаилу Черниговскому, «… творение Ивана, богомудрого Царя, Самодержца Российского» (к проблеме атрибуции) // Литература Древней Руси. Источниковедение: сб. науч. тр. Л.: Наука, 1988. С. 107–116.

[60] Лихачев, Д. С. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана Грозного) // Рукописное наследие древней Руси. По материалам Пушкинского Дома. Л., 1972. С. 10–27. То же в книге: Лихачев, Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 372–377. Однако в последнее время вопрос о Грозном как авторе «Канона…» поднят вновь. Так, В. В. Калугин в своей книге пишет следующее: «Трудно сказать, насколько Иван IV был самостоятелен как гимнограф, если ему приписывались даже немецкие стихи. Его авторство может быть окончательно доказано только после всестороннего изучения сохранившихся списков литургической поэзии» (Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М.:Яз. рус. культуры», 1998. С. 214.).

[61] Тупиков, Н. М. Литературная деятельность царевича Ивана Ивановича // Журн. М-ва народ. просвещения. Ч. 296. СПб., 1894. Декабрь. С. 358–374.

источники, приводимые в последних исследованиях[62], была высоко оценена высочайшим цензором – Иваном Грозным.

Традиция духовного творчества Великих князей Московских не была прервана в эпоху XVII века. Так, например, А. М. Зотов[63] констатировал следующий факт: в первой трети XVII столетия при патриаршей канцелярии Филарета начинается процесс составления крупного книжного памятника – «Новый летописец». Исследователь показал, что одной из тем этого летописного сочинения явилось осмысление и обоснование божественного происхождения царской власти и династических прав Романовых на престол. В своей работе А. М. Зотов не связал напрямую памятник с именем отца первого царя из рода Романовых, но и не отверг гипотезу, высказанную еще С. Ф. Платоновым[64], который в авторе «Нового Летописца» видел духовное лицо, приближенное к патриарху Филарету и царскому двору. К сожалению, в отечественной истории не известны факты написания царем Михаилом Федоровичем Романовым каких-либо собственных литературных сочинений. «Словарь книжников и книжности Древней Руси»[65] сообщает сведения о переписке Михаила Федоровича с его родителями, патриархом Филаретом и инокиней Марфой. Литературная природа этих посланий мало примечательна. Ценность их, по мнению Н. В. Понырко[66], представляется с позиции формирующегося придворного этикета, церемониала. На фоне своих царственных предшественников Алексей Михайлович (1629–1676, царь с 1645 года) выглядит яркой и заметной фигурой в литературном процессе XVII века.

Будучи человеком глубоко укорененным в традиции православия, в том числе и благодаря наставничеству своего духовника Стефана Вонифатьева,

---

[62] Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М.: Яз. рус. культуры, 1998. С. 124.

[63] Зотов, А. М. «Новый летописец» как памятник литературы первой трети XVII века: автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 1999.

[64] Платонов, С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1913.

[65] Понырко, Н. В. Михаил Федорович // Словарь книжников и книжности Древней Руси / под ред. Д. М. Буланина, А. А. Турилова. СПб.: Ин-т рус. лит. РАН (Пушкинский Дом), 1993. Вып. 3: XVII век. Ч. 2. С. 358–359.

[66] Там же. С. 358.

Алексей Михайлович видел в церковно-обрядовой, церемониальной сфере жизни человека одну из важных составляющих его бытия. Именно поэтому раннее творчество царя напрямую связано с идеологией грекофильства, проповедовавшейся Стефаном Вонифатьевым, считавшим необходимым реформирование всех сторон русской жизни, в первую очередь, исправление церковной книжности путем сличения ее с греческой.

Благодаря протопопу Стефану, начиная с 1648 года, в Москву стали активно приглашаться греки и киевляне «для обучения в школе и для производства переводов и исправлений»[67]. Именно под влиянием протопопа Стефана Вонифатьева «из Алексея Михайловича вышел особый любитель церковных служб и знаток церковного устава»[68], негативно относившийся к скоморошеству и видевший в нем поведение, далекое от христианского идеала.

В этой связи вполне закономерным и объяснимым представляется участие молодого царя в написании и редактировании церковных обрядовых текстов, предназначенных для богослужения. Данный факт свидетельствует как о характере участия Алексея Михайловича в книжной справе, начавшейся в Москве на рубеже 40–50-х годов XVII века, так и об особенностях авторского мировоззрения царя, воплощенного в тексте. К таковым образцам церковно-богослужебных текстов, созданных при непосредственном участии монарха и представляющих ранний его период творчества, относится «Сказание об Успении Богородицы»[69]. Новая редакция сказания, как предполагал первый издатель памятника, могла быть написана в начале 50-х годов XVII века под влиянием греко-киевской иконописной традиции. Именно такую гипотезу высказал С. А. Белокуров. Он поставил вопрос о взаимосвязи «Сказания…» и киевской иконы успения Богородицы, находящейся в Успенском соборе Московского Кремля, где отсутствует изображение жида Афония и других подробностей,

[67] Каптерев, Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1. С. 33.
[68] Там же. С. 35.
[69] Фрагменты данного параграфа представлены в статье: Шунков, А. В. «Сказание об Успении Богородицы» как литературный памятник переходного периода // Сибирский филологический журнал. 2014. № 2. С. 18–26.

известных по апокрифическим сказаниям апостола Иоанна и Иоанна Солунского. Киевское изображение успения Богородицы[70], как отмечал исследователь, весьма близко к редакции Алексея Михайловича, что позволило С. А. Белокурову высказать предположение о взаимосвязи древнего иконописного изображения сюжета с книжным, редактированным Алексеем Михайловичем.

Совсем недавно была предложена другая версия относительно времени и причин написания «Сказания…», согласно которой граница составления текста отодвигается к 1669 году. Эта точка зрения принадлежит П. В. Седову, который написание царем новой редакции «Сказания об Успении Богородицы» связал с событиями из личной жизни русского царя. Таким событием стала кончина первой супруги Алексея Михайловича Марьи Ильиничны Милославской 3 марта 1669 года. П. В. Седов пишет: «Алексей Михайлович был глубоко привязан к своей первой жене и искренне горевал о ее кончине 3 марта 1669 г. После смерти супруги он написал в ее память новую редакцию «Сказания об Успении Богородицы» и сочинил новый распев религиозного гимна»[71].

Новые дополнительные сведения, касающиеся истории написания книжного памятника, интересны в том плане, что, во-первых, позволяют говорить о личном участии царя как автора в работе по составлению новой редакции богослужебного текста. Во-вторых, демонстрируют еще одну немаловажную особенность, характеризующую литературную эпоху второй половины XVII века, – это изменяющееся мировоззрение русского книжника, для которого канонический текст становится основой его собственного литературного творчества, отправной точкой в создании авторского оригинального сочинения с вариативным сюжетом.

Если принять во внимание точку зрения П. В. Седова и с этой позиции посмотреть на историко-литературные обстоятельства создания «Сказания…», то

---

[70] Древнейший иконографический канон изображения события успения Богородицы не включал в себя упоминания о жиде Афонии. Как отмечал С. А. Белокуров, «признаваемая древнейшею на Руси икона успения Божией Матери (XI век), находящаяся в Киево-Печерской лавре, изображает это событие так же, как и древние иконы Восточной церкви (X–XII веков): при одре Богородицы находятся Иисус Христос с парящими ангелами и 12 апостолов, жида Афония нет». (Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902. С. 21). Введение в иконографическое изображение успения Богородицы Афония искусствоведы относят к XV–XVII векам., в Московской Руси XVII века Афоний на иконе присутствует постоянно. Однако уже в XVIII столетии на иконах Афоний не пишется.

[71] Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. М., 2008. С. 113.

обнаруживаются весьма интересные детали, на основе которых можно сделать предварительные выводы относительно того, как меняется, эволюционирует авторское мировоззрение в переходный период развития русской литературы. Алексей Михайлович как автор новой редакции «Сказания…» событие своей частной жизни рассматривает сквозь призму Священной истории. Кончина любимой супруги и вызванные этой семейной трагедией человеческие страдания вызывают ассоциации с событием, сакральным по своей природе, – Успением Богородицы.

В этой связи отметим, что на примере «Сказания об Успении Богородицы», при составлении и редактировании которого участвовал сам царь Алексей Михайлович, возможно увидеть зарождение в русской литературе переходного периода ее развития художественную особенность, которая себя проявит в эпоху Нового времени. Здесь мы имеем ввиду ту черту литературного творчества, когда автор позволяет себе в своем творчестве события личного характера изобразить в контексте высокого уровня, тем самым привнести в свое произведение онтологическое звучание.

Одним из примеров авторской интерпретации канонического богослужебного текста в литературе Нового времени может служить поэтический опыт Г. Р. Державина, позволивший ему написать оду «На смерть князя Мещерского», в основе которой также положен один из богослужебных текстов (чин погребения мирских человек). Этому вопросу мы специально посвятим отдельный раздел диссертации.

Как было сказано выше, текст новой редакции сказания был обнаружен в архиве царя и впервые опубликован С. А. Белокуровым[72] в начале XX века и в дальнейшем больше не привлекался для исследования как литературный памятник, демонстрирующий писательский талант Алексея Михайловича. «Сказание…» не было представлено и в известных академических изданиях

[72] Сказание об успении пресв. Богородицы, правленое царем Алексеем Михайловичем // Российский Государственный архив древних актов. Ф. 27. Оп. 1. № 527. См.: Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902. С. 24–28.

сочинений царя, предпринимавшихся в XX столетии[73]. Поэтому можно сказать, что оно неизвестно, несмотря на упоминание во всех био-библиографических справочниках. «Сказание…» ни разу не было включено в перечень исследуемых текстов, непосредственно имеющих отношение к литературной деятельности царя Алексея Михайловича. Как писал сам С. А. Белокуров, «найденное мною сказание об успении пресв. Богородицы весьма любопытно и как новое литературное произведение, указывающее на процесс своего составления, и как произведение царя Алексея, дающее ему право на звание духовного писателя»[74].

Подготовив текст «Сказания…» к публикации, С. А. Белокуров сделал качественное текстологическое исследование памятника, установив его источники, определив характер и степень использования ранее известных византийских канонических образцов «Сказания об успении Богородицы» ап. Иоанна Богослова и Иоанна архиепископа Солунского. На основе детального сравнительного изучения трех вариантов сказания С. А. Белокуров определил точное количество строк, используемое составителем царской редакции сказания, указал общее число заимствований из ранее созданных канонических текстов. Так, по подсчетам С. А. Белокурова, «начало и конец взяты из слова Иоанна архиеп. Солунского, а середина из слова ап. Иоанна Богослова, причем 6/7 этих слов выкинуто (из 660 строк, заключающихся в обоих словах, выкинуто около 560 строк и оставлено только около 100 строк, немного даже менее)»[75]. При этом в уже составленную писцом новую редакцию сказания Алексей Михайлович вносит заключительные поправки. В каждом столбце сказания (всего их 8), состоящем из 25 строк, царь редактирует от 2 до 12 строк, включая отдельные слова или фразы. Приведенные «статистические» расчеты показательны в том плане, что дают возможность воссоздать как процесс редактирования, так и технологию работы над новым вариантом известного текста, помогают проникнуть в авторский замысел, воплощенный в словесной иконе успения Богородицы. Публикуя текст

[73] Мы имеем ввиду Памятники литературы Древней Руси. М.: Художеств. лит., 1976–1994. Т. 1–12.
[74] Белокуров, С. А. Указ. соч. С. 23.
[75] Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902. С. 9.

«Сказания…», С. А. Белокуров все внесенные царем поправки сохраняет в печатном варианте, обозначая их скобками и дополнительно делая комментарий к каждой. Таким образом, внимательно изучив состав новой редакции, С. А. Белокуров сделал вывод в пользу того, что «Сказание...» дошло до нас в полном своем объеме и являет собой «особое литературное произведение, <…> особую редакцию сказания об успении пресв. Богородицы»[76]. Перед нами «Сказание...», которое свидетельствует о круге чтения царя и одновременно отражает его литературные вкусы и предпочтения, судя по правкам, внесенным рукою монарха в редакцию сказания, составленную писцом.

Отметим также, что источниковедческое исследование «Сказания...» Алексея Михайловича, выполненное С. А. Белокуровым, позволяет сделать заключение еще одного порядка. Приведенные ученым точные текстологические данные наглядно демонстрируют литературную технику средневекового книжника, применяемую им во время написания произведения. Алексей Михайлович в этом вопросе проявляет себя как традиционалист, использующий в своей работе приемы, характерные для Средневековья и свойственные, к примеру, сочинениям Ивана Грозного[77]. Самое интересное в этой ситуации то, что подобные приемы получат свое активное распространение и в творчестве представителей силлабической поэзии – литературном явлении, представляющем уже новые горизонты русской культуры переходного периода.

Л. И. Сазонова указывает, что «поэт использует прием составления новых стихов из ранее написанных текстов: стихотворение разбивается на несколько частей, каждая из которых после дописывания некоторых строк превращается в отдельное самостоятельное произведение»[78]. Наглядным примером этого являются отдельные фрагменты «Сказания…». Так, молитва Богородицы в Сказании в редакции Алексея Михайловича составлена из частей, взятых из сказаний Иоанна Богослова и Иоанна Солунского, на что обратил внимание С. А.

---

[76] Там же. С. 14–16.

[77] Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М.: Языки русской культуры, 1998. 416 с.

[78] Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – XVIII век). М., 1991. С. 67.

Белокуров: «Заимствование из слова Иоанна архиеп. Солунского оканчивается на предсмертной речи Богородицы, после чего автор обращается к слову Иоанна Богослова и из середины его берет молитву Богородицы, присоединяет ее к предыдущей и из обеих этих молитв делает одну»[79]. Таким образом, литературная техника Алексея Михайловича может выглядеть сколь традиционной с позиции Средневековья, столь и эталонной для писателей и книжников последующей литературной эпохи барокко[80].

«Сказание…» царя Алексея Михайловича в общих своих чертах выдержано в традиции христианской книжности. И это неслучайно. Составитель из огромного количества имеющихся вариантов[81] сказаний об успении Богородицы выбирает два наиболее ранних, оцениваемых как эталонные для всех последующих. Данный факт показателен, поскольку демонстрирует такую черту царского литературного творчества раннего периода, как традиционность авторского мышления, ориентированность на канонические образцы, следование им. В итоге создается произведение, родственное с вариантом иконописного изображения сюжета, что опять-таки не противоречит как законам Средневековья, так и барокко, для которого также «тесная связь литературного творчества с изобразительным искусством вполне очевидна, и это позволяет перполагать тесную соотнесенность словесного и изобразительного искусства по существу»[82].

Алексей Михайлович, создавая свою редакцию «Сказания об успении Богородицы», стремился к сохранению традиции канонических образцов и в то же время старался достичь того эффекта, когда видимая зависимость его

---

[79] Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902. С. 9–10.

[80] Подробно признаки произведения, принадлежащего барочной традиции, описаны в одной из работ А. В. Михайлова. См.: Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 326–392.

[81] Помимо приведенных вариантов сказаний, к числу древних относятся праздничное слово на Успение Иерусалимского патриарха Модеста, Слова святых Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и три Слова святого Иоанна Дамаскина, все по времени написания датируются VIII веком. Подробно вопрос о происхождении сюжета успения Богородицы в мировой культуре изложен в работе А. И. Кирпичникова. (Кирпичников, А. И. Успение Богородицы в легенде и в искусстве // Тр. VI Археологического съезда в Одессе. 1884. Одесса, 1888. Т. 2. С. 191–235).

[82] Михайлов, А. В. Указ соч. С. 329.

сочинения от них будет сведена к минимуму[83]. В результате всех предпринятых редакторских правок было составлено оригинальное произведение, отличающееся от всех типов сказаний об успении Богородицы.

В новой редакции значительно сокращен богословский материал. Автором исключены некоторые эпизоды, известные по другим вариантам сказания. В результате на первый план вынесены само событие успения и его герои-участники. Царская редакция, обрамленная фрагментами, взятыми из Сказания Иоанна Солунского, приобрела в результате всех правок лаконичность и особый лирический оттенок. В ней составитель отдал предпочтение динамике повествования, сделал акцент на изображении эмоционального состояния главной героини – Богородицы.

Пять сюжетных эпизодов «Сказания…», как клеймы, обрамляющие основной иконописный сюжет, последовательно изображают известные канонические события, фокусируя внимание на сюжетной линии Богоматери – Христа. Составитель «Сказания…» последователен и в использовании традиционного книжного приема в построении композиции своего произведения – рамочного оформления авторского текста заимствованными цитатами из других книжных источников.

Данный риторический прием, широко используемый в средневековой литературе, затем будет унаследован представителями эпохи барокко – Симеоном Полоцким, Сильвестром Медведевым, в построении хвалебных виршей. Так, например, Сильвестр Медведев прибегает к построению рамочной композиции в «Сказании о страстех Господа Бога … Иисуса Христа …»[84], используя в обрамлении своего стихотворного сочинения вирши Симеона Полоцкого[85]. В конкретном рассматриваемом случае можно говорить о характерной для барочной

---

[83] По замечанию С. А. Белокурова, «царь Алексей особенно, кажется, старался о том, чтобы удалить из сказания все намеки на процесс составления его, на то, что, например, что приводимая в сказании речь или молитва составлена из нескольких речей или молитв». (Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902. С. 19–20).

[84] Сильвестр Медведев. Сказание о страстех Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа… // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. III. М.: Художеств. лит., 1994. С. 221–241.

[85] Смысл данного приема, получивший широкое распространение в творчестве поэтов-силлабиков, объяснен Л. И. Сазоновой. (Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII в.). М.: Наука, 1991. С. 72–73).

традиции особенности, какой является эмблематичность, основанной на «словесно-графическом единстве внутри осуществляющей творчество мысли»[86]. Как известно, в будущем эмблема станет одним из распространенных тропов барочного искусства (в том числе и поэзии), с помощью которого автор достигал визуализации[87].

Таким образом, можно говорить о преемственности литературных техник представителей разных периодов. Многое, что при первом взгляде кажется заимствованным из европейской культуры, на самом деле имеет корни в национальной традиции. Переходность культуры в связи с этим должна рассматриваться не только как копирование традиций европейской литературы, но и как унаследование национальной литературой опыта предшествующего поколения книжников Древней Руси, осмысление его уже на новом этапе развития литературы в изменяющихся историко-культурных обстоятельствах, а соответственно и изменение привычных форм, наполнение их новым содержанием.

Первый эпизод «Сказания…» изображает встречу Богоматери с архангелом Гавриилом во время Ее молитвы. Архангел Гавриил (в «Сказании…» – «великиі ангелъ»[88]) возвещает час успения Марии («по трехъ бо днех ізыдеши от тhла»), сообщает Ей о готовящемся явлении ангелов в момент Ее смертного часа («егда бо посланъ буду к Тебh, не аз един приіду, но и вси вои ангелъ пріидутъ и воспоют пред Тобою») и вручает пальмовую ветвь («вравие») как символ райского дерева, будущей вечной жизни Богородицы, пребывания Ее в раю («восставши приіми си вравие, еже ми дастъ насадивый рай і даждь е апостолом, да держащее е поютъ пред Тобою»).

---

[86] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 358.

[87] Насколько эмблема станет популярной в русской культуре и займет свое прочное место в искусстве, включая и словесное, может свидетельствовать сборник «Символы и эмблемата», изданный по указу Петра I в Амстердаме, в типографии Генриха Ветстейна, в 1705 году. Сборник, энциклопедический по своему характеру, содержал в себе описание 840 эмблем.

[88] Здесь и далее цитаты приведены по изданию Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902.

Эпизод, открывающий «Сказание…», лаконичен. В нем отсутствуют детали, хорошо известные по другим каноническим вариантам текста: посещение Марией вместе с архангелом Гавриилом Елеонской горы, поклонение Ей деревьев и др. Предположим, что составитель и не имел цели подробно, в деталях пересказывать известный сюжет. Сохраняя фабулу, он минимизирует использование привычных словесных оборотов, акцентирует внимание на диалоге героев. Диалогичность как прием, использованный в первом сюжетном эпизоде «Сказания…», затем последовательно будет себя проявлять во всех остальных. С помощью такого приема составителю удалось привнести особую лиричность в сцены диалога Богородицы с Христом, апостолами, произнесения двух молитвословий, передающих эмоциональное состояние героини. Это Ее первая молитва:

> Тогда помолися глаголющи: услыша, господи, молитву Матере Своея, посли на Мя Твое благословение, да ни една ж власть пріидетъ на Мя в часъ онъ; но соверши реченное Тобою, егда плакахся пред Тобою: Господи! Господи! Что сотворю, да мимо иду благословити грядущая по душу Мою.

Молитва Богородицы, полная экспрессии, дает возможность увидеть внутренний мир героини: материнскую любовь к Сыну и одновременно покорность своей судьбе.

Вторая молитва, приводимая в третьем эпизоде «Сказания…», несмотря на краткость в передаче, через описание жестов Богородицы в момент произнесения молитвы усиливает драматизм ожидания события («воздhвши руцh свои, моляшеся, глаголющее к Богу»). Составитель «Сказания…» в продолжение изображения событий третьего эпизода сохраняет каноническое иконописное расположение апостолов вокруг одра Богоматери. Здесь уместно напомнить, что для древнерусской культуры было свойственно использование общих приемов изображения события, героя как в книжном тексте, так и на иконе. Об этом факте в свое время очень подробно было сказано в исследованиях

князя Е. Н. Трубецкого[89], академика Д. С. Лихачева[90], В. В. Лепахина[91] и др. Так, например, Д. С. Лихачев пишет, что «сюжеты изобразительного искусства были по преимуществу литературными. <…> Трудно установить во всех случаях первооснову: слово ли предшествует изображению или изображение слову. Во всяком случае, и последнее нередко»[92]. В. В. Лепахин отмечает: «В содержании и композиции иконы всегда лежит слово, т.е. какой-либо священный текст, который составляет неизменную основу сюжета любой иконы»[93]. Сцена, изображающая расположение апостолов Петра, Иоанна и других рядом с Богородицей, как известно, имеет символическое толкование в иконописной традиции, которая четко соблюдается в редакции Алексея Михайловича.

Примечательно, что «царская» редакция сказания точно фиксирует местоположение апостолов Петра («chдяше возглавiи Ея»), Иоанна («у ног Ея») и других («окрест одра Ея»). Подобная детализация не случайна, она повторяет иконописную традицию, имеющую сложное литургическое толкование и символизирующую попрание смерти и воскрешение для будущей вечной жизни. Тем самым литературный текст Успения и иконописный сюжет дополняют друг друга. Максимальное совпадение книжной и иконографичной традиций наблюдаем в заключительном эпизоде, являющемся кульминацией. Именно в завершающем «Сказание…» фрагменте выражена христианская идея символического значения Успения – торжества вечной жизни. Раскрыта эта идея в молитве Христа:

> Господь же рече к Ней: веселится и радуется сердце Твое, всяка бо благодать і всяк Ти дар данъ бысть Отцемъ небесным і Мною і святым Духомъ; і всяка душа, іже тя призываетъ, не імать

[89] Трубецкой, Е. Н. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе. М., 1991.
[90] Лихачев, Д. С. Древнерусская литература в ее отношениях к изобразительным искусствам // Поэтика древнерусской литературы // Избр. раб: в 3 т. Л., 1987. Т. 1.
[91] Лепахин, В. В. Икона и иконичность. СПб., 2002.
[92] Лихачев, Д. С. Древнерусская литература в ее отношениях к изобразительным искусствам // Поэтика древнерусской литературы // Избр. раб: в 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 280, 282.
[93] Лепахин, В. В. Икона и слово: виды, уровни и формы взаимосвязи // «Дикое поле» 2005. № 7. URL:http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=303 (дата обращения:20.02.2013).

> постыдhтися і всякъ кто Тебе призываетъ на молитву, но да обрящет милость і уthху и заступление и дерзновеніе в нынешний вhкъ и в будущиі пред Отцем Моим небеснымъ.

Описанные затем события в точности следуют композиции иконы. Составитель «царской» редакции Сказания переводит событийный ряд из мира дольнего в мир горний, сменяя земную скорбь на небесную радость, сопровождающую вознесение Богородицы:

> І тогда лице Матере Господни просвhтися паче солнца и возведшися своею рукою благослови когождо апостола і воздахом славу Богови; простре же руцh свои Господь і Богъ и приятъ святую і непорочную душу Ея. Восхождением святая ея душа исполнися воняя благия и неизреченно на место то и глас с небес глаголя: блаженна Ты в женахъ.

Таким образом, составителю «Сказания…» и ее высочайшему редактору удалось сохранить все основные моменты канонических вариантов сказания, сохранить требования жанра, главные образы-символы иконописной традиции, равно как и особое лирическое мироощущение, связанное с переживанием событий земной жизни Богородицы. В этом отношении редакция сказания Алексея Михайловича органично дополняет ранее известные варианты сюжета Успения Богородицы в литературной традиции. Но в то же время есть, на первый взгляд, незаметные черты, и именно они придают «Сказанию…» уже определенное литературное своеобразие. Речь идет об особой драматизации, в первую очередь проявляющей себя в динамике развертывания событий.

Выше уже говорилось о том, что составитель и редактор «Сказания…» существенно сократили исходные канонические тексты, послужившие основой для новой редакции. В результате новый текст получился лаконичным и в то же время динамичным, «живым», сосредоточивающим внимание на событии и его героях. Развитие и нарастание конфликта в «Сказании…» идет с использованием приемов, которые позже будут применимы в театрализованных представлениях.

Предположим, что именно этого эффекта и добивался Алексей Михайлович, редактируя подготовленный неизвестным писцом вариант сказания. В качестве примера приведем один из таких приемов – «литературный жест» героя, с помощью которого раскрываются внутреннее состояние, эмоции и переживания персонажей.

Все события, разворачивающиеся в «Сказании…», показаны через призму чувственного отношения к ним героев. Несмотря на то, что автор остается в большей степени на позиции абстрактного изображения героя, тем не менее, в «Сказании…» одним из основных двигателей сюжета является эмоциональность. А финальная реплика Христа, произнесенная в Сказании, и последовавший за ней комментарий («Тогда рече Iсусъ к тhлу: не оставлю тебе сокровище, печатлhнно пребывшее, дондеже взыщется. I се глаголя Спасъ невидим бысть») могут быть названы прототипом приема, обладающего признаками театрализации.

Рукописный вариант «Сказания…» сохранил правки, сделанные Алексеем Михайловичем, затрагивающие не только текстовую редактуру памятника, но и дополнения музыкально-певческого характера. В примечаниях[94] к опубликованному тексту С. А. Белокуров указывает на имеющиеся в рукописи крюковые ноты и стихиры (так называемые «Марьины слезы»[95]), которые могут быть рассмотрены как необходимое дополнение, внесенное Алексеем Михайловичем, к новой редакции «Сказания об успении Богородицы».

Наличие нотных знаков в рукописи «Сказания…» может являться свидетельством того, что сам Алексей Михайлович видел этот текст как необходимую часть церковной службы. Новая редакция сказания составлялась и правилась с той целью, чтобы максимально соответствовать каноническим требованиям и быть используемой во время богослужения наряду с другими богослужебными сочинениями, имеющими прямое отношение к Алексею

[94] Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века. М., 1902. С. 26.
[95] РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 337. Л. 12, 13.

Михайловичу: его авторский распев «Достойно есть»[96], песнопение «Ис Тебе, Пресвятая Богородице Дево»[97], ряд других сочинений, которые не сохранились, но упоминаются в описи библиотеки Алексея Михайловича 1682 года. Это с одной стороны. А с другой – оригинальность и непохожесть царской редакции сказания с позиции авторских приемов, примененных в произведении, уже предваряет те открытия в литературе XVII века, которые традиционно связывают с появлением барокко.

В «Сказании…» происходит сращение, синтез эпического, лирического и драматургического компонентов, определяющих его уже как, действительно, абсолютно новое произведение, не похожее на ранее созданные варианты. Алексей Михайлович как редактор текста первым из писателей XVII века показал драматизм известного евангельского сюжета, устранив «лишние» детали и тем самым акцентировав внимание на линии Матери – Сына. Этой своей особенностью сказание об Успении Богородицы в редакции Алексея Михайловича уже вписывается в традицию литературы переходного времени, открывшей новые художественные формы для подачи канонического материала – драматургию. Пройдет три десятка лет с момента составления «царской» редакции сказания, и св. Димитрий Ростовский обратится к данному богородичному сюжету для своей пьесы – «Успенская драма. (Комедия на Успение Богородицы)»[98] (80-е годы XVII века).

Следует назвать и другую особенность, характерную для книжной традиции XVII века и присутствующую в «Сказании…», – это «стремление … построить текст в соответствии с требованиями литературного этикета – “по ряду” и “по чину”», неизменно приводящее «к созданию рационалистически обдуманной, соразмерной и симметричной сюжетной схемы, потребность же “оживить” повествование ведет к использованию прямой речи героев, включению в текст их

---

[96] ГИМ. Син. певч. № 52. Л. 185; Протопопов, В. В. Четырехголосная хоровая композиция царя Алексея Михайловича // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1991 / под ред. Д. С. Лихачева. М.: Наука, 1997. С. 107–110.

[97] Былинин, В. К., Посощенко, А.Л. Царь Алексей Михайлович как мастер распева // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1987 / под ред. Д. С. Лихачева. М.: Наука, 1988. С. 131–137.

[98] Русская драматургия последней четверти XVII – начала XVIII века. М., 1972. С. 172–219, 329–332.

молитв и размышлений, <…> играющих роль эмоциональной “подсветки” или логического аргумента»[99]. В результате отмеченных Н. С. Демковой нюансов в произведении XVII века происходит усиление риторического, декларативного начала, приводящего к драматизации самого текста, что, в свою очередь, является «одним из показателей внутренней подготовленности русской массовой книжной культуры XVII века к восприятию риторических – рационалистических – конструкций барокко»[100]. Такую особенность можно наблюдать в рассматриваемом «Сказании…». Именно по этой причине оно вполне органично для переходной эпохи русской литературы.

Сюжетообразующий для рассмотренного выше «Сказания…», редактировавшегося Алексеем Михайловичем, мотив успения (сна) можно назвать одним из основных для литературного творчества монарха. Он присутствует и в ряде других его сочинений. «Сказание об Успении Богородицы», правленое монархом, продемонстрировало как знание им канона богослужебного текста, владение литературной техникой составления «высокого» книжного сочинения, его начитанность, так и творческий потенциал Алексея Михайловича, способного на привнесение в богослужебный текст определенного рода правок, отражающих индивидуальное видение автора.

1.3. Беллетризация обрядового сюжета в повествовательной традиции переходного периода («Повесть о преставлении патриарха Иосифа», послание Алексея Михайловича князю Н. И. Одоевскому 1653 года) [101]

Анализ «Сказания успения Богородицы» в редакции царя Алексея Михайловича обнаружил неустойчивость границ текста, предназначавшегося для

---

[99] Демкова, Н. С. Русская проза XVII века в контексте традиции (Источники, поэтика, интерпретации): дис. в форме научного доклада на соискание ученой степени д-ра филол. наук. СПб., 1997. С. 19.

[100] Демкова, Н. С. Указ. соч. С. 20.

[101] Некторы фрагменты данного параграфа представлены в следующей статье: Шунков, А. В. Смерть «чинная» и «бесчинная» в эпистолярной традиции переходного времени (на примере царя Алексея Михайловича) // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1. С. 215–218; URL: http://cyberleninka.ru/article/n/smert-chinnaya-i-beschinnaya-v-epistolyarnoy-traditsii-perehodnogo-vremeni-na-primere-poslaniy-tsarya-alekseya-mihaylovicha

использования его в богослужебной практике. Авторская правка «Сказания…», внесенная монархом, с одной стороны, преследовала цель создания такого варианта произведения, который мог бы решить практическую задачу – быть использованным при совершении богослужения. С другой – представление высочайшим редактором «Сказания…» того, каким должен быть окончательный вариант текста, не могло не привести к появлению художественных деталей, которые раскрывают индивидуально-авторское, личностное видение решаемой проблемы. Проводя редакторскую правку канонического текста, Алексей Михайлович не мог в полной мере раскрыть и показать свою субъективную авторскую позицию. Хотя в ряде фрагментов «Сказания…», как это было показано в процессе анализа текста, стремление выразить свое видение и понимание события, тем не менее, обозначено. Именно по этой причине «Сказание об Успении Богородицы» как нельзя точно демонстрирует пример переходного текста XVII века: богослужебный по своей практической предназначенности, а соответственно, требующий от составителя соблюдения определенного канона, но в то же время репрезентирующий личность редактора и выражающий его литературные предпочтения.

Знание жанровых требований средневековой книжности, прекрасное владение литературной техникой составления «высокого» книжного текста позволило Алексею Михайловичу как писателю в полной мере применить их в другой сфере своего писательского творчества – дружеском послании, соединившем черты документальной книжности и беллетристики, ярко заявившем о себе в литературном процессе переходного периода.

Один из таких авторских текстов, принадлежащий перу монарха и совпадающий по времени написания со «Сказанием об успении Богородицы» – широко известный «Статейный список 1652 года» («Повесть о преставлении патриарха Иосифа»), ранее неоднократно становившийся предметом специального изучения. Послание, составленное по случаю смерти патриарха Иосифа, как уже установлено, по своим формальным признакам вписывается в традицию особой жанровой формы древнерусской литературы – «повести о

преставлении»[102]. Исследователи отмечают, что данный жанр был близок к житию. Разница заключалась лишь в том, что в «повести о преставлении» изображалась кончина не святого, а иерарха церкви или князя, не отличившегося какими-либо великими подвигами во славу веры и Церкви. Однако это обстоятельство не означало, что автор был свободен в использовании книжных приемов и средств, с помощью которых должно было изображаться событие смерти героя. Положение и статус героя требовали соблюдения соответствующего этикета, выражавшегося в создании в произведении идеального портрета христианина. Таковыми, например, предстают Василий III в «Повести о смерти Василия III»[103], Скопин-Шуйский в «Повести о преставлении и погребении М. В. Скопина-Шуйского»[104].

«Повесть о преставлении патриарха Иосифа» представляет новую модель построения текста, в сюжетной основе которого лежит событие, традиционное для духовной книжности Древней Руси и требовавшее соблюдения канонических правил при его описании. Однако при воссоздании в послании Никону события кончины патриарха, «обязанного умирать по законам, предписанным ему канонам»[105], Алексей Михайлович, имевший «достаточно ясное представление о том, как подобает писать о смерти иерарха»[106], составляет текст, не вписывающийся в средневековую книжную традицию.

От эпизода к эпизоду, становится заметно, что каждое воссоздаваемое действие, совершаемое патриархом Иосифом как накануне своей кончины, так и в последние моменты его жизни, изобличает греховность и несоответствие титулу святейшего патриарха. Описываемая в «Повести…» ситуация болезни и смерти Иосифа диссонирует со временем Великой Седмицы (Страстной недели) и

---

[102] Кротов, М. Г. Послание царя Алексея Михайловича о смерти патриарха Никона. (Этюд из исторической психологии) // Герменевтика древнерусской литературы XVI – начала XVIII века. – М.: Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 1989. С. 149.

[103] Повесть о болезни и смерти Василия III // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985. С. 18–47, 569–576 (Издание текста, перевод, статья и коммент. Н. С. Демковой).

[104] Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 58–73, 553–559 (Издание текста, перевод, статья и коммент. Н. С. Демковой).

[105] Душечкина, Е. В. Статейный список 1652 г. как литературный памятник // Уч. зап. Тартус. ун-та / под ред. З. Г. Минц. Тарту, 1975. Вып. 369. С. 17.

[106] Там же. С. 10.

последующей Пасхи, тем самым уже исключая патриарха из времени и пространства и намекая на его тяготение больше к земному миру, нежели к небесной святости.

В качестве дополнения к тем наблюдениям, которые уже были ранее высказаны в исследованиях, посвященных изучению художественного мира «Повести …» (Е. В. Душечкина[107], М. Г. Кротов[108], А. В. Шунков[109]), приведем еще некоторые, не отмеченные ранее, но позволяющие рассматривать сочинение царя середины XVII века как образец текста переходной эпохи. Так, например, отдельные сюжетные эпизоды содержат элементы, привносящие в эпическое по своей природе произведение драматическое начало, которые проявляются в описании событий, протекающих с точностью по времени (дни и часы), как акты в пьесе. В результате сюжет повести обретает особую динамичность, убыстряющую развитие событий. Доказательством может служить фрагмент, изображающий сцену агонии патриарха Иосифа, сопровождающуюся описанием предсмертного видения умирающего. Приведем его полностью:

> И как прочел Казанской и приложил его, так послth евангелія того почалъ гораздо быстро смотрhть на лhвую сторону ко властемъ, гдh масло то освящают, да повелъ очми тhми вверхъ да почалъ съ краю того жаться къ стhнh; и меня прости, владыко святый, кой часъ почалъ пристально и быстро смотрhть, и я узналъ, что онъ видhніе видитъ; … и молвилъ я отцу его духовному: “Видитъ отецъ нашъ нhкакое видhніе”. И онъ молвилъ: “Видитъ де нhчто”. А смотрелъ с четверть часа создомъ, а смотрит все въ потолокъ знатно то что видитъ, и почалъ руками закрываться и жаться къ стhнh то и въ уголъ, как

[107] Там же. С. 3–18.

[108] Кротов, М. Г. Послание царя Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа. (Этюд из исторической психологии) // Герменевтика древнерусской литературы XVI – начала XVIII века. М.: Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 1989. С. 140–178.

[109] Шунков, А. В. Повесть о преставлении патриарха Иосифа» царя Алексея Михайловича как литературный памятник. Стиль повести // Традиция и литературный процесс / А. Б. Соктоев (отв. ред.). Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН, 1999. С. 176–185.

> стhну ту не выломитъ, и руки те вырывалъ у протопопа, да почалъ закрываться, да закричалъ великимъ гласомъ, а невhдомо что, да почалъ хорониться и жаться добрh въ уголъ, походило добрh на то, какъ кто кого бьетъ, а кого бьютъ, так тотъ закрывается, так то над нимъ святителемъ было. Да затрясся весь въ ту пору и плакать почалъ и кричать такъ же, а смотритъ вверхъ. Да было того съ полчетверти часа (С. 165–166)[110].

Непродолжительная по времени сцена изображена царем как стремительно развивающееся событие человеческой драмы, передающее эмоциональное состояние главного героя. Царь, описывая последние минуты жизни патриарха, с помощью глагольной лексики показывает его душевные муки, выражаемые через яркую палитру жестов. Однако эмоциональное буйство героя, проявляемое им в состоянии агонии, дискредитирует его, демонстрирует «бесчинное» поведение, выходящее за рамки «урядства» и «строя», и тем самым подтверждает неблаговидность земной жизни патриарха.

Не осуждая напрямую патриарха в его грехах, подтверждаемых событиями, происходящими на смертном одре на глазах всех присутствующих, Алексей Михайлович дает понять, что патриарх далек от идеала христианина. Приближающаяся смерть обнажает его душу, снимает с его лица маску и демонстрирует гримасы страха. Предсмертное видение патриарха Алексей Михайлович трактует в традиции библейской символики, которая и убеждает в обоснованности предположений о неугодности страдающего патриарха Иосифа Богу, по воле которого свершаются рождение и смерть.

Ранее нами уже отмечалось[111], что Алексей Михайлович прибегает здесь к использованию устойчивого христианского символа «мир как книга», которая

---

[110] Здесь и далее текст с указанием страниц цитируется по изданию: Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 165–166.

[111] Шунков, А. В. Смерть «чинная» и «бесчинная» в эпистолярной традиции переходного времени (На примере посланий царя Алексея Михайловича) // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1. С. 215–218; URL: http://cyberleninka.ru/article/n/smert-chinnaya-i-beschinnaya-v-epistolyarnoy-traditsii-perehodnogo-vremeni-na-primere-poslaniy-tsarya-alekseya-mihaylovicha

содержит описания всех земных поступков человека, занесенных в нее невидимой рукою, и которая полностью раскрывается перед ним, страница за страницей, перед уходом в иной мир[112]. «Описание Алексеем Михайловичем предсмертного состояния париарха и припоминание по этому поводу книжного толкования значения агонии представляется значимыми деталями в художественном повествовании памятника. Дело в том, что в эпоху барокко одной из ведущих, популярных тем в литературе, поэзии станет тема “мир – книга”. <…> авторские размышления царя в послании в связи со смертью Иосифа находятся в русле общеевропейской барочной традиции, на русской почве является ее истоком»[113], – было отмечено нами в издании, посвященном исследованию эпистолярного творчества Алексея Михайловича.

Благие поступки, совершенные человеком и зафиксированные в этой «книге жизни», в предсмертный момент не могут вызывать страха и ужаса. Человек, готовый переступить черту жизни, прочитывая эти страницы, пребывает в состоянии покоя и умиротворения, на его лице запечатлена улыбка как символ праведной жизни. Дурные и неблаговидные поступки порождают совершенно противоположные эмоции, заставляя человека на одре метаться, искать возможности избежать тех страшных мук, на которые он обрекается в будущем. Именно в этой плоскости и трактуется Алексеем Михайловичем состояние умирающего патриарха, прочитывающего свою «книгу жизни» как свидетельство его поступков:

> Не упомню, гдѣ я читалъ: передъ разлученіемъ души отъ тѣла видитъ человѣкъ вся своя добрые и злые дѣла (С. 165).

Наиболее ярко приемы беллетризации повествования, использованные Алексеем Михайловичем и привносящие особый колорит, проявили себя в другом

---

[112] Тема «мир как книга» детально исследована на примере памятников силлабической поэзии русского барокко А. М. Панченко. См.: Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII веков / вступ. ст., подготовка текстов и прим. А. М. Панченко; общ. ред. В. П. Адриановой-Перетц. Л.: Совет. писатель, 1970. («Б-ка поэта», больш. сер); Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.: Наука, 1973.

[113] Шунков, А. В. Жанр послания в русской литературе XVII века. (На материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). Кемерово: КемГУКИ, 2006. С. 58.

сюжетном эпизоде «Статейного списка 1652 года» – описании собственного смятения и испуга священника, читавшего над усопшим патриархом Псалтирь, в момент свидетельства ими «античудес», творимых усопшим. Первое, на что обращает внимание Алексей Михайлович в своем описании покойного патриарха, это его «псевдосвятость»:

> лежить как есть жив», «а он свhт как есть живъ лежитъ, и вhры неймется, что он государь отецъ нашъ преставился, таковъ хорошъ лежитъ во гробh, толко не говоритъ» (С. 168).

Подобный прием, как известно, является обязательным для агиографического жанра, подтверждающим и доказывающим святость усопшего. Однако далее привычное ожидание появления других доказательств святости умершего сменяется противоречащими идеалу святого поступками, развенчивающими представления о богоизбранности патриарха. Пребывание с телом усопшего наводит страх на священника, который он пытается заглушить в себе громким чтением молитв:

> А над нимъ одинъ священникъ говоритъ псалтырь, и тотъ говоритъ во всю голову кричитъ, а двhри всh отворилъ (С. 169).

Объяснение своего поведения («не по подобію»), приводимое священником, заключается в увиденном им ужасном «преображении» патриарха:

> Вдругъ взнесло животъ у него государя и лицо въ тужъ пору почало пухнуть: то-то де меня и страхъ взялъ, я де чаялъ ожилъ, для того де я и двери отворилъ, хотhлъ бежать, … страхъ такой нашелъ, едва съ ногъ не свалился»» (С. 169–170).

Испытываемый священником страх передается и самому царю, который также через силу пытается побороть его:«»

> А се и при мнh грыжа то ходитъ прытко добрh въ животъ, какъ есть у живого, да и мнh пріиде помышленіе такое отъ врага: побhги де ты вонъ,

> тотчасъ де тебя вскоча удавитъ; а насъ только я да священникъ тотъ, который псалтырь говоритъ (С. 170).

Приведенные примеры в своей совокупности создают целостную картину «лжесвятости» патриарха. Алексей Михайлович как автор текста, рисуя картины ужаса, не мог не знать, что они противоречат книжным канонам, нарушают жанровую традицию. Подобный ход совершен не по незнанию правил (в чем нельзя упрекнуть Алексея Михайловича, прекрасно знавшего церковные обряды), а оправдан самим авторским замыслом: проиллюстрировать неугодность патриарха, наказанного Богом, но сделать это не прямо, вынося ему приговор, а фигурально.

Здесь стоит вспомнить другой памятник русской литературы начала XVII века, упоминавшийся выше, – «Повесть о преставлении и погребении М. В. Скопина-Шуйского». Сочинение, созданное четырьмя десятилетиями ранее[114] «Повести о преставлении патриарха Иосифа», в не менее колоритных сценах представляет муки и смерть главного героя, отравленного на пиру: «И как входит он в свои палаты княжеские, увидела его мать и взглянула ему в ясные очи. А очи у него сильно помутились, а лицо у него страшно кровью залито, а волосы у него на голове дыбом стоят и шевелятся»[115]. Последующие сюжетные эпизоды повести только усиливают эмоциональность и экспрессию, воплощаемые в многочисленных плачах, рыданиях, воплях, объединяющих в общем порыве весь народ Москвы.

> От крика же народного и громких причитаний надгробное пение заглушалось и не слышны были из-за них голоса поющих. <…> плакали и богатые, и убогие, и нищие, хромые и слепые, а безногие ползали, бились головами о землю, плакали и жалобно причитали. <…> И не слышно было голосов поющих, а священники осветили

---

[114] Н. С. Демкова отмечает: «Однако “Писание” было создано не сразу после описанных в повести событий, а не ранее чем через два года после них. <…> Можно предположить, что “Писание” было создано до конца октября 1612 года». (Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М.: «Художеств. лит.», 1987. С. 555).

[115] О преставлении князя Михаила Васильевича Шуйского // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII веков. М.: «Художеств. лит.», 1987. С. 61.

все в церкви множеством свечей, и пол церковный был залит слезами народными[116] и т. д.

Не случайно, что подобные примеры экспрессии, придающие развитию сюжета динамику и драматизм, позволили исследователям отметить повесть как пример беллетристического сочинения с элементами барочной культуры («фантомы барокко»)[117], расцвет которой придется на вторую половину XVII века.

Приведенный фрагмент из «Повести о преставлении и погребении М. В. Скопина-Шуйского» позволяет сопоставить оба произведения, так внешне похожие. Алексей Михайлович в своем сочинении, посвященном описанию смерти патриарха Иосифа, будет следовать той же схеме, что и неизвестный автор 10-х годов XVII века. Обе повести на первый взгляд можно назвать зеркальными текстами. Кажется, что и герои абсолютно идентичны друг другу: при их описании элементы агиографического стиля нельзя не заметить, особо это касается образа Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Неизвестный автор в полной мере использует все этикетные словесные формулы, свойственные житию святого. От эпизода к эпизоду сакрализация героя только усиливается. И финальная сцена повести – погребение М. В. Скопина-Шуйского с царскими почестями в Архангельском соборе Московского Кремля – становится апофеозом прославления героя. А сон, увиденный неким горожанином, в прошлом иконописцем (тоже немаловажная деталь в общей картинные сакрализации), предсказавший смерть Скопина-Шуйского, окончательно возвышает героя до уровня святости.

Алексей Михайлович (как автор «Повести о преставлении патриарха Иосифа») также использует приемы известной повествовательной традиции. Однако, как мы отметили выше, его метод демонстрирует более свободное отношение к жанровым требованиям.

---

[116] Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII веков. М.: «Художеств. лит.», 1987. С. 67.

[117] Демин, А. С. Фантомы барокко в русской литературе первой половины XVII века // Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII-начала XVIII века. М.: Наука, 1989. С. 27–42.

Формально следуя канону, в содержательном плане он использует приемы, благодаря которым ожидание читателем привычного эмоционального переживания сменяется противоположным ощущением и заставляет под другим углом посмотреть на произошедшее событие и по-иному оценить как само событие, так и его героя.

В качестве примера здесь можно привести описание погребения патриарха, полностью нарушающее установленный церемониал «чина погребения». Алексей Михайлович, изображая «этикетные» сцены, дает понять, что они происходили не по правилам. Проявляется это в той поспешности, с которой было предано земле тело усопшего по причине предстоящего великого праздника Пасхи. Смерть патриарха внесла сбой в совершение церковных обрядов Страстной недели. Она противоречит самой идее возрождения и обновления жизни, ежегодно даруемой миру Пасхой. Интересным в этом плане может быть упоминание о том зловонии, которое источало тело усопшего патриарха, тем самым отвращая от себя паству в момент последнего прощания[118]. Поэтому и погребение происходит опять не по «чину»:

> погрhбли безъ звону: всh позабыли въ страсh; я вспамятовалъ, как почали поклоны класть за него, так я велhлъ звонить послh погребенiя доколh мы всh поклоны клали, а в ту пору звонили, а прежнихъ патрiарховъ съ звономъ погребали (Статейный список 1652 года. С. 173–174)[119].

Алексей Михайлович, в деталях пересказывая произошедшие события в Москве, тем самым убеждает Никона в необходимости скорейшим образом

---

[118] Нечто подобное спустя более чем два столетия в русской литературе появится в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» при описании старца Зосимы, который после своей смерти «провонял». Однако у Достоевского данный факт примет иное идеологическое значение, одно из толкований которых представлено в работе М. М. Дунаева «Православие и русская литература»: «Святость старца ставится как бы под сомнение – и распознание искушающей ложности такого сомнения возлагается на персонажей произведения, равно как и на читателя. Тут действует своего рода “доказательство от обратного”: разоблачение лжи служит укреплению утверждаемого воззрения на то или иное явление – в данном случае на духовную сущность старца». (Дунаев, М. М. Православие и русская литература. В 6 ч. Ч. 3. М.: Храм Святой мученицы Татианы при Москов. гос. ун-те, 2002. С. 672–673.

[119] Текст с указанием названия сочинения и страницы здесь и далее цитируется по изданию: Бартенев, П. Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856.

принять волю Бога – стать патриархом. Никон этого заслуживает. Свидетельством являются как традиционные этикетные обращения, звучащие в адрес Никона в редакции официального послания[120], написанного на полтора месяца раньше «Статейного списка 1652 года», так и во фрагментах основного текста «Повести…», где царь открыто говорит о своем желании видеть Никона патриархом:

> Пишу сице свhтлосіяющему во архіереяхъ, аки солнцу свhтящему по всей вселеннhй, тако и тебh сіяющу по всему нашему государству благими нравы и дhлы добрыми («Послание Никону». С. 152);
>
> Яко овцы безъ пастуха не вhдаютъ, гдh дhться, так-то мы нынh грhшные не вhдаемъ, гдh главы приклонити, понеже прежняго отца и пастыря отстали, а нового не имhемъ («Статейный список 1652 года». С. 167).

В конечном итоге, то, как в дальнейшем выстраивает сюжет «Повести …» Алексей Михайлович, используя традиционные средневековые приемы построения сюжета, привносит в текст «Повести…» очень много индивидуального, личного при оценке произошедшего события, свидетелем которого был автор. В «Повести…» Алексей Михайлович, развивая тему смерти, описывая кончину иерарха церкви, с не меньшей яркостью, чем способности редактора в «Сказании об успении Богородицы», проявляет свой писательский талант.

В этой ситуации показательно, как творчество царя Алексея Михайловича отражает в целом динамику мировоззренческих процессов XVII века. Оставаясь приверженцем средневековых норм, правил средневековой поэтики, Алексей Михайлович подробно описывает действия, нарушающие установленные «урядство» и «чин». Таких отклонений он подмечает достаточное количество. В результате текст «Статейного списка 1652 года» («Повести о преставлении

---

[120] См. коммент. И. Ю. Серовой в: Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга I. М.: Художеств. лит., 1988. С. 665–666.

патриарха Иосифа») приобретает совершенно иное звучание: традиционный с точки зрения жанра, в содержательном плане (исповедальное начало, субъективный подход, элементы драматизации повествования) памятник намечает новые перспективы и тенденции развития русской прозы, открытие которых произойдет в переходный период. Поэтому согласимся с выводами Е. В. Душечкиной, не потерявшими своей актуальности: «Показанная нами особенность статейного списка, суть которого состоит в фиксации внимания автора на всевозможных отклонениях от нормы и нарушениях ее, прослеживается на протяжении всего текста. В результате такого творческого задания, которое было обусловлено исповедальным характером сочинения и отчетностью его формы, Алексей Михайлович создает текст, ориентированный на нарушение норм, отчего он более походит на тексты новой литературы, чем на канонические тексты древней русской письменности»[121].

Анализ «Повести…» продемонстрировал определенный тип писательского мышления Алексея Михайловича, основу которого составляют традиционные средневековые представления о природе обрядовых действ, основанные на соблюдении канонических книжных приемов. В то же время они обладают уже двойственной природой: преследующие в некоторых случаях практические цели, при этом не лишены беллетристического и драматического начал, что существенно усложняет их литературную природу и определяет их место в литературном процессе переходного периода.

В традиции жанра «повести о преставлении», а соответственно, и в развитии темы смерти в творчестве монарха, находится и другой памятник, принадлежащий его перу, – это послание к князю Никите Ивановичу Одоевскому (1653 года), в котором царь подробно рассказывает об обстоятельствах смерти Федора Одоевского, сына князя. Памятник интересен и как образец жанра дружеского послания, занимавшего одно из центральных мест в творчестве царя, и как пример текста, продолжающего развитие интересующей нас темы. В этом

[121] Душечкина, Е. В. Статейный список 1652 г. как литературный памятник // Уч. зап. Тартус. ун-та / под ред. З. Г. Минц. Тарту, 1975. Вып. 369. С. 15.

случае послание может быть рассмотрено как противоположное по манере повествования «Статейному списку 1652 года» и позволяющее рассмотреть еще один вариант сюжета успения/смерти в творчестве Алексея Михайловича как одного из ярких представителей литературной традиции переходной эпохи.

Послание царя Н. И. Одоевскому публиковалось неоднократно. Оно представлено в изданиях Петра Бартенева 1856 года[122], Владимира Ламанского 1861 года[123]. Послание неоднократно попадало в поле внимания российских историков (С. Ф. Платонов, В. О. Ключевский, С. М. Соловьев), для которых оно было свидетельством особой душевной организации монарха, способного на искреннее выражение своих чувств по отношению к близким и родным. С. Ф. Платонов пишет, что «всякое горе, всякая беда находили в его душе отклики и сочувствие. Он был способен и склонен к самым теплым и деликатным дружеским утешениям, лучше всего рисующим его глубокую душевную доброту»[124]. Однако послание интересно не только с позиции общегуманных ценностей, отмеченных историками, но и с историко-литературной точки зрения.

Послание в сравнении со «Статейным списком 1652 года» демонстрирует уже традиционный (по средневековым меркам) вариант текста, содержащий описание этикетного события, что заметно при проведении сопоставительного анализа двух произведений. При использовании общих этикетных приемов, внешне ничем не отличающихся друг от друга, в содержательном аспекте – различие существенно.

В Послании князю Одоевскому изображена схожая со «Статейным списком 1652 года» ситуация – смерть князя Федора в результате болезни, наступившей так же неожиданно и протекавшей стремительно, как и у патриарха Иосифа. Как и в предыдущем тексте, царь определяет временные границы начала болезни и кончины героя:

---

[122] Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 226–232.
[123] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 702–706.
[124] Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории. М.: Высш. школа, 1993. С. 417.

> Его повелhніемъ изволилъ Онъ, Свhтъ, взять сына твоего … въ небесныя абители, ноября въ 19 день, въ пяток часу дни в полы. … А лежалъ огневою три недhли безъ дву денъ, а разболhлся при мнh, ноября первое число, на память Козмы и Доміяна, понедhлникъ. (Грамота Одоевскому. С. 703[125]).

Однако восприятие и оценка автором послания случившегося события уже абсолютно иные. В выражении своих чувств, вызванных переживанием смерти сына князя Одоевского, Алексея Михайловича нельзя уличить в неискренности или двусмысленности высказываемого сочувствия. Наоборот, общая стилистика послания такова, что показывает царя как сострадательного, умеющего найти слова утешения для человека, пребывающего в горе. Алексей Михайлович, демонстрируя свое расположение и дружеские отношения к князю Федору, его уход из жизни изображает согласно средневековому этикету как смерть истинного христианина:

> а после причастія отнюдь ничево не молвилъ, как есть уснул: отнюдь ни рыданія не было, ни терзанія (С. 704).

Нельзя не заметить, что описание смерти князя Федора Одоевского абсолютно противоположно варианту, представленному в «Повести о преставлении патриарха Иосифа». Вариативность сюжета здесь основывается на принципе полярности: «смерть праведника – смерть грешника». Федор Одоевский уходит из жизни тихо, благостно и «чинно», демонстрируя и подтверждая тем самым свою душевную чистоту.

Именно по этой причине Алексей Михайлович в последующем фрагменте своего послания просит адресата (Никиту Одоевского), оплакивая сына, поступать согласно христианскому этикету: соблюдать меру, излишне не проявлять своих эмоций и чувств, как ни тяжела утрата:

---

[125] Здесь и далее текст с указанием страниц цитируется по изданию: Записки отделения русской и славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2.

> И тебѣ бы, боярину нашему и слугѣ, и дѣтемъ твоимъ через ***мѣру не скорбѣть***, а нельзя что ***не скорбѣть*** или ***не прослезитца, и прослезитца*** надобно, да въ мѣру, чтобы Бога наипаче не прогнѣвить (С. 704).

Фразы, выделенные курсивом, в рукопись вписаны вместо первоначального варианта: «***силу не плакать, а нельзя что не тужить или не плакать, надобно***»[126]. Очевидно, что замена лексических единиц, имеющих разговорную природу («плакать», «тужить»), на церковнославянский эквивалент «скорбеть», а также замена лексемы «плакать», передающей повышенную эмоциональность субъекта, на книжный аналог «прослезиться» приводит к появлению определенного семантического оттенка в тексте. В результате авторской правки устраняется разговорная лексика, десакрализующая событие, привносящая обыденность и повседневность. Приведенный пример показателен еще и с другой стороны. Он раскрывает образ царя как писателя, вначале находящегося во власти своих чувств простого человека, сострадающего горю ближнего и пытающегося утешить его по-дружески, но затем осознающего, что, с точки зрения книжных канонов, в данном случае выбранная стилистика непригодна и поэтому должна быть заменена.

Алексей Михайлович как автор своего текста, демонстрирующего «правильную» благоверную смерть христианина, использует традиционный книжный прием – приводит в качестве доказательств своей правоты примеры, взятые из авторитетных источников. Таковыми в послании явились процитированные фрагменты из книги Иова, сочинений Иоанна Златоуста, агиографических произведений (житие Варлаама Хутынского).

Приводимые примеры смерти героев являются своего рода обрамлением изображения скоропостижной кончины князя Федора Одоевского, доказывают правильность суждения царя о благочинной его смерти. Всевышний забрал Федора из милости к нему, даровав ему венец. Поэтому скорбь отца не должна

---

[126] См. прим. к изданию: Записки отделения русской и славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 704.

выходить за границы, быть чрезмерно эмоциональной, так как подобное поведение противоречит пониманию смерти как успения, открывающего для истинного христианина горний мир:

> А тапере радуйся и веселися, что совсhмъ Богъ совершилъ и изволилъ взять съ милостію Своею, и ты пріимай съ радостію сію печаль, а не в кручину себh и не во оскорбленіе (с. 705).

Таким образом, личное послание царя Алексея Михайловича, с одной стороны (с позиции жанра и используемых книжных приемов), демонстрирует традиционное христианское мышление автора, с другой (содержательной стороны) – являет собой пример текста, обладающего признаками художественной парадигмы нового времени. Это лиризм и личностное, субъективное отношение к изображаемым событиям. В конечном итоге, можно сказать, что, благодаря присутствию этих двух начал, становится возможным говорить о переходности авторского мышления, стремящегося выйти за рамки средневековой модели мировосприятия.

1.4. Притча о блудном сыне и ее интерпретация в эпистолярной традиции переходного времени: традиция и новизна. (Послания царя Алексея Михайловича)

Евангельская притча о блудном сыне (Лк: 15, 11–32) по праву считается одной из самых популярных, о чем свидетельствуют ее многочисленные интерпретации в разножанровых по своей природе произведениях мировой литературы[127]. Для русской литературы на протяжении всего ее исторического развития притча стала одной из художественных доминант, определившей поэтику ряда произведений как средневекового типа, так и литературы нового

[127] Демкова, Н. С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. Сборник статей. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. С. 135–147.

времени[128]. Постоянное внимание к евангельскому источнику сюжета в конечном итоге привело к тому, что притча о блудном сыне «в русской традиции окружена своими “опрощенными” моделями»[129].

Причина устойчивого интереса авторов к евангельскому сюжету объясняется тем, что он в аллегорической форме утверждал «вечность, непреложность гармонии, долженствующей существовать в отношениях между человеком и Богом-творцом: искреннее покаяние возвращает человека к Богу, а милосердие Божие избавляет людей от самого страшного греха – греха отчаяния»[130].

Переходный период русской литературы (вторая половина XVII – первая треть XVIII века), как известно, демонстрирует несколько вариантов интерпретации евангельского сюжета в анонимных повестях второй половины XVII века («Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве»), в пьесе Симеона Полоцкого («Комидия притчи о блудном сыне»), в беллетристике петровского времени («Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли», «Повесть об Александре, российском дворянине»). Популярность притчи в переходный период русской культуры объясняется не только литературными обстоятельствами, но и общекультурными изменениями, поколебавшими средневековые представления о человеке и о пределах его свободного

---

[128] Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. Вып. 1. С. 25–26; Чернов, А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 1994. Вып. 3.: С. 151–159; Есаулов, И. А. О сокровенном смысле «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2012. вып. 7. С. 25–31; Габдуллина, В. И. Мотив возвращения блудного сына в романах И. С. Тургенева // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2013. вып. 8. С. 135–150.

[129] Сурков, Е. А. Притча о блудном сыне и «рассказ» о блудной дочери // Сурков, Е. А. Русская повесть в историко-литературном контексте XVIII – первой трети XIX века. Кемерово: «Кузбассвузиздат», 2007. С. 220.

[130] Демкова, Н. С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова, Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. Сборник статей. СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 1997. С. 139.

волеизъявления. XVII век открыл человеческую индивидуальность[131], породил новый тип героя – авантюриста, позволил «поступать, как ему любо», преследуя свои личные цели, выходящие за пределы традиционных семейно-родовых представлений.

Эпистолярные сочинения царя Алексея Михайловича, который в ряде моментов своей государственной деятельности сам предстает реформатором и новатором («стремление и умение интересоваться были свойством царя, особенностью его натуры»[132]), органично вписываются в традицию осмысления евангельской притчи о блудном сыне в условиях литературы переходного времени. Сразу заметим, что, в отличие от упомянутых выше произведений беллетристики второй половины XVII – начала XVIII века, литературное наследие царя не дает примера сочинения, в котором возможно было бы увидеть полное воплощение сюжетного архетипа евангельской притчи. Именно поэтому правильным будет вести речь о присутствии в эпистолярном творчестве Алексея Михайловича притчевого мотива, а в отдельных случаях (посланиях) – реминисценций и аллюзий «блудного сына», звучащих в приводимых автором примерах, имеющих аллегорическую природу.

Как отмечает Н. С. Демкова, «мотив “блудного сына” стал общим местом, литературным топосом в сочинениях русского Средневековья в тех случаях, когда речь заходила об уклонении от общепринятой нравственной, социальной или конфессиональной позиции. Поэтому тема притчи, как правило, часто использовалась в обличительных текстах – полемике и в публицистике»[133]. С этой позиции ряд посланий царя Алексея Михайловича органично вписывается в данный контекст и позволяет увидеть авторское отношение к проблеме человеческой судьбы в современную для него эпоху.

---

[131] Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси // Лихачев Д. С. Избр. раб. в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 3. 520 с.; Ромодановская, Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994. 232 с.; Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время / Рос. акад. наук; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Яз. славян. культур. 2006. 896 с.

[132] Гурлянд, И. Я. Приказ Великого государя тайных дел. Ярославль, 1908. С. 111.

[133] Демкова, Н. С Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова, Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. Сборник статей. СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 1997. С. 136.

Так, например, в царских посланиях нередки случаи, когда Алексей Михайлович на одном конкретном примере совершения адресатом ошибочного поступка, который и становится причиной написания грамоты, показывает вневременной характер человеческого блуждания во мраке своих страстей, призывая к покаянию, дарующему радость обретения истины, отвергнутой необдуманно. С точки зрения Алексея Михайловича как автора посланий, в которых он постоянно выступает в роли духовного наставника своих адресатов («учительство, как черта характера, царю Алексею, правда, было не чуждо»[134]), не так страшно падение, как отказ от возможности принести покаяние в совершенном грехе, причиной которого стала гордыня:

> Не люто есть вспотыкатца, люто есть вспуткнувся, не поднятца, или, угрязнувся, не умытца внутрь, не человечhско есть вспотыкатца, и сами Ангели поколзнулися, а мняй ся стояти… (Послание А. С. Матвееву от 23 января 1655 года. С. 726)[135].

В монарших посланиях обращает на себя внимание использование устойчивого стилистического приема – введение в текст своего послания евангельского источника (чаще всего косвенное цитирование), с помощью которого его составителю удается выразить главную мысль – царь есть помазанник Божий («сердце царево въ руцh Божiи»). Именно на царя («богодарованного» и «богоданного») возложена ответственность быть наставником для своих подданных, отцом и пастырем, вести их по пути духовного спасения, «царь дарован от Бога, поставлен царь Богом на то, чтобы “беспомощным помогать”»[136]. Долг подданных – быть преданными царю, а значит, исполнять волю Бога, поступать по заветам Евангелия, нарушение которых неизменно приводит к заблуждению в своих помыслах и скитанию по миру, к потере дома. Показательными в этом отношении являются послания царя

---

[134] Гурлянд, И. Я. Приказ Великого государя тайных дел. Ярославль, 1908. С. 55.
[135] Здесь и далее текст с указанием страниц цитируется по изданию: Записки отделения Русской и Славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2.
[136] Гурлянд, И. Я. Приказ Великого государя тайных дел. Ярославль, 1908. С. 237.

в Савво-Сторожевский монастырь, адресованные архимандриту монастыря Гермогену и келарю Вельямину Горсткину.

Причины написания царем нескольких посланий в монастырь хорошо известны. Они связаны с преступлением, совершенным казначеем монастыря, который растратил монастырскую казну, а в завершение своих «подвигов» еще и избил несколько мужиков, причинив им увечья:

> ...онъ, казначей, hздя по деревнямъ, пилъ и, зahхавъ къ нимъ, въ село Михайловское, къ попу, пилъ и напився, ихъ крестьянъ билъ (С. 685).

Вполне понятно, что подобное поведение монаха не могло не возмутить царя, который приказывает учинить над Никитою суд (при этом напоминая и о Страшном суде), вынести приговор, а свои соображения по произошедшему событию и оценки Алексей Михайлович высказывает в посланиях.

Отметим, что сама ситуация, сложившаяся в монастыре и приведшая в гнев царя, в своем бытовом воплощении несет архетипичные элементы сюжета притчи о блудном сыне. Действия монаха, пребывающего в доме Небесного Отца – монастыре, приводят его на путь греха – нравственного падения. Совершаемые Никитою поступки открыто демонстрируют неповиновение не только воле архимандрита монастыря Гермогена, но и самого царя, которого он порочит в своих речах («роптании спесивом»):

> Во многомъ заплутался да на меня жялуется, пишетъ к друзьямъ своимъ, какъ я ево не жялую, как онъ от меня погибаетъ. Ей, зhло возмутилъ окаянной, а ино и писать нельзя; чяю, самъ сатана имъ и монастыремъ... (С. 695).

В дальнейшем известно, что казначей Никита был взят под стражу:

> ... велhти положить на него чhпь на шею, а на ноги желhза... (С. 689).

Случай, произошедший с казначеем Никитою, Алексей Михайлович в своих посланиях описывает и комментирует как пример падения человека, его

заблуждения, греховного скитания и пребывания в мире страстей. Казначей Никита своими поступками отпал от дома своего духовного отца:

> И ты не восхотhлъ послушати Бога и Чюдотворца и меня, и ты промhнилъ сіе мhсто Чюдотворцево на свое премудрое и лукавое и на пьяное серце и на проклятые свои мысли, а меня, грhшнаго, тебh не диво не послушать здhсь, потому что и святое мhсто продаешь своимъ безуміемь на винные фляги (С. 688).

Завершилась ли история с казначеем Никитою его раскаянием и возвращением в лоно монастыря, отвергнутого в начале, не известно. Но сами послания демонстрируют присутствие в них аллюзий на событийный ряд евангельского аполога. Несмотря на то, что прямых, явных текстовых параллелей между посланиями царя в Савво-Сторожевский монастырь и притчей о блудном сыне нет, оценка автором поступка, совершенного казначеем Никитою, находится в системе аксиологии, сформированной евангельским текстом.

Другим примером послания, которое в большей степени можно назвать коррелятом притчи о блудном сыне, является письмо к дворянину А. Л. Ордину-Нащокину[137], написанное 14 марта 1660 года[138]. Оригинальный текст самого послания долгое время считался утерянным. Именно такая версия была в свое время высказана А. М. Панченко, опубликовавшим в 1969 году послание царя в 15 томе серии «Библиотека всемирной литературы»[139] и обратившимся в качестве источника послания к сочинению С. М. Соловьева[140], который привел текст в сокращенном варианте. На сегодняшний день место хранения рукописного

---

[137] Белоброва, О. А. Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. С. 427–429.
[138] Соловьев, С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1961. Кн. VI. Т. 11–12. С. 71–73.
[139] «Изборник»: Сборник произведений Древней Руси. М.: Художеств. лит., 1969. Т. 15. С. 573–575, 776.
[140] Соловьев, С. М. Указ.соч.

источника послания установлено[141], что позволяет видеть текст без сокращений, в его полном объеме и с сохранившимися «чернениями государевой руки»[142].

Причиной написания послания стало бегство в 1659 году сына думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, Воина, в Польшу во время Русско-польской войны[143]. Историки XIX века (С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов и другие) были единодушны в оценке сына А. Л. Ордина-Нащокина как молодого человека образованного и воспитанного в традиции европейской культуры. Воин свободно владел латинским, польским, немецким языками[144]. Знание европейских языков обеспечило ему успешную карьеру в дипломатической службе под началом отца. Воину поручалось вести тайную переписку с иностранными корреспондентами. Сохранились сведения, что он также состоял и в личной переписке с самим Алексеем Михайловичем, который покровительствовал отцу и сыну, ценя их способности:

> И он, простец, и у нас, великого государя, тайно был и не по одно время и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова просто умышленного яда под языком его не ведали» (Л. 103); «Афанасей Лаврентьевичь! В прежних временах люди говаривали про тебя всяко: да одно де у него да добро. Богъ де милует да царь жялует, а и нынh милость Божія свыше прежнева, а и мы к тебh всякаго добра желаем...[145].

Однако молодой стольник В. А. Ордин-Нащокин, чье мировоззрение было сформировано под влиянием польской культуры (Воин имел общение с

---

[141] РГАДА. Ф. 96 (Сношения со Швецией). Оп. 1. 1660 г. Ed. хр. 2. Л. 91–105.

[142] Письмо впервые было опубликовано О. Е. Кошелевой в 1996 году. См.: Кошелева, О. Е. Побег Воина // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М., 1997. С. 55–86.

[143] Флоря Б. Н. Путешествия Воина Нащокина // Средние века. 2010. Т. 71. № 1–2. С. 313–320.

[144] Известный путешественник и дипломат Якоб Рейтенфельс в своем сочинении «Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии» так характеризовал сына А. Л. Ордина-Нащокина: «Нащокин, младший, прославившийся сын великого отца, много лет путешествовал и обозрел почти всю Европу, превосходно владеет, один из всей русской знати, не только латинским, но и французским и немецким языками, хотя эта ученость послужила ему не ступенью к почетному возвышению, а, скорее, препятствием» (Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии / Ред. и пер. А. И. Станкевича. М., 1906. С. 160).

[145] Записки отделения Русской и Славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 767.

представителями образованного польского дворянства, иноземными офицерами на русской службе[146]), не мог не прельститься ее плодами. В конечном итоге Воин совершает бегство в Польшу, не видя возможности для реализации своих способностей в условиях русской действительности. Историки считают причиной побега Воина Нащокина именно желание увидеть мир, вырваться за пределы дома своего отца, обходившегося с ним строго и, по всей видимости, применявшего телесные наказания, причиной которого были «блудни» сына. «Если другие спасались от опасности, угрожавшей их жизни или свободе, то причина побега Воина крылась в ином. Отец наказал Воина кнутом, по-видимому, за какие-то неблаговидные поступки», – такое объяснение причин бегства Воина Нащокина на основе архивных документов приводит Б. Н. Флоря[147].

Польский король Ян Казимир Ваза, приняв под свое покровительство беглого русского дипломата, рассчитывал использовать его в своих целях в военно-дипломатической борьбе с Алексеем Михайловичем. Однако планам польской стороны не суждено было воплотиться, Воин оказался не той фигурой в шахматной игре, которая могла бы привести к победе. Вскоре беглец покидает Польшу, и начинается его скитание по Европе. Австрия, Франция, Голландия, Дания – страны, которые стали временным приютом Воина вплоть до 1665 года, когда он получил разрешение Алексея Михайловича вернуться в Россию, где вновь начал свою службу. Таков реальный биографический сюжет истории блудного сына – Воина Ордина-Нащокина. Свидетельством раскаяния в совершенном поступке станет послание 1661 года, адресованное Алексею Михайловичу, в котором он просит милости и разрешения вернуться на родину[148]. В контексте евангельской традиции данный поступок беглеца становится завершающей фазой сюжета о блудном сыне. В итоге реальный биографический

---

[146] Флоря, Б. Н. Путешествия Воина Нащокина (в приложении Письмо Воина Нащокина отцу) // Средние века. 2010. № 1–2. С 313–320.

Основные идеи данного параграфа нашли свое воплощение в моей статье: Шунков, А. В. Архетипический мотив в эпистолярной традиции переходного времени: «блудный сын» в послании Алексея Михайловича к А. Л. Ордину-Нащокину // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. №1 (59). С. 93–99.

[147] Флоря, Б. Н. Указ. соч. С. 313.

[148] Текст послания см. в Приложении № 1.

сюжет фактически повторяет схему евангельской притчи и находит свое развитие в посланиях царя, адресованных главным участникам этого события: отцу и сыну Нащокиным.

Дружеское послание, адресованное А. Л. Ордину-Нащокину и по своей жанровой разновидности являющееся утешительным, в построении сюжета не пытается следовать традиционной притчевой схеме. Основой послания послужило Слово Василия Великого «О благодарении», к цитированию которого царь активно прибегает по мере развития сюжета послания. Время написания царем своего послания (14 марта 1660 года)[149] приходится на вторник второй недели Великого поста, когда читается упомянутое выше Слово Василия Великого. Вполне вероятно, что под влиянием особого дня царь, как человек глубоко укорененный в православной вере, не мог не написать иного послания, утешительного по содержанию, своему любимому дипломату, обратившемуся к царю с просьбой об отставке.

Послание царя соблюдает все требования эпистолярного канона: и композиционные, и стилистические. Прескрипт послания (его первая, вступительная часть) этикетна с точки зрения стилистики. Однако видеть в используемых словесных клише в начале грамоты при характеристике адресата только лишь формальное соблюдение традиции будет не совсем верно. Послание в первую очередь репрезентует особенности мировоззрения его составителя, в основе которого заложено религиозное понимание природы произошедшего события, уже имеющего аналогию в христианской истории. Можно сказать, что Алексей Михайлович как писатель («бысть же и во словhсехъ премудрости риторъ естествословесенъ и смышленiемъ скороуменъ»[150]) в этом случае соотносится с книжной традицией, мыслит литературными стереотипами, видит изображаемое им событие в контексте евангельского сюжета. Используемые в начале послания устойчивые словесные

[149] Текст послания см. в Приложении № 2.

[150] Попов, А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. Приложение к Обзору хронографов русской редакции. М., 1869. С. 211.

формулы выполняют определенную литературную функцию – с их помощью создается образ адресата А. Л. Ордина-Нащокина как идеального христианина:

> <...> наипаче же христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу и совершенно богоприимцу и страннопримцу и нашему государеву всякому делу доброму ходатаю и желателю (Л. 91).

Последующая повествовательная часть послания (семантема) вкратце сообщает о событии бегства сына А. Л. Ордина-Нащокина в Гданьск, в большей мере акцентируя внимание на эмоциональном фоне письма, который достигается за счет словесных фигур, имеющих библейские корни. В центральной части послания Алексей Михайлович изображает эмоциональное переживание отца, пребывающего в состоянии печали:

> ...сын твой … своим безумством объявился во Гданске. А тебе, отцу своему, лютую печаль учинил. … Ей, велика скорбь и туга воистинно! (Л. 91, 93).

В то же время рассмотрение послания в контексте притчевой традиции о блудном сыне позволяет выявить отличительные приемы, используемые автором при изображении и оценке события, имеющего аналогию в евангельском первоисточнике. Как известно, ключевой темой притчи является тема радости, показанной в финальном эпизоде встречи отца и сына. Н. С. Демкова пишет: «В научении всем слушающим Христос и рассказывает эту притчу, содержащую основной смысл его учения, – необходимость искреннего прощения, ликования при покаянии грешника, возвращающегося к отцу»[151]. Как показывает дальнейшая история развития события, именно по этой схеме и завершилось скитание Воина Ордина-Нащокина: «блудный сын» был прощен.

В своей «истории» блудного сына Алексей Михайлович смещает акцент на первый эпизод известного евангельского сюжета, усиливая тему скорби

---

[151] Демкова Н.С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова, Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. Сборник статей. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. С. 139.

родителей от потери единственного сына. Царь, утешая отца в горе, постигшем его, уверен в том, что сын, поскитавшись по свету, обязательно возвратится в родной дом:

> А он человек молодой, хощет создания владычня и творения рук Ево видеть на сем свете, яко же и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает <...> воспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, он к вам вскоре возвратитца[152] (Л. 103а – 104).

Таким образом, начальный и финальный эпизоды одной сюжетной схемы «блудного сына», но представленные в разных текстах, выстраивают единую картину переживаемых героем эмоций. Становится возможным увидеть развитие и изменение эмоционального мира героя от переживания горя до обретения радости от встречи с сыном в будущем:

> Воистинно Бог с тобою есть и будет во веки и навеки, сию печаль той да обратит вам <*вскоре*> в радость и утешит вас вскоре. А что будет и впрямь сын твой изменил, и мы, Великий Государь, его измену поставили ни во что, и конечно ведаем, что кроме твоея воли сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и в соглашение <*твое*> ему (Л 102).

Использование в основной части послания значительных фрагментов из библейских источников (прямо или косвенно) позволяет Алексею Михайловичу более точно нарисовать психологический портрет отца и в то же время придает посланию не только утешительный, но и поучительный характер. Приводимые цитаты, взятые из торжественного слова Василия Великого, должны стать

[152] Возвращение произошло в 1665 году.

показательным примером должного поведения адресата в той не простой для него ситуации, в которой он оказался. Отец, потерявший сына, сам должен найти в себе силы, чтобы вновь обрести веру, вступить на путь истины и исполнять свой долг перед царем:

> Что же, по сетовании, творим ти воспрянути от печали, что от сына, и возложити печаль на волю Божию. А нежели в печаль впадати или воскочити яко еленю на источники водныя, тако и тебе, отставя печаль и вборзе управитися умныма отчима на запаведи Божии и со всяким благодарением уповати яко же и Василий Великий, еже благо есть на Господа уповати, нежели на се помышляти (Л. 95).

Печаль и уныние как греховные страсти сбивают человека с пути, отвергают его от Бога:

> Почто в такую великую печаль и во уныние (токмо веруй и уповай!) чрезмерные вдал себя? (Л. 99а).

Эта тема как раз и звучит в тех фрагментах, которые царь заимствует из книжных источников и помещает в своем послании.

На библейских аллюзиях и символах построено и ответное послание царя[153], адресованное Воину. Царь принимает покаяние блудного сына («челобитье твое приняв, милостиво прощаем») и готов забыть его поступок, совершенный необдуманно и по глупости, но принесший отцу страдания. В отличие от покаянного письма Воина, которое стилистически сдержанно и носит официальный характер (а по-другому и быть не могло), послание Алексея Михайловича, как и в случае с ответом Афанасию Ордину-Нащокину, метафорично. Ключевым символом становится образ древа и ветви, отломанной от него.

> Сего ради не смущайся, аще ветвь пала, но древо непоколебимо, корень бо есть водрузися на твердой земле. А за отдалением ветрозыблющия ветви не

[153] Текст послания см. в Приложении № 3.

имей себя отрезана быти, и древа сим подпором нашего милостиваго обнадеяния подкрепляем буди[154].

Алексей Михайлович в эпистолярной ситуации с Воином Нащокиным и его отцом выходит за границы известной для древнерусской традиции дискурсивной практики – выражение отрицательного отношения к совершенному поступку, который не мог быть оправдан. Беглец на Запад в русской традиции всегда воспринимался и оценивался как изменник не только царю («помазаннику Божьему), но и самой православной вере.

Таким образам, скиталец по западным странам, согласно христианской топографии, заведомо обрекал себя на погибель. Напомним, что одним из ярких и показательных примеров, иллюстрирующих негативное восприятие и оценку Запада, является эпистолярная полемика между Грозным и Андреем Курбским. Нельзя сказать, что во второй половине XVII века ситуация кардинально могла поменяться при оценке поступка беглецов – «блудных сыновей». Другой соотечественник Воина Ордина-Нащокина – Григорий Котошихин, подьячий Посольского приказа и шведский шпион, бежавший через Польшу на Запад и сложивший на плахе в Стокгольме свою голову, не вызвал каких-либо сочувствующих реплик со стороны его современников. Наоборот, русская власть стремилась поймать беглеца, вернуть его в Москву, где его ждал суд и наказание.

В ситуации с Воином видим совершенно другой вариант, не характерный для традиции (и с позиции государственной власти, и, что еще более для нас ценно, с позиции литературной). Алексей Михайлович и как правитель, и как писатель, осмысливающий и оценивающий произошедшее событие, своими действиями сам вписывается в евангельский сюжет в образе всепрощающего отца, принимающего раскаяние блудного сына (характерно, что оба Нащокиных (отец и сын) обратились к царю с покаянными письмами).

История «блудного сына» XVII века в русской литературе переходного периода, как известно, найдет свое воплощение в беллетристических повестях, одной из которых является «Повесть о Фроле Скобееве». Можно предположить,

[154] Записки отделения Русской и Славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 768.

что событие, случившееся в семье А. Л. Ордина-Нащокина в начале 60-х годов XVII века, имело большой резонанс. Со временем оно могло приобрести легендарный, устно-поэтический характер, подвергнуться трансформации, став завязкой сюжета русской анонимной повести конца XVII столетия. Именно такая точка зрения, высказанная авторитетными учеными в отечественной медиевистике, долгое время была неоспоримой. Однако П. В. Седову[155] на основе архивных исторических документов удалось доказать, что литературный образ Аннушки в повести имеет реальный женский исторический прототип. И таковой является дочь Воина Ордина-Нащокина, посмевшая своими вольными поступками нарушить многовековые семейные традиции.

Известно, что события «Повести о Фроле Скобееве» происходят в новгородском уезде в доме стольника Ордина-Нащокина, дочь которого, Аннушка, соблазненная дворянином Фролом Скобеевым, совершает побег из отчего дома. Дальнейшее развитие сюжета русской повести конца XVII века несет в себе признаки притчевого нарратива, причем не только со стороны сюжетной линии главного героя, но и второстепенного персонажа, каким и является «блудная дочь» Ордина-Нащокина, в конце повести вместе с Фролом Скобеевым получившая прощение отца и возвратившаяся в его дом. Так реальный историко-биографический сюжет, связанный с семьей А. Л. Ордина-Нащокина, осмысленный в переходный период русской культуры в традиции евангельской притчи, приобретает литературный характер, предлагая разные варианты осмысления притчевого архетипа в произведениях Нового времени.

Вполне резонно возникают вопросы: в чем заключается литературная оригинальность «царского» варианта евангельского мотива блудного сына и какую роль он играет в историко-литературном контексте эпохи переходного времени? Ответы и объяснения на поставленные вопросы могут быть получены, если постараться применить в данном и последующих случаях идеи М. М. Бахтина о жанре, «памяти жанра», «диалоге».

---

[155] Седов, П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006.

Как известно, М. М. Бахтин литературный жанр не рассматривал только как некую монолитно существующую форму. Жанр – это «единица речевого общения»[156], форма высказывания. В связи с этим каждая эпоха вырабатывает свои формы высказывания («речевого общения»), но делает это не только на основе ранее уже сформировавшихся текстов, но и с привлечением новых, только складывающихся моделей речевого высказывания, культурной коммуникации. История «блудного сына», представленная в посланиях Алексея Михайловича, демонстрирует в данном случае «языковую память», как это представлено в исследованиях Б. М. Гаспарова. С точки зрения ученого, слово «<…> не существует в языковой памяти в качестве изолированного и самодостаточного языкового объекта. Оно мыслится в составе множества коммуникативных фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, способен разрастаться в более пространные выражения, втягиваясь в состав целых потенциальных сюжетов, тематических и жанровых полей»[157]. А это, в свою очередь, порождает определенную культуру восприятия текста читателем, способным или не способным вести диалог с автором, понимать или отвергать предлагаемый им текст.

Именно об этой культурной парадигме писал Ю. М. Лотман, отмечая, что «между текстом и аудиторией складывается отношение, которое характеризуется не пассивным восприятием, а имеет природу диалога. Диалогическая речь отличается не только общностью кода двух соположенных высказываний, но и наличием определенной общей памяти у адресанта и адресата. Отсутствие этого условия делает текст недешифруемым. В этом отношении можно сказать, что любой текст характеризуется не только кодом и сообщением, но и ориентацией на определенный тип памяти (структуру памяти и характер ее заполнения)»[158].

Таким образом, послания Алексея Михайловича, рассмотренные нами, несут в себе определенного рода «память жанра», «языковую память» и настраивают на определенную ситуацию эстетического переживания адресата. Однако это не

---

[156] Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. М.,1986. С. 250–258.
[157] Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996. С. 249.
[158] Лотман, Ю. М. Избр. ст: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 201.

означает, что первоначальный вариант текста (евангельская притча) не может быть подвергнут изменению в авторской переработке. Примеры рассмотренных эпистолярных сочинений с присутствующим в них мотивом блудного сына наглядно демонстрируют в литературе переходного времени процесс трансформации сюжетного образца, что, в свою очередь, привело к порождению в последующие периоды русской литературы новых «речевых высказываний» со знакомым сюжетом и мотивом блудного сына.

1.5. От текста Средневековья – к тексту Нового времени: динамика художественной картины мира в русской повести переходного периода (вторая половина XVII века – 30 годы XVIII века). «Повесть о Горе-Злочастии»

Неустойчивость, нестабильность, противоречивость и поляризация мировоззренческих тенденций – особенности, присущие равно как исторической эпохе XVII века, его переходному периоду, так и книжному тексту, порожденному самой эпохой. В ситуации историко-культурной динамики книжный текст также становится подвижным и с формальной стороны, и с содержательной, демонстрируя тем самым раскрепощенность авторского сознания как один из признаков переходного периода. Импровизация над жанровой традицией и правилами сюжетопостроения текста приводят средневекового автора к поиску новых приемов изображения человека и окружающего мира.

Секуляризация авторского сознания и, как следствие, новые приемы, используемые автором в литературной практике, неоднократно уже рассматривались и приводились в качестве признаков текста переходного периода. Однако смысл переходных процессов заключается не только в устранении старого и замене его новым, но и в появлении альтернативного явления, выходящего за пределы установленного ранее образца.

Альтернативность (вариативность) в данном случае должна пониматься не с текстологической точки зрения, когда возможна ситуация сопоставления разных

редакций одного и того же произведения, а с мировоззренческой, позволяющей увидеть столкновение разных дискурсов. Общеизвестно, что многие литературные памятники Древней Руси дошли до Нового времени в единственном списке, причем более позднего времени, чем когда могла быть создана начальная редакция текста, впоследствии подвергавшаяся переработке. В этой ситуации все попытки определения первоисточника существующего текста, безусловно, будут носить гипотетический характер. Однако с герменевтической позиции важным фактором является возможность интерпретации той художественной реальности, которая создается благодаря творческим усилиям автора и восприятию ее читателем. В этом случае произведения русской литературы переходного периода демонстрируют ситуацию взаимодействия двух противоположных систем, приводящих к «пограничности», «рубежности», в конечном итоге – к слому миропредставления, закрепленного прежней традицией.

Обратимся к одному из известных памятников XVII века, демонстрирующих модель переходности в русской литературе – анонимной «Повести о Горе-Злочастии», занимающей центральное место в историко-литературной ситуации XVII века, «замыкающей собою круг произведений древнерусской литературы»[159]. Сохранившаяся в единственном списке XVIII века повесть неоднократно становилась предметом научного изучения. Дискуссии ученых[160], как отечественных, так и представителей европейской славистики[161], вокруг памятника разворачивались по ряду вопросов: жанровое своеобразие, связь с устно-поэтической традицией, стиль, композиция[162] и др. Однако главный акцент во всех исследованиях неизменно делался на изображении нового типа героя, порожденного «бунташным веком» и дерзнувшего на самостоятельный шаг.

---

[159] Охтень, С. А. Идейно-художественное своеобразие «Повести о Горе-Злочастии» в ее отношении к книжной и фольклорной традициям Древней Руси: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Омск, 2002. 26 с.

[160] Подробная историография вопроса изучения повести представлена в библиографии, составленной А. М. Панченко. См.: «Повесть о Горе-Злочастии» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1998. Вып. 3 (XVII век). Ч. 3. С. 106–109.

[161] Пиккио, Р. О библейском семантическом обрамлении «Повести о Горе-Злочастии» // Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М.: Знак, 2003. С. 693–701.

[162] Лепахин, В. В. Особенности композиции «Повести о Горе-Злочастии» // Studia Slavica Savariensia 2007. С. 271–286.

Одним из итогов рассмотрения повести, как известно, стал вывод, сделанный Д. С. Лихачевым о поражении молодца, который скрывается от Горя за стенами монастыря в финале повести: «Этой развязкой, трагизм которой резко подчеркнут в повести, заключается рассказ о судьбе молодца. Жалея своего неудачливого героя, автор не умеет еще найти для него выхода и заставляет его в монастыре отгородиться от жизни»[163]. Таким образом, концепция прочтения повести, предложенная Д. С. Лихачевым, показывает ситуацию проигрыша героя судьбе, персонифицированной в образе Горя-Злочастия, в попытке совершения самостоятельного поступка. И в связи с этим повесть обретает пессимистическое звучание[164].

Подобный подход к интерпретации конфликта повести, как известно, будет представлен и в исследованиях А. М. Панченко. Ученый видел в судьбе молодца трагедию личности, отвергающей «заповедь божественну» и в итоге отрекающейся от родовых корней[165].

Однако дело здесь не в пессимизме автора, обусловленного исторической ситуацией в России, как считал Д. С. Лихачев[166]. На примере повести мы как раз можем увидеть пограничную ситуацию в русской литературе – создание текста на основе синтеза противоположных повествовательных традиций, относящихся к разным эпохам: Средневековью и Новому времени. Анонимный автор позволяет себе импровизацию, выбирая для своего сочинения стихотворную форму, подвергая интерпретации, переработке библейские и евангельские мотивы, активно используя приемы устно-поэтической и мифопоэтической традиций. Все это свидетельствует о том, что секуляризация русской культуры и литературы второй половины XVII века (а именно к этому периоду исследователи относят

---

[163] Лихачев, Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. Избр. раб.: в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 2. С. 333.

[164] Ученый пишет, что «невзрачная жизнь невзрачного героя осознается в повести как судьба всего страдающего человечества» (Лихачев, Д. С. Указ. соч. С. 337).

[165] Панченко, А. М. История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 34. С. 199; История русской литературы / редкол. А. С. Бушмин и др. Л., 1980. Т. 1. С. 385–390; Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1984. С. 152–154, 158.

[166] Д. С. Лихачев отмечает: «Глубокий пессимизм самого замысла “Повести о Горе Злочастии” следует, быть может, поставить в связь с тем, что автор ее мог наблюдать в реальной русской действительности второй половины XVII в.» (Лихачев, Д. С. Указ. соч. С. 337).

повесть[167]) порождает абсолютно новый тип писателя и новый метод изображения, ориентированный на постижение сложного внутреннего мира героя.

Как показало исследование «Повести…», проведенное Н. С. Демковой, трагизм положения молодца определяется внутренним противоречием и столкновением двух начал: зла, персонифицированного в образе Горя, и добра, не оставляющего героя в его блуждании и возникающего в образе матери в песне, исполняемой на берегу перевозчикам. Как отмечает Н. С. Демкова, «так, самим развитием сюжетного повествования, без каких-либо специальных риторических деклараций автор “Повести о Горе-Злочастии” утверждает вечные человеческие ценности: нельзя убить, нельзя пренебречь матерью, нельзя не только служить злой силе, но даже и давать согласие служить ей»[168].

Концепция прочтения и интерпретация повести, предложенная в свое время Н. С. Демковой, явилась одной из первых, где была сформулирована задача необходимости изучения памятника как произведения переходного этапа в развитии русской литературы. Переходность повести, как и ряда других беллетристических произведений данного периода, заключается в более сложном использовании библейских источников, взятых за основу сюжета. Н. С. Демкова пишет: «Однако в XVII веке начинается новое по существу и более сложное использование библейских источников. Библейские и евангельские тексты заново осмысляются и активно используются в строительстве новой культуры “переходного периода”, причем как “верхней” – придворной – культуры, так и “нижней”, демократической: они становятся источниками сюжетов и для пьес

[167] Лихачев, Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. Избр. раб. в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987.Т. 2. С. 321–342. Так, например, А. М. Панченко определял возможные временные границы создания повести на основе сопоставления с сочинениями протопопа Аввакума, предполагая, что Аввакум мог быть знаком с анонимным сочинением. В пользу подобного заявления говорят общие тематические параллели между рядом сочинений Аввакума и «Повестью о Горе-Злочастии». Возможной верхней временной границей создания повести А. М. Панченко считал 1672 год. См.: Панченко, А. М. Повесть о Горе Злочастии // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII век). Ч. 3. С. 108.

[168] Демкова, Н. С. Русская проза XVII века в контексте традиции (Источники, поэтика, интерпретации). Диссертация в форме науч. доклада на соискание уч. степени док. филол. наук. СПб., 1997. С. 26–27.

придворного театра царя Алексея Михайловича, и одновременно источниками повестей, предназначенных для широкого круга горожан»[169].

При рассмотрении произведения, относящегося к переходному этапу в развитии русской литературы, как уже было сказано, внимание исследователя направлено на изучение и описание новаторских приемов автора, которые придают произведению художественную оригинальность. При этом средневековые приемы оттесняются или трактуются как типичные для средневековой литературы. Но следует иметь в виду, что библейская книжная традиция, на основе которой формировалась средневековая русская словесность, в переходный период развития не утратила своей определяющей роли в процессе создания новых произведений.

Автор книжных произведений, принадлежащих переходной эпохе, создавая свое произведение, либо следовал уже разработанной схеме сюжета, закрепленной в библейской традиции, либо трансформировал ее, вводя новые художественные приемы. «Повесть о Горе-Злочастии» в этом случае показательна в том плане, что демонстрирует тесное переплетение старой и новой традиций, и это свидетельствует об активном поиске автором второй половины XVII века иного художественного метода.

Прежде всего отметим в памятнике присутствие библейских тем и мотивов. Одним из основных сюжетообразующих мотивов является легенда о грехопадении Адама и Евы. Интерпретируя ее, автор, тем не менее, придерживается свойственной для средневековой книжности морали: источником всех бедствий и страданий человека является его греховность. Вторым сюжетообразующим мотивом в «Повести... » является евангельский мотив блудного сына (Лк. 15: 11–32), отчетливо прослеживающийся на протяжении всего повествования.

Влияние средневековой книжной традиции на создание «Повести о Горе-Злочастии» в свое время отмечалось большинством исследователей памятника

---

[169] Демкова, Н. С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. СПб., 1997. С. 135.

(Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, В. В. Кусков и др.). При этом их мнения при характеристике авторской позиции в «Повести... » были едины: автор пытается преодолеть старую традицию при изображении судьбы молодца. В итоге образ героя трактуется так: представитель «нового времени», старающийся «порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью»[170]. Конфликт повести, в конечном итоге, интерпретировался как конфликт «отцов и детей». Отметим, что подобная точка зрения долгое время сохраняла свои позиции и была широко представлена в комментариях, сопровождавших «Повесть о Горе-Злочастии» в изданиях XX века (хрестоматии, серийные издания произведений древнерусской литературы).

Однако сюжетопостроение повести намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Соответственно, и типология конфликта повести, природа звучащих традиционных средневековых мотивов может иметь неоднозначное объяснение. Именно подобный подход к интерпретации повести впервые нами был предложен еще в 1995 году в рамках доклада, прочитанного на научной конференции «Проблемы литературных жанров», проходившей в Томском государственном университете[171]. Нами была представлена другая точка зрения: внимание акцентировалось на значимости средневековой традиции, которая полностью не отвергается автором, а, наоборот, активно себя проявляет на уровне мотивов, использования приемов построения сюжета, создания образа главного героя. Именно по этой причине повесть требует дополнительного изучения, новых выводов, объясняющих художественную природу произведения. Как показало время, наш подход был верен, поскольку позже появились научные исследования «Повести о Горе-Злочастии», демонстрирующие неоднозначность ее художественного мира, в основе которого лежит и традиция средневековой книжности, евангельской притчи о блудном сыне, и элементы фольклорной поэтики. Именно в этом и проявляется ценность повести.

---

[170] Кусков, В. В. История древнерусской литературы. М., 1989. С. 237.

[171] Шунков, А. В. «Повесть о Горе-Злочастии» и традиция средневековой литературы // Проблемы литературных жанров. Материалы VIII научной межвузовской конференции 17–19 октября 1995 года. Томск, изд-во Томск. ун-та, 1996. Ч. I. С. 13–15.

Анонимный автор, принадлежа новому историческому времени второй половины XVII века, характеризующемуся динамикой, преодолением старых норм, создает произведение, демонстрирующее авторитетность и неоспоримость вечных ценностей, определяющих незыблемость человеческого бытия. Подобная ситуация, выходящая за рамки сюжета произведения и раздвигающая текстовые границы повести, с одной стороны, вписывает ее в контекст средневековой литературы, а с другой – придает онтологическое звучание повествовательной традиции, только начинающей оформляться в новых исторических условиях и открывающей для себя перспективы в литературе Нового времени.

Хочется сразу возразить по поводу утверждения исследователей, что наставления, получаемые молодцем от своих родителей, «добрых людей», совсем лишены религиозного характера, отходят от заповедей Божьих. Главная их особенность, по мнению историков литературы, заключается в том, что в первую очередь они учат героя житейской мудрости: как и при помощи чего возможно достичь благополучия. Однако советы, с внешней стороны якобы передающие житейскую мудрость, на самом деле в своей основе ориентированы на евангельские заповеди: «не лги», «не прелюбодействуй», «не укради», «возлюби ближнего», «почитай отца с матерью» и др.:

> еще, чадо, не давай очамъ воли,
> не прельщайся, чадо, на добрых красных женъ,
> <...> не думай украсти, ограбити,
> и обмануть, солгать,
> и неправду учинить.
> Не прельщайся, чадо, на злато и сребро,
> не збирай богатства неправого,
> не буди послух лжесвидетhльству,
> а зла не думай на отца и матерь
> и на всякого человhка,
> да и тебh покрыет богъ от всякого зла (С. 30)[172].

Как только герой отходит от христианской морали, он оказывается во власти гордыни. Поэтому автор не мог допустить, чтобы герой за совершенный грех остался безнаказанным. В связи с этим все несчастья, обрушивающиеся на

[172] Здесь и далее текст цитируется по изданию: Повесть о Горе-Злочастии // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М.: Художеств. лит, 1988. Кн. I. С. 28–38 (с указанием страниц в скобках).

молодца, являются следствием его греховности, наказанием за содеянное. Да и сам герой причины своих бед видит в нарушении родительских советов:

ослушался язъ отца своего и матери, –
благословление мнh от них миновалося;
господь богъ на меня разгнhвался
и на мою бhдность великия
многия скорби неисцhльныя
и печали неутhшныя,
скудость и недостатки и нищета послhдняя (С. 32–33).

С точки зрения автора, это и есть грех, за который следует расплачиваться:

И по грhхомъ молотцу <...> (С. 34).

Отсюда следует, что автор основную свою цель видит в том, чтобы показать правоту, неоспоримость вековых традиций. При всем своем сочувственном отношении к герою автор заставляет его пройти через испытания, которые впоследствии укрепят молодца в истинности заповедей, отвергнутых им в начале своего самостоятельного пути. Опираясь на опыт предшествующих поколений, автор делает ряд выводов, например:

А *всегда* гнило слово похвальное,
похвала живетъ человhку пагуба (С. 34).

Таким образом, автор на протяжении всего повествования подчеркивает преимущество проверенных временем устоявшихся норм бытия, образа жизни, которые заключаются в «прямом смирении», здесь же одновременно звучит осуждение попытки молодца жить своим умом.

Однако нельзя не согласиться с тем утверждением исследователей, что в литературе XVII века появляется новое представление о судьбе человека – индивидуальной, не зависящей от судьбы рода. Но «родовое» начало в повести постоянно доминирует над индивидуальным, личностным. Доказательством тому служит зачин повести, где автор показывает читателю, к чему может привести нарушение «заповеди законной»:

И за то на них господь богъ разгнhвался,
положил ихъ в напасти великия,
попустилъ на них скорби великия
и срамныя позоры немhрныя,

безживотие злое, сопостатныя находы,
злую немhрную наготу и босоту,
и безконечную нищету и недостатки послhдние (С. 29).

Из этого можно сделать вывод, что непокорность, нарушение «заповеди Божественну» изначально осуждаются автором и оцениваются как недолжное. Весь дальнейший рассказ о судьбе молодца является подтверждением идеи, высказанной в зачине.

В научной литературе, посвященной изучению этого памятника, отмечается стремление молодца «жити, как ему любо», найти свою судьбу. Тем не менее, даже при всей, казалось бы, обрушившейся на него свободе, герой остается связанным с судьбой предшествующих поколений. Молодец пытается жить по советам «добрых людей», то есть опирается на опыт старших, руководствуется судьбой своих предков. И эта связь молодца с судьбой рода не прерывается на протяжении всего повествования. После первых своих неудач герой возвращается к исходной ситуации, старается придерживаться законов, установленных Богом:

Учинил богъ заповhдь законную:
велhлъ он бракомъ и женитбам быть
для рождения человhческаго и для любимых дhтей (С. 28).

Молодец в дальнейшем старается поступать согласно этим заповедям:

<...> и учал он жиги умhючи,
от великаго разума
наживал он живота болши старова,
присмотрел невhсту себh по обычаю –
захотhлося молотцу женитися (С. 33).

Пока герой соблюдает заповеди рода, Горе-Злочастие его не может одолеть. Лишь после того, как молодец нарушает семейный закон (отказывается от женитьбы и отпадает от человеческого рода, отделяется от него), он оказывается беззащитным перед лицом Горя-Злочастия. Но герой постоянно помнит о своей принадлежности к роду даже в те моменты, когда он напрочь оторван от родного очага:

Стало срамно молотцу появитися
к своему отцу и матери,
и к своему роду и племяни (С. 31).

Кроме того, после неудавшейся попытки жить по своему усмотрению, после многочисленных приключений, странствований молодец одержим желанием вернуться в родительский дом:

И оттуду пошелъ молодецъ *на свою сторону* (С. 37).

Интересной представляется следующая деталь: даже само Горе говорит о своей принадлежности к роду:

Не одно я, Горе, еще *сродники,*
а *вся родня* наша добрая,
всh мы гладкие, умилныя,
а кто *в семю к нам* примhшается,
ино тот *между нами* замучится,
такова *у нас* участь и лутчая (С. 37–38).

Уход молодца в монастырь в финале повести как раз и показывает давление родового, коллективного над личностным. Покинув свою семью, герой вновь ее находит, но теперь уже в стенах монастыря. И в этом поступке молодца, по нашему мнению, автор показывает не попытку героя «отгородиться от жизни» а, наоборот, желание героя воссоединиться с родом (с семьей, монастырской братией), приобщиться к вечному и незыблемому, встать на путь истинный.

Таким образом, вступление и финал тесно взаимосвязаны друг с другом. Начиная свое повествование с рассуждений о судьбе человеческого рода, автор уже в предисловии намечает тот путь, который затем проделает молодец. Автором упоминаются все последствия, обрушившиеся на человеческий род за совершенные прегрешения, и указывается истинный путь к спасению:

<...> все смиряючи насъ, наказуя
и приводя нас на спасенный путь (С. 29).

Иными словами (как неоднократно упоминалось в исследовательской литературе), история человеческого рода, представленная в начале повести, есть проекция на судьбу молодца. Автор приводит героя к воссоединению с родом человеческим. Последнее замечание, на наш взгляд, для автора представляет большую значимость. Недаром герой попадает именно в монастырь. Как известно, монастырь (храм) в представлении народа – это место хранения закона

Христа, религиозная ценность, «которую народ живо и сильно чувствует, даже не умея назвать ее». Монастырь, «храм является особым средоточием Божественной энергии, разлитой в мире, которая спасает»[173]. Можно также утверждать, что финал истории молодца изначально предрешен, и автор придерживается схемы, намеченной во вступлении. Интерпретируя евангельский сюжет притчи, автор тем не менее не подвергает трансформации основную идею евангельского аполога: «… утверждает вечность, непреложность гармонии, долженствующей существовать в отношениях между человеком и Богом-творцом: искреннее покаяние возвращает человека к Богу, а милосердие Божие избавляет людей от самого страшного греха – греха отчаяния»[174].

Подытоживая вышесказанное, отметим: мотивы и образы библейской книжности в повести значительны и многообразны. В ходе своих рассуждений мы сделали попытку доказать, что учительная, дидактическая традиция присутствует в повести и имеет немаловажное значение.

Автор пытается построить свое произведение по законам средневековой литературы, в повести присутствуют реминисценции, которые отсылают читательское внимание к текстам средневековой книжности. Начиная свое повествование с размышлений о судьбе человеческого рода, автор тем самым придерживается абстрактного способа повествования. Абстрагированность обусловлена масштабностью стоящей перед ним задачи: показать истоки греха. Однако в дальнейшем автор меняет свою манеру письма, пытается достичь своей цели, доказать неоспоримость средневековой морали не с помощью привычного христианского нравоучения и дидактизма, а совсем иным способом. Используя прием типизации, на примере судьбы молодца показывает правоту и нерушимость установленного порядка, дает читателю самому, без авторской указки, увидеть, к чему может привести отступничество от общепринятых и проверенных жизнью норм. Иными словами, от привычных абстрактно-религиозных рассуждений о

---

[173] Федотов, Г. Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам). М., 1991. С. 92.

[174] Демкова, Н. С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова, Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. СПб., 1997. С. 139.

грехе, пороке автор прибегает к использованию конкретно-наглядного образца, который выполняет в повести традиционную притчевую функцию и служит ярким примером для читателя.

Таким образом, анонимная беллетристическая повесть второй половины XVII века демонстрирует секуляризированный тип сознания автора, создающего текст на основе смешения повествовательных традиций. «Повесть…» оригинальна и необычна не только по своей форме (стихотворная форма произведения – это та особенность, которая сразу же стала предметом обсуждения в исследовательской литературе, посвященной «Повести…», с момента ее обнаружения в 1856 году А. Н. Пыпиным). Оригинальность повести заключается в авторской модели построения самого текста, обладающего внутренней динамикой.

В повести отсутствует статичность, автор на протяжении всего сюжета повести создает для своего героя ситуацию порога, перехода через какую-либо преграду, переступая которую, он либо падает, либо вновь возвышается. Постоянное нахождение молодца между полюсами, его перемещение в пространстве жизни позволяет читателю сосредоточиваться не только на событийной стороне жизни молодца и Горя-Злочастия, но и наблюдать процесс внутреннего преображения молодца, усвоение и добровольное принятие им заповедей божественных. Здесь еще раз можно повторить мысль, ранее уже озвученную: значение повести как раз заключается в том, что она выходит за рамки традиционного средневекового понимания типологии персонажа, основанного на дуалистической концепции (святой – грешник). Автор, используя традиционный бинарный прием построения системы персонажей повести (молодец – Горе-Злочастие), тем не менее, усложняет это противостояние и уходит от однозначной мотивировки поступка, совершаемого персонажем произведения.

В связи с этим приобретает совершенно новый аспект и проблема рассмотрения жанрового своеобразия «Повести…». Ранее в науке (в XIX–XX веках) уже были высказаны на этот счет несколько точек зрения, актуализирующих сложность жанровой природы «Повести…». Каждая из них

выделяла только одну какую-либо черту жанрового своеобразия памятника: фольклорность (сказка, песня, былина, духовный стих и т. д.), притчевая иносказательность, сатира и др. Однако В. В. Лепахиным предложен совершенно иной вариант решения проблемы: «Повесть является (так она и воспринимается) целостным произведением как по своему содержанию, так и по жанру»[175], абсолютно соответствуя требованиям переходного времени, в рамках которого она создается анонимным автором. «Повесть…» можно рассматривать как выражение авторского видения мира, его сложных и не поддающихся однозначному объяснению причинно-следственных связей. Также отмечалось, что повесть не является единичным примером подвижности текста в XVII веке. Сам факт существования ряда анонимных произведений беллетристического характера («гибридного вида, который в условиях переходного времени для литературы уже не определяет стилистическую и сюжетную целостность произведения»[176]) в условиях складывающейся новой повествовательной традиции демонстрирует масштабы процесса секуляризации литературного творчества XVII века, получившего массовое распространение. И доказательством тому являются не только анонимные повести второй половины XVII века, но и беллетристика первой трети XVIII столетия – так называемые «гистории» петровского времени.

1.6. «Блудный сын» Петровского времени: новые аспекты в интерпретации евангельского мотива в русской беллетристике первой трети XVIII века («Гистория о Василии Кориотском…», «Гистория о храбром российском кавалере Александре…»)

Переходные тенденции в русской литературе второй половины XVII века, связанные с секуляризацией мировоззрения автора, получат свое дальнейшее развитие в беллетристике петровского времени, подводящей итог средневековой

[175] Лепахин, В. В. Особенности композиции «Повести о Горе-Злочастии» // Studia Slavica Savariensia 2007. С. 286.
[176] Охтень С. А. Идейно-художественное своеобразие «Повести о Горе-Злочастии» в ее отношении к книжной и фольклорной традициям Древней Руси: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2002. 26 с.

повествовательной традиции и открывающей одновременно новую страницу в истории русской литературы. Свидетельством переходности, как неоднократно уже отмечалось в исследованиях, является динамика жанровой системы[177], появление и утверждение новых представлений о литературном творчестве, новых способов выражения авторского взгляда на традиционные общечеловеческие вопросы, приводящие к появлению интерпретаций традиционных повествовательных мотивов. Показательным примером того, как в меняющихся историко-литературных условиях происходит формирование новой художественной картины мира, модели героя, может быть прочтение автором первой трети XVIII века евангельского текста, на основе которого создается новое произведение. Эти изменения свидетельствуют об эволюции авторского мировоззрения, с позиции, отличной от средневековой, интерпретирующего евангельский сюжет.

Как неоднократно отмечалось, русская литература с момента ее появления неразрывно была связана с евангельским словом, определявшим ее характер и формировавшим мировоззрение книжника (автора). Евангельский текст[178] привнес в русскую культуру определенный духовный идеал человека, видевшего смысл своего земного существования в приготовлении себя к жизни вечной. Евангельский текст сформировал и особое авторское мировоззрение русского книжника, заключающееся в эсхатологическом мироощущении, эволюционировавшем на протяжении семи веков развития русской литературы[179] и в конечном итоге породившем противоположное христианской традиции понимание многих евангельских мотивов. Примером тому может служить мотив

---

[177] Подробнее об этом см.: Ужанков, А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2008. С. 341–391.

[178] Проблема изучения евангельского текста как основы русской литературы нашла свое воплощение в коллективном исследовании, инициированным в свое время кафедрой русской литературы и журналистики Петрозаводского университета. Результаты исследования представлены в серийном издании материалов по итогам Международной конференции «Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр» (1994, 1998, 2001, 2004, 2008).

[179] Эволюцию эсхатологической концепции, представленной в памятниках русской литературы XI–XVII веков, прекрасно показал проф. А. Н. Ужанков, автор теории литературных формаций и стадиального развития древнерусской литературы. См.: Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М., 2009. С. 85.

«блудного сына», получивший иную интерпретацию в русской беллетристике на завершающем этапе переходного периода русской литературы.

Притча о блудном сыне нашла свое художественное воплощение в многочисленных произведениях мировой литературы, и одновременно она же определила целое исследовательское направление в современном литературоведении – изучение евангельской традиции в нарратологии. Одним из первых научных трудов, в котором в историческом срезе русской литературы рассмотрена традиция притчи о блудном сыне, стал сборник статей «“Вечные” сюжеты русской литературы: “блудный сын” и другие»[180], положивший начало составлению словаря сюжетов и мотивов русской литературы[181].

Один из трех разделов первого выпуска словаря-указателя[182] снабжен примерами текстов русской литературы, в основе которых лежит сюжетная / мотивная традиция библейских и апокрифических текстов, в их число входит и сюжет притчи о блудном сыне[183]. «Такой выбор определен тем, что они (три основных раздела словаря-указателя. – *А. Ш.*) включают наиболее ранние типы сюжетов, появляющиеся в русской литературе на заре ее существования. <…> библейские сюжеты тесно связаны прежде всего с принятием христианства, с которого начинается и собственно русская литература…»[184]. Период древнерусской литературы представлен «Словом о полку Игореве» и «Комидией притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. Последнее произведение – наиболее яркий и, пожалуй, единственный пример переработки евангельского сюжета в литературе до Нового времени, который до этого оставался неприкосновенным. Литература переходного времени («раннего нового

---

[180] «Вечные» сюжеты русской литературы: («блудный сын» и другие) / под ред. Е. К. Ромодановской, В. И. Тюпы. Новосибирск: Ин-т филол. СО РАН, 1996 – 180 с.

[181] Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы: Сюжет и мотив в контексте традиции. Под ред. Е. К. Ромодановской. Новосибирск: Ин-т филол. СО РАН, 1998. Вып. 2. (Продолжающееся серийное издание).

[182] Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. Вып. 1 С. 243.

[183] Там же. С. 25–26.

[184] Ромодановская, Е. К. О структуре и принципах построения «Словаря-указателя сюжетов и мотивов русской литературы» // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. Вып. 1 С. 11.

времени»), как известно, начнет активно осваивать традицию притчи, при этом ее видоизменяя.

Характерно, что приводимая в словаре-указателе хронология литературных текстов, ориентированных на сюжет притчи, не проиллюстрирована примерами первой трети XVIII века. Однако петровское время не стало исключением и по-своему перерабатывало архетип – сюжет о блудном сыне, создавая свои варианты. Можно высказать предположение, что именно авторы петровского времени впервые предпринимают попытку переработки Евангелия. Начальным же звеном процесса осмысления евангельского сюжета[185] в литературе Нового времени, по нашему мнению, здесь по праву можно считать повести-«гистории» первых десятилетий Петровской эпохи, являющиеся переходным этапом от средневековой повести к беллетристике Нового времени. Это «Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли», «Гистория о храбром российском кавалере Александре и о любительницах его Тире и Элеоноре».

С момента обнаружения рукописи «Гистории о российском матросе Василии Кориотском…»[186], ее первой публикации Л. Н. Майковым в 1880 году[187] и введения повести в научный оборот в отечественной науке сформировалось устойчивое представление о повести как о наиболее репрезентативном произведении Петровской эпохи. Предметом специального исследования повести являлись такие вопросы, как определение ее западных источников – «Гистории о

---

[185] Авторы «Словаря-указателя сюжетов и мотивов русской литературы» пишут: «Во множестве произведений мировой литературы мы встречаемся как с сюжетом блудного сына, явно или (чаще) не явно, воспроизводящим событийную канву притчи из Евангелия от Луки, так и с мотивом блудного сына, актуализирующим ту же притчу в читательском сознании без воспроизведения ее сюжета в тексте» (Тюпа, В. И., Ромодановская, Е. К. Словарь мотивов как научная проблема // Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы: от сюжета к мотиву. Под ред. В. И. Тюпы. Новосибирск, 1996. С. 5).

[186] В. Д. Кузьмина указывала, что «Гистория…» дошла в трех списках XVIII века (Кузьмина, В. Д. Повести Петровского времени // История русской литературы: В 10 т. М.-Л.: АН СССР, 1941–1956. Т III: Литература XVIII века. Ч. 1. 1941. С. 119).

[187] Майков, Л. Н. Неизвестная русская повесть петровского времени. СПб., 1880.

гишпанском шляхтиче Долторне» (А. Н. Пыпин[188], Г. А. Гуковский[189]), ее взаимосвязь с русской повествовательной традицией XVII века и устным народным творчеством (В. Д. Кузьмина[190], Г. Н. Моисеева[191]), вопросы сюжетопостроения и жанрового своеобразия. Итогом изучения повести в XX столетии стали выводы, позволившие трактовать ее как произведение, в котором «нашел свое отражение новый тип личности, порожденный новым временем русской истории. Его новизна более всего заметна, может быть, потому, что проявляется она на фоне достаточно хорошо ощутимых традиционных черт положительного героя фольклорных жанров и древнерусской повести, <…> это центральное, первопричинное положение категории героя, которая обусловливает и сюжет, и композицию, и стиль повести, является одним из наиболее ярких показателей нового культурно-исторического мировоззрения, принесенного в русский быт западническими реформами Петровской эпохи» [192]. В подобной же художественной плоскости оценивается и другая анонимная повесть – «Гистория о храбром российском кавалере Александре и о любительницах его Тире и Элеоноре»[193], с явно выраженным любовно-авантюрным началом.

Однако названные выше повести могут представлять интерес еще и с точки зрения того, как авторы первой трети XVIII века в процессе создания своих повестей трансформируют традиционную схему архетипического евангельского

---

[188] Пыпин, А. Н. Из истории народной повести. «Гистория о гишпанском шляхтиче Долторне» как вероятный источник повести о российском матросе Василии. СПб.: Типография В. Балашева, Екатерининский канал, 78, 1887.

[189] Гуковский, Г. А. Хрестоматия по русской литературе XVIII века. Для высших пед. учебных заведений. М.: Учпедгиз, 1935. 320 с. (2-е изд. в 1937 году; 3-е изд. в 1938 году).

[190] Кузьмина, В. Д. Указ. соч.

[191] Моисеева, Г. Н. Гистория о российском матросе Василии Кириацком. (К вопросу о составе и происхождении повести) // Труды отдела древнерусской литературы. М.: Л., 1954. Т. 10. С. 358–389. Согласно исследованиям В. Д. Кузьминой повесть сохранилась в 12 списках XVIII века (См. Кузьмина В. Д. Указ. соч. С. 125). Однако позволим себе назвать еще один список данной повести 80-х годов XVIII века, хранящийся в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (шифр В-24.781). На данный список наше внимание обратила В. А. Есипова, зав. сектором отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ.

[192] Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000. С. 26, 28

[193] Моисеева Г. Н. Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л., 1965; История о российском дворянине Александре // Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб., 2009. С. 416–460.

сюжета[194], представляя различные его вариации в пределах одной историко-литературной эпохи.

Обе повести одинаково изображают начало событий: сыновья знатного дворянского происхождения (на что уже указывают как имена самих героев – Василий и Александр, так и их отцов – Иоанн и Димитрий) покидают родительский дом, получив благословление:

> Во едино же время оный сын его рече отцу своему: «Государь мой батюшко! Прошу у тебя родительского благословения, изволь меня отпустить в службу… (Гистория о Василии Кориотском, С. 50)[195].
>
> Егда александръ умеренную силу всебе позналъ ідвонадесятныі возрастъ приспе…, пришел ко отцу своему дмитрию іпросил сице: "…взял намерение вначале благословение ікпутешествованию позволения увас іспросити. … Іегда александръ благословение іпозволение получилъ, ісполнился великоі радости, повеле седлати конеи…отдому отиде (Гистория о российском дворянине Александре, С. 416–417)[196].

Как видим, традиционного для притчи сюжетной завязки разрыва связи героя с родом не происходит. Василий и Александр покидают дом, получив благословение, и поступают в этой ситуации как воспитанные отроки своего времени, достойные славы своих отцов:

> В Российских Европиях некоторый живяше дворянин, имяше имя ему Иоанн, по малой фамилии Кориотский. Имел у себя сына Василия, лицом зело прекрасна (С. 50).

---

[194] Сюжетная схема евангельской притчи о блудном сыне (Лк 15: 11–32) подробно в свое время была описана в статьях, опубликованных в серийном издании «Материалы к словарю сюжетов и мотивов», а также в 1 выпуске «Словаре-указателе сюжетов и мотивов русской литературы». См.: Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. Вып. 1. С. 25. Сюжетная схема притчи состоит из 4-х основных фаз: уход из родительского дома →неправедная жизнь, растрата наследства, потеря человеческого облика → возвращение в отчий дом, раскаяние → радость отца и пир.

[195] Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли // Русская литература XVIII века / сост. Г. П. Макогоненко. Л., 1970. С. 50–58. Здесь и далее текст цитируется по приведенному изданию с указанием страниц в скобках.

[196] История о российском дворянине Александре // Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб., 2009. С. 416–60. В дальнейшем текст цитируется по приведенному изданию с указанием страниц в скобках.

> Вроссиі, встолничномъ граде москве, был неки знатьнь дворянинъ, іменемъ димитри, добронаравиемъ, смелством, храбростию іудчивством зело украшенъ іковсякому добродеянию весма был рачителен ібедных призирал, зачто ему всемогуіщи богъ даровал сына лепообразна юношу, которому равное красоте ево імя дадеся александръ (С. 416).

Отметим, что в обоих случаях авторы анонимных повестей талантливо используют в художественных целях смысловые оттенки имен главных героев: имя Василий (др.-греч. βασίλιος – «царский, царственный») уже изначально определяет судьбу героя – будущего правителя Флоренции. При имеющихся сюжетных несостыковках в повести[197] Василий ни разу не нарушил тех заветов, которые он получил в отчем доме, одним из которых является почитание старших. Эта евангельская заповедь, равно как и другие, будет включена в «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717 года): «*В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой чести содержать*». Василий на протяжении всего своего пути остается верным полученному благословению отца, не отступает от него, что в итоге и гарантирует ему преимущество в любой сложной ситуации между жизнью и смертью. Однако, оказываясь в вихре судьбы и при этом теряя все, что ранее было получено, герой обретает большее, при этом сохраняя свои добродетельные качества: «… Любой поворот в биографии Василия… приводит гражданина “Российских Европий” к самому высокому положению, возможному в данной ситуации. <…> Все сюжетные эпизоды повести <…> выстроены по принципу контраста, перепада жизненных ситуаций от счастья к несчастью, от бедности к благополучию, в которых лучше всего могут проявиться личные достоинства и свойства характера»[198].

---

[197] Так, например, попав в Вену с королевной Ираклией, Василий забывает о своем отце, о котором постоянно помнил до этого сюжетного момента. См.: Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб., 2009. С. 114.

[198] Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000. С. 25–26.

Имя героя «Гистории о храбром российском кавалере Александре…» (др.-греч. Ἀλέξανδρος) не может не вызвать ассоциации, подкрепляемые сюжетными совпадениями, с Александром Македонским, известным русскому читателю по переводному греческому роману «Александрия» (XII–XIII века). Как один из примеров совпадения – внезапная смерть героев в финале, обрывающая их жизнь в зените славы.

Таким образом, зачины двух «гисторий», на первый взгляд соответствующие начальной фазе сюжета притчи о блудном сыне, на самом деле позволяют говорить о трансформации традиции евангельского текста. Уход сына из дома не вызывает авторского осуждения, не осмысливается как совершение ошибочного поступка с греховной коннотацией в своей основе. Перед нами образ идеального молодого человека Петровской эпохи, соответствующий секуляризированным моральным заповедям, изложенным в «Завете» эпохи Петра I – «Юности честное зерцало…».

Влияние идей памятника в этом случае нельзя недооценивать. По сути именно данный текст замещает собою евангельский, определяя характер мыслей, речей и поступков героев. И Василий, и Александр уже в начале ведут себя согласно дидактическим наставлениям, и их желание покинуть дом отца в контексте исторической эпохи Петра I вполне законно и не может быть осуждаемо:

> Государь мой батюшко! Прошу у тебя родительского благословления, изволь меня отпустить в службу… (Гистория о Василии Кориоткском, С. 50).
>
> Знаю, государи, что горячность іотеческая любовь ваша кразлуке конечно совһтоват(ь) небудетъ, однакожь покорнеиши прошу, учините мя равно сподобными мне: ібо чрез удеръжание свое можате мне вечное поношение учинити, – ікако могу назватися ічем похвалюся? нетокмо похвалитися, ноидворяниномъ назватися небуду достоин! сотворите милость, недопустите довечного позору! (Гистория о российском дворянине Александре, С. 416).

В «Гистории о российском дворянине Александре…» сохранение традиции евангельской притчи можно заметить лишь в сцене прощания родителей со своим отроком, который вместе с благословением получает и «*2 колца золотые здрагоценными камени подзапрещениемъ, ежебы недля какоі страсти никому не отдават(ь)*» (С. 417). Данный фрагмент может быть прочитан как смысловая цитата притчи о блудном сыне:

> Отче! дай мне следующую мне часть имения. <…> По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно (Лк 15: 12–13)[199].

Александр впоследствии так же, как и герой притчи, нарушает родительский завет, предаваясь в городе Лиле веселию и растрачивая наследство («*іжил долгое время ввеликихъ забавахъ*», С. 417). Правда, в варианте «гистории» данный эпизод претерпевает изменения, благодаря привнесению в повесть любовно-авантюрного начала: Александр, прельщенный красотою пасторской дочери Элеоноры, отдает кольцо, обещая ей верность в любви:

> Азже необретохъ крепчаишаго обязателства, кроме зде положенного колца, которое мне назнакъ памети отродителеи моихъ дано подтяшким запрещением, ежебъ того доразлучения тела моего здушею нидля какоі страсти неотдавать. Івы сие колцо приімите, істолко храните, сколко я вам надобен… (С. 422).

Другой фазой архетипического сюжета о блудном сыне является пребывание героя в чужом мире и растрата им полученного наследства отца. Как известно, восприятие и оценка иного мира, противопоставленного миру родного дома, в художественной традиции неизменно несет в себе значение испытания героя, сопряженного с возможной потерей или гибелью. Для обеих повестей характерно расширение европейского пространства (Франция, Голландия, Англия, Австрия, Египет – это те топосы, в пределах которых происходят события «гисторий»). В евангельской традиции пребывание героя притчи в чужом мире приводит к физическому и духовному оскудению, что подтверждается сценой вкушения

---

[199] См. также Калинович, М. Я. «Повесть об Александре, российском дворянине» и «Повесть о Петре Златых Ключей». В кн.: Филологический сборник, № 8. Киев, 1956. С. 192–194.

пищи вместе со свиньями («*и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему*»). Однако герой должен пройти это испытание, поскольку оно дает ему возможность осмыслить свой грех и раскаяться в нем.

Повести Петровского времени впервые в истории русской литературы изображают инокультурный мир Европы без отрицательной оценочности. Характерно, что и сама Россия, именуемая теперь как «Российские Европии», в этом контексте также осмыслена уже как часть Европы. Поэтому в анонимных повестях первой трети XVIII века переход героя из одного пространства в другое не может вызывать каких-либо негативных оценок его поступка со стороны автора. В этом конкретном случае повести петровского времени как нельзя лучше иллюстрируют появление и утверждение новой идеологии, в основе которой лежит новая знаковая система с новым оценочным ее наполнением. «“Отрицательные” культурные поступки Петра I в своем большинстве преследуют одну цель – изменить оценочный смысл тех или других значимых для национального сознания явлений, то есть культурных знаков. <…> предпринимается жесткая попытка сменить отрицательную оценку положительной»[200]. Поэтому изменение старой евангельской аксиологии становится особо заметно в обоих случаях в тех сюжетных эпизодах повестей, где Василий и Александр странствуют по Европе. В сюжетной схеме притчи о блудном сыне это третья, условно выделяемая фаза повествования. Однако «блудные сыновья» петровского времени, оказавшись в чужом мире, не стремятся к тому, чтобы его покинуть. Наоборот, чужая страна не вызывает какого-либо ощущения ее инородности для героя. Так, например, Василий Кориотский, оказавшись в Голландии, поступает на службу к купцу, который замещает собой образ реального отца, оказывает русскому моряку покровительство «*и зело возлюбил ево*». В повести о кавалере Александре герой также более чем доволен миром, в который попадает по своей воле и страстному желанию.

[200] Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб., 2009. С. 45.

> Ікакъ вблизости достигъ іоко его зрети красоту града оного допустило, товсемъ сердоцемъ возрадовался, якобы что ісвое получил. <…> іжил долгое время ввеликихъ забавахъ такъ, что живущее вооном граде лилле, красоту лица іостроту ума его усмотря, между всеми приезжими ковалеры первинствомъ почтили (С. 417).

В данном случае нельзя не увидеть здесь инверсии евангельской традиции:

> Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему (Лк 15: 14–16).

Отрицательная оценочность последствий поступка, совершенного героем притчи, заменяется положительной коннотацией в повестях-гисториях. Объяснением подобной трансформации архетипической евангельской сюжетной схемы является следующее: та картина мира, которая создавалась в литературе начала XVIII века, заключает в себе государственную идею, и высшей ценностью для человека становится идея самого государства, заменившего собой образ Небесного Отца, к которому и припадает блудный сын в финале притчи, прося у Него прощения:

> Сын же сказал ему: Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим» (Лк 15: 21).

Авторы Петровской эпохи радикально переосмысливают евангельскую притчу о блудном сыне и в художественном повествовании создают новый образ героя своего времени, способного найти в себе силы бросить вызов судьбе и не жалеть о совершенном поступке – бегстве из родительского дома. В этом случае герои повестей петровского времени с художественной стороны максимально точно могут быть названы прототипами исторических персонажей эпохи первой трети XVIII века – сыновей своего времени, совершивших бегство из дома и вернувшихся в него, но уже без покаяния – финального эпизода евангельской притчи. Примером такого «блудного сына» эпохи может быть назван

М. В. Ломоносов, чья биография также прочитывается как роман, в котором происходит трансформация традиционного сюжета притчи.

Нарушение сюжетной схемы евангельской притчи наблюдается и в рассматриваемых нами повестях. Наиболее заметно отступление от традиции и одновременно ее усложнение в финале «Гистории о храбром российском кавалере Александре…», когда создается ситуация замещения погибшего героя (Александра) другим (Владимиром), который и принимает на себя функции возвратившегося «блудного сына» в дом отца:

> … во отечество свое благополучно доіде; Александровым же родите(ле)м несщастие ево обявил, которые, по многим рыданием и плача владимера, вместо Александра, наследником учинил(и). (С. 460)

Финал другой повести «Гистория о Василии Кориотском…» предстает как в традиции средневековой поэтики, так и в рамках новой. С одной стороны, событийный ряд финала повести укладывается в привычную формулу: автор завершает повествование описанием женитьбы Василия на Ираклии, благословением этого брака в церкви:

> Король Флоренский дочь свою, прекрасную королевну Ираклию, отпусти с Василием к законному браку к кирке. И венчались в той кирке… (С. 58).

Последовавший за этим событием пир («*и было великое веселие во всей Флоренции три недели*») соответствует евангельскому символу пира в притче о блудном сыне:

> А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться (Лк. 15: 22–24).

Однако здесь происходит семантическое усложнение традиционной схемы притчи. Герой не просто обретает большее и восстанавливает свое имя, пройдя испытания лишением, бедностью, но в итоге сам становится «Отцом Отечества» –

королем Флоренции («*Василий спустя время… после короля Флоренского был королем Флоренским»)*, в руках которого теперь находятся судьбы его подданных, и он вправе вершить над ними суд, как его предшественник – отец Ираклии:

> Василий повеле адмирала пред войском цесарским вывесть и с живого кожу снять, а генералу цесарскому король Флоренский и Василий даша великие дары и всему войску цесарскому жалованье» (С. 58).

Таким образом, проведенное исследование на основе двух анонимных повестей петровского времени (энциклопедичных по своей художественной природе) с целью выявления в них традиции архетипического сюжета евангельской притчи подтверждает ранее сделанные выводы: многие древние сюжеты, к числу которых принадлежит и сюжет «блудный сын», способны видоизменяться в зависимости от эстетических представлений определенной исторической эпохи. Эпоха первых десятилетий XVIII века в этой ситуации не стала исключением, представив в изменившихся историко-культурных обстоятельствах свое видение и понимание проблемы идеального героя своего времени.

* * *

Задача, которая ставилась в первой главе, – рассмотреть процесс трансформации средневековой книжной традиции и мотива в условиях переходного времени.

Предметом анализа стали произведения, демонстрирующие два разных типа словесного творчества переходного времени. Одни относятся к так называемой «придворной» литературе и культуре (произведения, непосредственно имеющие отношение к литературной деятельности царя Алексея Михайловича), другие представляют беллетристическую традицию «демократической» анонимной литературы рубежа XVII–XVIII веков. В то же время исследуемые нами произведения имеют разную жанровую природу, что позволило в более широком

диапазоне показать процесс динамики традиционных сюжетов средневековой литературы (успения, блудного сына) и на их примере выявить характерные особенности, определяющие поэтику текста переходной эпохи.

В первую очередь стоит отметить, что большинство процессов, происходивших в литературе переходного периода, имеют истоки в недрах национальной культуры и не являются фактом внешнего заимствования, переноса из инонациональных культур. Масштабы процессов динамики жанровых форм, сюжетопостроения, мотивного комплекса, как показало исследование, проявили себя не только в беллетристике (бытовые повести рубежа XVII–XVIII веков), но и в произведениях церковно-обрядового характера, каким и явилось в данном случае «Сказание об Успении Богородицы».

«Сказание об Успении Богородицы», ориентированное на богослужебную практику и призванное в своем изложении события евангельской истории следовать канону, в то же время отразило видение и понимание редактора, каким должен быть новый вариант текста «Сказания…». На фоне картины традиционных для средневековой эпохи признаков, одним из которых является синкретичность иконописного и книжного сюжетов, были отмечены и новые особенности поэтики обрядового текста. Таковыми стали элементы драматизации изображения за счет включения диалогов героев, использования приемов динамики в изображении событий, усиления риторического, декларативного начал, описания определенных жестов действующих лиц, с помощью которых раскрывается внутреннее состояние, эмоции и переживания персонажей. В совокупности все эти признаки можно назвать провозвестниками барочной традиции в русской книжной культуре второй половины XVII века. Но если принять во внимание, что «Сказание…» редактировалось в начале 50-х годов XVII века, то становится ясно, что истоки барокко в России возможно увидеть не только в заимствованиях из польской и белорусской традиций, но и в недрах своей национальной культуры.

Признаки нового типа текста были отмечены и в другом памятнике («Повесть о преставлении патриарха Иосифа»), непосредственно уже принадлежащем руке

Алексея Михайловича и иллюстрирующем новые авторские приемы при изображении события смерти, перенесенного уже в бытовую плоскость. Написанная в одно время (начало 50-х годов XVII века) со «Сказанием об успении Богородицы», «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» демонстрирует те же признаки барочной культуры в изображении основного события – смерти главного героя: динамизм, экспрессия жестов, драматизм поведения героя в кульминационные для него точки времени и др.

Все это говорит о том, что русская литература за несколько десятилетий до того, как барочные элементы проникнут извне, была подготовлена к усвоению иной художественной парадигмы благодаря внутренним процессам, приведшим к поиску и использованию в литературной практике новых книжных приемов.

К признакам, определяющим поэтику переходного текста, может быть отнесена и новая концепция времени и человека, репрезентирующая приоритет земного существования человека, его земных желаний и страстей. Проявление этого признака возможно было увидеть в «Статейном списке 1652 года» («Повести о преставлении патриарха Иосифа») при натуралистичном описании агонии героя, его предсмертных мук, развенчивающих образ идеального пастыря.

На примере других произведений, принадлежащих «демократической» литературе переходного периода, возможно увидеть дальнейшую эволюцию художественных приемов, благодаря которым известный евангельский сюжет, один из самых популярных в европейском искусстве, обретает свою вариативность в русской повествовательной традиции конца XVII – начала XVIII века.

Анализ двух повестей показал, что в одном случае для текста («Повесть о Горе-Злочастии») переходной эпохи свойственно стремление не только к новизне, но и к сохранению старой традиции, проявляющееся в абстрагировании и типизации героя, использовании художественных образов, «которые в системе византийско-славянской книжной традиции играли роль символов-первообразов,

позволяющих начитанному читателю мгновенно “принять” семиотический сигнал, отправленный автором».[201]

Повести начала XVIII века (Петровской эпохи), продолжающие традицию повестей конца XVII века, в русской литературе демонстрируют еще один признак, определяющий поэтику произведений «переходной эпохи», – это энциклопедичность сюжета, тяготение к построению более сложных сюжетных схем. Примером тому явились две повести («Гистория о российском матросе Василии Кориотском» и «Гистория о храбром российском кавалере Александре…»), в основе сюжета которых лежит схема архетипичного сюжета о блудном сыне, но значительно усложненная параллельными нарративными линиями, придающими повествованию светский и развлекательный характер. В итоге раскаивающийся «блудный сын» повестей XVII века трансформируется в новый тип героя, нацеленного на покорение и обретение большого европейского пространства и осознающего себя в новом времени.

[201] Демкова, Н. С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники. СПб., 1997. С. 135.

Глава 2

СОБЫТИЕ И ГЕРОЙ В КНИЖНОЙ ТРАДИЦИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

2.1. Восприятие времени и его изображение в документальной книжности второй половины XVII века («Дневальные записки приказа Тайных дел»)

«Дневальные записки приказа Тайных дел» («летопись правительственной и служебной деятельности»[1], «своеобразная хроника частной жизни царя»[2]) – известный как памятник документальной книжности второй половины XVII века на протяжении всего XX столетия оставался в отечественном литературоведении вне поля интересов специалистов по изучению истории древнерусской литературы. Данный памятник книжной культуры, принадлежащий переходному периоду, с момента его первой публикации[3] ни разу не переиздавался и не включался ни в одну из известных хрестоматий по древнерусской литературе. Причиной сложившейся ситуации вокруг этого произведения является его особая жанровая природа, определившая характер содержания и исключающая возможность активного использования в повествовании каких-либо ярких, с точки зрения литературного творчества, сюжетных эпизодов. Единственная попытка представить его как памятник литературы с особой художественной природой была предпринята нами в статье «Семиотика времни в книжном документальном тексте второй половины XVII века (на примере “Дневальных записок приказа Тайных дел”)»[4].

Изданные в начале XX века С. А. Белокуровым «Дневальные записки приказа Тайных дел», бесспорно, имеют ценность как исторический документ: они дают возможность ознакомиться с событиями из жизни двора царя Алексея

---

[1] Забелин, И. Е. Разрядные книги // Забелин, И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 466.

[2] Зиборов, В. К., Лобачев, С. В. Алексей Михайлович // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб. Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3 (XVII ввек). Ч. 1. С. 71.

[3] Белокуров, С. А. Дневальныя записки приказа Тайных дел. М., 1908.

[4] Шунков, А. В. Семиотика времени в книжном документальном тексте второй половины XVII в. (на примере «дневальных записок приказа Тайных дел») // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 51–55; URL: http://cyberleninka.ru/article/n/semiotika-vremeni-v-knizhnom-dokumentalnom-tekste-vtoroy-poloviny-xvii-v-na-primere-dnevalnyh-zapisok-prikaza-taynyh-del

Михайловича с 1657 года по 1675 год, воссоздавая в документальных записях повседневную жизнь монарха в течение 18 лет. Как известно, после смерти Алексея Михайловича его сын и наследник престола Федор Алексеевич в 1676 году приказ Тайных дел расформирует. Какова была функция Тайного приказа[5], созданного около 1653 года по указу царя Алексея Михайловича и ставшего его личной канцелярией? На этот вопрос впервые ответил в седьмой главе «О Приказех» сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича» подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин[6]:

> Приказ тайных дел, а внем сидит диак, да подъячих с 10 человек, и ведают они дела всякие царские, тайные и явные; и в тот Приказ бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя. <...> А устроен тот Приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела исполнялися все по его хотению, а бояре и думные люди о том ни о чем не ведали.

Приведенная цитата из сочинения Григория Котошихина (о котором речь также пойдет в отдельной главе диссертации) определяет ту роль, которую играл приказ при царе Алексее Михайловиче. В ответе на поставленный вопрос историки единодушны в своем мнении: это была личная канцелярия государя, которой поручалось вести дела, находившиеся в поле постоянного внимания государя. Сами подъячие приказа были наделены особыми полномочиями, позволявшим им беспрепятственно вмешиваться в дела бояр, находившихся на государевой службе, и обо всем докладывать царю. По мысли Котошихина, страх перед ложным наветом со стороны подъячих приказа Тайных дел неизменно приводил к злоупотреблению властью и взяточничеству. Эти факты также были зафиксированы приказным «летописцем»:

---

[5] Гурлянд, И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902.

[6] Котошихин, Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича, а также Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 216–239.

> А посылаются того Приказу подъячие с послами в государства, и на посолские съезды, и в войну с воеводами для того, что послы в своих посолствах много чинят не к чести своему государю, в проезде и в розговорных речах, … а воеводы в полкех много неправды чинят над ратными людми, и те подъячие над послы и над воеводами подсматривают и царю приехав сказывают: и которые послы или воеводы, ведая в делах неисправление свое и страшась царского гневу, и они тех подъячих дарят и почитают выше их меры, чтоб они будучи при царе их послов выславляли, а худым не поносили.

Согласимся с утверждением С. А. Белокурова, что ценность «Дневальных записок…» заключается в первую очередь в историческом аспекте, поскольку они содержат в себе подробное описание жизни двора царя Алексея Михайловича (церковные соборы, встречи послов, потехи, походы царя в подмосковные села, рождение детей в царской семье и многое другое). Ввиду того, что основная задача подьячих заключалась только в фиксации событий, именно по этой причине стиль записок абсолютно лишен каких-либо художественных изысков. Объективно придется признать, что литературная природа их бедна, лишена стилистического многообразия по той причине, что задача придания документу стилистического великолепия перед дьяками и подьячими приказа Тайных дел, которые вели записки, не ставилась.

Литературная же ценность памятника, как мы считаем, заключается в другом: «он дает возможность увидеть динамику восприятия и фиксации времени в книжной культуре Древней Руси. Проследить эволюцию отношения человека ко времени от “Повести временных лет” (начало XII века) к документальным запискам протокольного характера приказа Тайных дел (вторая половина XVII века), которые по сути являются промежуточным звеном на пути

жанрообразования в литературе переходного периода – дневниковых записок, записок исторического характера»[7].

Как известно, первым литературным жанром в Древней Руси, обратившимся к проблеме осмысления исторического события в соотнесении его со временем, была летопись. Природа летописного времени была подробно в свое время описана Д. С. Лихачевым в «Поэтике древнерусской литературы»: «Летописец рассказывает только о динамике, а не о статике жизни. И эту динамику он понимает со средневековой ограниченностью»[8]. События, изображаемые летописцем, призваны были показать и доказать незыблемость мироустройства, его вечный, цикличный и вневременной характер, определяемый божественной волей: «Летописец смотрит на историческую жизнь с такой высоты, с которой становится уже несущественным различие между большим и малым, – все кажется уравненным и движущимся одинаково медленно и “эпично”». <…> «… время подчинено вечности. Укрощенное вечностью, оно течет медленно»[9]. Поэтому не случайно начало русской истории летописец видит в событиях библейской истории. Всемирный потоп и Вавилонское столпотворение – это те начальные точки[10], которые сакрализуют[11] и расширяют временные рамки русской истории до масштаба мировой. Летописец, фиксируя события, изображая их по литературным канонам, видит их не только в контексте русской истории, но и в масштабе всемирной, имеющей, как известно, божественное предопределение. Апогеем же всемирной истории, согласно богословской историософской концепции, станет ожидаемый Страшный суд: «Средневековая литература

[7] Шунков, А. В. Семиотика времени в книжном документальном тексте второй половины XVII в. (на примере «Дневальных записок приказа тайных дел) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 51.
[8] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Избранные работы: в 3 т. Т. 1. Л., 1987. С. 542.
[9] Там же. С. 546.
[10] Своеобразная аналогия с событиями сотворения мира в книге Бытия, а принятие Русью христианства в 988 году тогда соотносимо с другой точкой мировой истории – Рождеством Христова.
[11] По замечаниям М. Н. Виролайнен, «существенно, что Повесть временных лет задает двойной отсчет времени: сначала от разделения земли между сыновьями Ноя, от смешения языков и разделения народов, затем, в резюмирующей части, – от сотворения человека» (Виролайнен М. Н. Повесть временных лет: реконструкция летописного исторического сюжета через систему канонических представлений // Виролайнен, М. Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб.: Амфора, 2007. С. 64).

стремится к вневременному, к преодолению времени в изображении высших проявлений бытия – богоустановленности вселенной…»[12].

Известно, что одним из приемов, с помощью которого в «Повести временных лет» создается динамика времени, является погодный принцип повествования («по летам»), привносящий в летопись ощущение потока времени и соответствующий «принципу цельности изображения», основному приему «стиля монументального историзма». Однако в погодном оформлении текста первой русской летописи, как показывают последние исследования отечественных медиевистов[13], стоит видеть не столько формальный прием хронологического построения текста, отличающий его от византийских хроник, сколько прием, позволяющий летописцу подчеркнуть сакральный, религиозно-символический характер происходящих событий, их соотнесенность с библейскими текстами. В итоге время русской истории не только сакрализуется, но и обретает особый эсхатологический характер, что отражено, по мнению исследователей, в самом названии летописи – «Се повѣсти вре́мяньных лѣт», то есть мимотекущих, проходящих и приводящих мир к Страшному суду[14]. По этому поводу И. Н. Данилевский пишет: «Как мы помним, на Страшном суде человеку предстояло держать отчет по каждому из совершенных им грехов – с точным указанием не только годовой или календарной, но даже часовой даты. Поэтому внесение датирующих данных в исторический отчет летописца выглядит вполне оправданным. <…> Автор произведения, писавший не только д о, но и д л я

[12] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Избранные работы в 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 557.

[13] Данилевский, И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы источниковедения летописных текстов. М., 2004; Ужанков, А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2008. С. 288–300; Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 122–135; Ужанков, А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А.М. Горького, 2011. С. 178–195.

[14] Как отмечает А. Н. Ужанков, «стало быть, русские летописи XII–XV вв. – это своеобразные “Книги Бытия” и “княжений”, сопоставимые с библейскими историческими книгами “Бытие”, “Исход”, “Царствований” и т.д., но повествующие о событиях более близких к концу Света, расположенных уже по эту сторону границы спасения – Рождества Христова. Это книги иного временного уровня, но единого временного потока» (Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М., 2009. С. 135).

Страшного суда, вполне мог взять на себя функцию духовного руководителя прообразов своих персонажей»[15].

Можно сказать, что благодаря летописям у русского человека было сформировано особое мироощущение и мировосприятие – эсхатологическое отношение к происходящему, убежденность в неотвратимость Судного дня. Именно эта особенность позволяет современным исследователям-медиевистам С. Н. Данилевскому и А. Н. Ужанкову их последователи[16] в «Повести временных лет» склонны видеть не только исторический источник, но и русский аналог боговдохновенным текстам. Таким образом, характеристика категории времени в литературе Древней Руси (XI–XII веков), помимо тех особенностей, которые были определены Д. С. Лихачевым и целой плеядой ученых-медиевистов советского периода, могут быть дополнены новыми – это сакральность и эсхатологичность[17].

В течение последующих столетий, как известно, менялись мировоззренческие представления книжников, соответственно изменялось и восприятие времени, формы его фиксации в книжных текстах. В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что есть существенное отличие между летописями домонгольской Руси и летописями, составленными в более позднее время. На этот факт, например, обращает внимание И. Н. Данилевский: «И хотя в XVII – первой половине XVIII века продолжают вестись местные и частные записи, внешне напоминающие летописи, они уже не могут дать и не дают общей картины истории страны и имеют иную цель создания, которую еще предстоит выяснить»[18]. И одним из таких книжных

---

[15] Данилевский, И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы источниковедения летописных текстов. М., 2004. С. 265.

[16] Ваненкова, А. Е. Эволюция эсхатологических идей в русской литературе XI – первой трети XVIII века. URL: http://litinstitut.ru/sites/default/files/diss_vanenkova.pdf#7

[17] Однако стоит признать, что не всеми современными исследователями принимается концепция, предложенная И. Н. Данилевским. Так, например, свое категорическое несогласие с выводами И. Н. Данилевского по проблеме изображения времени, имеющего эсхатологическую природу, в «Повести временных лет» высказал А. А. Шайкин, назвав их сомнительными. См.: Шайкин, А. А. Историческая концепция и композиция «Повести временных лет» // Шайкин, А. А. Поэтика и история. На материале памятников русской литературы XI–XVI веков. Учеб. пособие. М.: Флинта, Наука, 2005. С. 144–146.

[18] Данилевский, И. Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы источниковедения летописных текстов. М., 2004. С. 273.

памятников, по внешней форме напоминающий летопись/хронограф, как раз и могут быть названы «Дневальные записки приказа Тайных дел».

Ранее уже отмечалось, что «Дневальные записки…» – это в первую очередь документальный памятник, не обладающий особыми литературными (художественными) признаками. Однако необходимо принять во внимание тот факт, что записи в документе велись на протяжении почти двух десятилетий и соответственно в нем не могли не быть запечатлены не только события, происходившие в жизни русского двора середины – второй половины XVII века, но и особенности, имеющие непосредственное отношение к книжной культуре переходного периода. Заметим, любой текст (как книжный, так и документальный), помимо своей нарративной функции, позволяет исследователю соприкоснуться с особой формой сознания автора, фиксируемой в произведении и свойственной определенной исторической эпохе.

В свое время И. П. Еремин[19], выделив пять типов летописного повествования в «Повести временных лет» и среди них назвав документальный, не стал его рассматривать и уделять ему особое внимание, объяснив свою позицию тем, что данный тип повествования не обладает художественным началом и по этой причине для литературоведа не представляется значимым именно с литературной точки зрения. Документ интересен в первую очередь для историка, из которого он черпает факты. Однако, применяя культурно-семиотический подход в исследовании документального текста той или иной историко-культурной эпохи, каким и являются «Дневальные записки…», возможно реконструировать определенные представления о событии прошлого, зафиксированном в тексте.

На примере «Дневальных записок приказа Тайных дел» становится возможным увидеть совершенно иную картину восприятия времени русским человеком во второй половине XVII века, отличную от предшествующей традиции в книжной культуре Древней Руси. И в этом, как мы считаем, заключается одна из главных особенностей «Дневальных записок …», которая не может не привлечь внимание историка литературы.

---

[19] Еремин, И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987. С. 54.

XVII столетие, как известно, принесло с собой множество противоречивых по своей природе художественных явлений в культуре Руси. Обощающий вывод, который сделан в рассмотрении и определении роли XVII века, – это секуляризация культуры, проявившая себя в раскрепощении сознания автора, в усилении художественного начала в литературе и т.д.

На фоне тех процессов, которые происходили в литературе переходного периода, нельзя не заметить изменения в восприятии и изображении времени в книжном тексте, в том числе и в документальном. Можно сказать, что процесс десакрализации литературы в XVII веке не менее ярко представлен в документальных текстах и проявляет себя в расширении их литературных возможностей: «Изменились представления и о времени. Когда с секуляризацией сознания в середине XVII в. прошлое дистанцировалось от настоящего жесткими грамматическими формами прошедшего времени <…>, появились представления о земном будущем …»[20], и мы продолжили бы мысль – и о земном настоящем. В этом случае «Дневальные записки…» особо показательны, так как стремятся к фиксации событий не только «по летам», но и по дням, и в отдельных случаях по часам суток. К примеру,

> Генваря въ 31 день в субботу было вhтрено, и за час до ночи пошол снhг, и шол всю ночь[21].

Такое дробление времени на сегменты (год, месяц, день, час) присутствовало и ранее в древнерусской литературе. Напомним, в Древней Руси, например, существовало особое восприятие и понимание календарного времени. Определенный день недели имел свое особое символическое значение. Соответственно, и события в летописях были привязаны к определенным дням недели. Например, частотность упоминания того или иного дня недели в «Повести временных лет» приведена в исследовании И. Н. Данилевского, им же объяснено и символическое значение дней недели с позиции христианской идеологии. И именно календарные даты (дни недели) наряду с годовыми играли

[20] Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 205.
[21] Белокуров, С. А. Дневальныя записки приказа тайных дел. М., 1908. С. 1.

определяющую роль в понимании символического прочтения произошедшего события.

Так, например, среди 7 дней недели, согласно результатам исследования И. Н. Данилевского, пятница, суббота и воскресение (неделя) наиболее частотны в летописном тексте в силу их сакральной маркированности в христианском календаре[22]. Такое пристальное внимание средневекового книжника к календарным и годовым датам объясняется религиозно-символическим мышлением, свойственным ему эсхатологическим мироощущением, стремлением вычислить дату Страшного суда.

Мы отмечаем, что при внешнем подобии летописной формы (также напоминающей свод) «Дневальные записки…» демонстрируют совершенно иное ощущение времени: на смену вселенскому, сакральному пришло земное, историческое, связанное с событием одного дня. Можно сказать, что перед нами уже предстает «псевдолетописное время» «Дневальных записок…», в которых нет сакрального восприятия и понимания времени ни в линейной, ни в циклической плоскостях. Подтверждением является тот факт, что присутствующее в «Дневальных записках…» упоминание о церковных годовых праздниках не получает в описании составителя документа характерного для средневековья ощущения неизменности и постоянства событий истории, которая является промыслом Божьим.

Различие в восприятии времени в XII и XVII веках проявляется и в семантике названия обоих текстов, ориентированных на осмысление времени и его изображение. На сегодняшний день, как было отмечено выше, название первой русской летописи прочитывается шире за счет многозначности слова «временный», понимаемый в древнерусском языке[23] как в значении

---

[22] Свои выводы И. Н. Данилевский делает, отсылая внимание к особым сочинениям, распространенным в Древней Руси и дававшим толкование символическому наполнению недельного календаря (апокрифы и другие неканонические книги).

[23] О лексическом значении слов «временьный» и «лѣто» в древнерусском языке см.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV века). М.: Рус. яз., 1988. Т. 1. С. 492; Словарь древнерусского языка (XI–XIV века). М.: Рус. яз., 1991. Т. IV. С. 461. В истории изучения «Повести временных лет» (XIX–XX вв.) уже неоднократно высказывались суждения исследователей по поводу интерпретации названия первой русской летописи, его символического значения. Одним из первых, кто предложил свое толкование

«проходящий», так и «исчисляемый». Именно такое толкование названия первой русской летописи представлено в работах И. Н. Данилевского, А. Н. Ужанкова[24]. И надо сказать, что подобная точка зрения вполне обоснована, поскольку объясняет и дает возможность понять особенности мировоззрения летописца конца XI – начала XII века, ориентированного на эсхатологическое восприятие русской истории, не отделимой от мировой, вселенской.

В то же время поэтика названия «Дневальных записок…» позволяет увидеть абсолютно иной масштаб времени – один день из жизни царя. В этом случае жанровая форма должна была соответствовать масштабу изображаемого события. Крупная монументальная форма летописи или хронографа здесь неприемлема (по всей видимости, этого не могли не осознавать дьяки приказа Тайных дел, где велись записи). Возможно высказать предположение, что специально выбирается жанр документальной книжности, который близко стоит к форме дневника. Отметим, что вторая половина XVII столетия позволяет увидеть и первые образцы дневниковых записей. В качестве примера могут служить записки самого царя Алексея Михайловича[25], в которые занесены распоряжения монарха на каждый день с точным указанием потраченных денег на различные расходы по хозяйству и пожертвования. Сохранившаяся тетрадь (своеобразный «ежедневник»), а также другие грамоты («чернения государевой руки») Алексея Михайловича в силу своих особенностей находятся в одной плоскости с «Дневальными записками…». Для памятников, документальных по своей природе, характерно общее стремление фиксировать бытовые события одного дня, что, в свою очередь, свидетельствует об общем восприятии времени, секуляризированном по своей природе.

названия летописи, был историк Русской Церкви Е. Е. Голубинский. Его трактовка слова «временных», присутствующего в названии летописи и понимаемого как хронологический порядок событий, имеет сторонников и в современной науке. См.: Гиппиус, А. А. «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении названия // Из истории русской культуры. Т. I. (Древняя Русь). М.: Яз. рус. культуры, 2000. С. 448–460; Шайкин, А. А. Функции времени в «Повести временных лет» // Шайкин, А. А. Поэтика и история. На материале памятников русской литературы XI–XVI веков: Учеб. пособие. М.: Флинта, Наука, 2005. С. 134–135.

[24] Ужанков, А. Н.. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 135.

[25] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 706; Российский государственный архив древних актов (РГАДА, г. Москва), Ф. 27. №.527.

Насколько изменилось восприятие времени в переходную эпоху, могут свидетельствовать так называемые «метеорологические» заметки, постоянно встречаемые в «Дневальных записках …». С. А. Белокуров в предисловии к изданию памятника 1908 года не придал особого значения этим фрагментам, обратив на них внимание только как на эпизодические детали. «Большой интерес представляют ежедневные отметки о погоде, хотя и сделанные в слишком общих выражениях»[26]. Согласимся с мнением издателя по поводу абсолютно неяркой стилевой природы подобных заметок, отсутствия в них каких-либо авторских индивидуальных приемов, которые могли бы в конечном итоге привести к появлению в памятнике ожидаемых пейзажных зарисовок, становящихся для литературы XVII века частым явлением. Приведем несколько типичных примеров описания погоды из «Дневальных записок…»:

> Февраля въ 10 день во фторникъ былъ ден холоден, а в ночи было тепло, и шол снhг во всю ноч мокрой, а посвечеру за полтора часа до вечера, 7165 г., февраля 3–16 (С. 3).
>
> Марта въ 2 день было ведрено во дни, а в ночи былъ мороз непомhрно лют, 7165г., февраля 17–8 марта (С. 5).
>
> I в тот ден (28 апреля. – *А. Ш.*) с утра часу до пятого было ненасливо и накрапывал дозжикъ, а с пятого часу было ведрено и тепло; а в ночи было тепло же. … Маия въ 1 день … было тепло і ведрено и красно, а в ночи были росы холодныи. 7165г. апhля 17–1 мая (С. 13).
>
> И тот ден с утра был ветрен, а в кушанья (был) гром гремел и молния блистала и шол дождь велик, а после того и до вечера было ведрено і вhтрено; а в ночи было тепло, 7165 г. мая 11–25» (С. 18).

[26] Белокуров, С. А. Дневальныя записки приказа тайных дел. М., 1908. С. IV. (Далее текст цитируется по указанному изданию с указанием страниц в скобках).

I в тот ден было красно, а в 9-м часу дни был громъ велми великъ, и блистала молния, и шол дождь великъ с полчаса, и потом шол не велик; а в ночи было тепло. 7165 г., июня 4–20 (С. 20–21).

А за 2 часа до вечера была туча велика, и громъ, и молния, и дождь шол силен с час; а в ночи шол дождь до полуночи, 7165г., іюля 23–5 августа (С. 27).

В всех примерах, взятых из «Дневальных записок…», ценным может быть то, что подобные краткие зарисовки лишены традиционной для средневековой литературы библейской символики: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). Также интересен тот факт, что в записях первых лет подобные «метеорологические описания» еще отличаются детализацией, в записях же более позднего времени сухой, деловой стиль документа полностью вытесняет оценочною лексику, характеризующую состояние природы в момент фиксации события. Документальная запись констатирует только факт без какого-либо авторского комментария. Однако для нас подобный «нулевой показатель» литературной природы текста также является не менее значимым, чем стилевые авторские приемы, активно использовавшиеся в литературном творчестве второй половины XVII века. Подобные безоценочные «погодные зарисовки» (в своей совокупности) демонстрируют особую форму авторского сознания XVII века, лишенного религиозно-символического, сакрального восприятия происходящего в мире. И в этом случае «Дневальные записки…» органично вписываются в процессы, происходившие в русской литературе переходного периода: бытописание, детализация повествования и десакрализация изображаемого.

Среди ежедневных записей, передающих в лаконичной форме сведения о деятельности царя Алексея Михайловича, редко, но встречаются примеры, представляющие собой подробные описания событий с включением речей (прямой или косвенной) самих участников этих событий. Так, запись от 11 декабря 1660 года (7168 года) в документальной форме рассказывает об участии

царя в церковных службах. Здесь, как и положено, сообщается, кто совершал службу (митрополит Сарский и Подонский Питирим). Однако запись о событиях, имеющих отношение к настоящему времени, изменяется, и повествование обращается к событиям, произошедшим годом ранее (4 декабря 1659 года), – осада крепости Быхов в период Русско-польской войны 1654–1667 годов. Событие, записанное в документе, передано со слов одного из дьяков («думной дьяк Семен Заборовской говорил phчь»[27]):

> Великому государю изменил же, і в Быхов вошол обманом, и Быхов зachл, і великого государя ратным і всякихъ чинов людем многую пакость чинил, и с королем полским беспрестанную ссылку держал и писался его королевским подданным, і великого государя в городы в Смоленескъ і в ыные … многие сорные и прелестные листы подсылал; такъ же и многую шляхту царского величества подданных иных ласканием, а иных принуждением ис-под государевы высокие руки ис подданства отвел (С. 44).

Далее подробно, в деталях передаются обстоятельства осады Быхова русскими войсками, переговоров с Иваном Выговским о мирной сдаче крепости и взятии ее штурмом войсками князя Ивана Лобанова-Ростовского 4 декабря 1659 года. Насколько важным было это событие, произошедшее годом раньше, говорит одна деталь. Неизвестный дьяк (или подьячий) Тайного приказа, записывавший это событие, постоянно вносил правки в текст, вычеркивая одни фразы и вписывая другие. Увидеть эту редакторскую работу, проделанную неизвестным составителем документа, возможно, обратившись к изданию «Дневальных записок…» С. А. Белокурова 1908 года, которое сохраняет и передает детали редакторской правки, присутствующие в рукописи памятника.

Закончив рассказ о событиях прошедшего времени, составитель вводит в повествование речь митрополита Питирима, обращенную к царю Алексею

[27] Имеется в виду рассказ об измене русскому царю гетмана Ивана Выговского и бегстве его в Быхов, где он занял оборонительное положение, ожидая помощи польского короля Яна Казимира и гетмана Сапеги.

Михайловичу и прославляющую его. Торжественное слово митрополита Питирима вновь возвращает повествование в настоящее время. Сама же речь митрополита в большей степени соответствует этикетным требованиям церковного ораторского искусства. Это и характерная торжественная лексика, особая интонация, выражающая сильные эмоции оратора, художественная образность, прикрепленность речи к конкретному случаю – взятию Быхова, которое рассматривается оратором в аспекте историческом – воссоединение государства, восстановление порядка, установленного Богом:

> дhло пре(ве)лие о Малей Росиi сотворшеся, вch надежды слышахом, всещедраго і всемогущаго Бога молебне благодарихом; ныне же достовhрно вhруем, яко повсюду вся Малая Росия под святую вашего царского величества скипетродержавную десницу подклонися, вhчно и незыблемо бытии на веки обещася, безчисленное множество християнских душ … благосчастием и премудрhйшим промыслом от темныя прелести свободишася и к свhту истинному приидоша (С. 45).

Продолжением описания приводимого выше события (взятие Быхова и пленение гетмана Выговского) является запись от 23 февраля 1660 года (С. 58–59), где представлено развернутое описание действий князя Алексея Никитича Трубецкого как полководца, принимавшего участие в военной кампании 1659 года и отличившегося своими боевыми заслугами перед царем:

> И ты, бояринъ нашъ і воевода, с товарыщи против хана Крымского і измѣнника Івашка Выговского и против Польскихъ войскъ і иных розных земель стояли мужественно, и билися и шли к рекh Семи оборонною рукою, и многих Татар, и Черкас, и Поляков, и Сербов, і Волохов и Мутьян побили і в полон поимали. … И будучи у реки Семи, ты, боярин нашъ, с товарыщи, собрався с нашими великого

государя ратными людми, пошол в Черкаские городы на измѣнника Івашка Выговского, и на Польские и иных розных земель войска. И видя хан Крымской, и измѣнникъ Ивашко Выговской, и Польские и иныхъ розных земель войска, что ты, бояринъ наш, идеш на них с товарыщі своимі и с нашимі великого государя ратнымі людмі мужественно, побежали, а ты боярин нашъ, с товарыщи своимі и с нашимі великого государя ратнымі людми пришол в город Переяславль.

Таким образом, в памятнике, документальном по своей природе и имеющем форму свода, мы отмечаем и сюжетные фрагменты текста, для которых свойственна совершенно иная временная парадигма (события настоящего времени прерываются описанием событий прошлого и затем вновь идет возвращение в настоящее) и иная стилистика, обладающая авторской оценочностью. В результате этих особенностей протокол (свод) ежедневных событий царского двора существенно оживляется и расцвечивается дополнительными деталями. Однако подобные примеры носят эпизодический характер и не приводят к беллетризации всего текста книжного памятника.

На основе всего сказанного, обобщая сделанные наблюдения, «Дневальные записки приказа Тайных дел» можно назвать уникальным произведением русской книжной культуры второй половины XVII века. Документальный по своей природе памятник органично вписывается в общую литературную ситуацию эпохи барокко своей особой формой как произведение-свод, объединяющее в себе разный материал в общую конструкцию и тем самым напоминающее «кунсткамеру мира, с тем же роаспределением интересов, какие характерны для кунсткамер петровских времен»[28]. Подобный пример для второй половины XVII века не будет единичным. Не менее интересно для исследования и сочинение подьячего Посольского приказа Григория Котошихина, автора «О России в

[28] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 343.

царствование Алексея Михайловича», по своей книжной природе также являющееся документальными записками, в которых детально изображена жизнь двора русского монарха.

При отсутствии в документальном памятнике каких-либо ярких сюжетных эпизодов, которые могли бы позволить говорить о произведении как о литературном явлении переходного периода, он дает возможность в первую очередь почувствовать совершенно иное восприятие времени, определяющее жизнь отдельно взятого человека. Ранее мы уже отмечали, что «Дневальные записки…» напоминает «мозаичное полотно, составленное из отдельных фрагментов, но в своей совокупности воспроизводящих жизнь человека в ее повседневных бытовых событиях»[29]. В их описании нет художественного начала, но само внимание к ним со стороны составителей позволяет говорить о меняющемся отношении автора не только к событиям исторического плана, но и к частной жизни человека. Документальный текст, каким по природе своей являются «Дневальные записки…», иллюстрирует процесс секуляризации сознания автора второй половины XVII века. И в этом случае «Дневальные записки приказа Тайных дел» становятся органичными для литературного процесса переходного периода русской литературы.

Однако «Дневальные записки…» не являются единичным примером книжного текста XVII века, иллюстрирующего меняющееся восприятие исторического события. «Дневальные записки…» – это один из книжных памятников эпохи, в котором отразилось новое видение человеком времени, но уже не космического масштаба, а одного дня. В связи с этим представляется обоснованным и логичным проследить динамику восприятия и изображения события в текстах, принадлежащих перу знаковых фигур эпохи. Постараться увидеть на примере написанных ими сочинений признаки нового понимания природы произошедшего события. Одной из таких писательских фигур в

[29] Шунков, А. В. Семиотика времени в книжном документальном тексте второй половины XVII века (на примере «Денвальных записок приказа Тайных дел») // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 54; URL: http://cyberleninka.ru/article/n/semiotika-vremeni-v-knizhnom-dokumentalnom-tekste-vtoroy-poloviny-xvii-v-na-primere-dnevalnyh-zapisok-prikaza-taynyh-del

литературной традиции переходного времени по праву можно назвать русского царя Алексея Михайловича, творчество которого показательно в аспекте рассматриваемой проблемы.

И в то же время литературное творчество монарха (его эпистолярная составляющая), о котором речь пойдет в следующем разделе главы, позволяет сделать вывод о масштабах самого переходного процесса, охватившего не только «низовые» уровни литературы второй половины XVII века, но и с равной силой заявившего о себе в писательской практике представителей государственного уровня.

2.2. Историческое событие и его интерпретация в эпистолярной традиции переходного времени (Послания царя Алексея Михайловича)

Как известно, одним из открытий XVII века, по словам Д. С. Лихачева, стала эмансипация авторской личности, ее индивидуализация, свободное выражение своего мнения по поводу событий, участником или свидетелем которых был сам автор, «рост самосознания автора был только одним из симптомов осознания в литературе ценности человеческой личности»[30].

XVII столетие вместе с историческими потрясениями, преобразовавшими государственный облик страны, сформировал абсолютно новое восприятие и оценку исторического факта. Принцип средневекового историзма, свойственный древнерусской литературе, в XVII столетии изменяется. Объясняя смысл произошедших событий, автор теперь видит в них не только проявление божественной воли, но и стечение определенных обстоятельств, зависящих от собственной воли и приводящих к планируемому итогу. Понять это возможно, обратившись к разножанровым сочинениям самих исторических персонажей, высказывавших свои суждения по поводу случившихся событий, участниками

[30] Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили // Лихачев, Д. С. Избр: раб: в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 1. С. 180.

которых они были. Одной из таких ярких личностей, от воли которой зависел ход русской истории во второй половине XVII века, является царь Алексей Михайлович, писательская индивидуальность которого отражает переходные процессы в русской литературе[31].

Крупным историческим внешнеполитическим событием в первое десятилетие правления молодого царя Алексея Михайловича, нашедшим свое освещение в его посланиях, как известно, стала Русско-польская война, начавшаяся в 1654 году и завершившаяся подписанием Андрусовского перемирия в 1667 году. Письменные источники, в которых засвидетельствовано развитие событий эпохи, позволяют не только воскресить сами исторические факты, но и увидеть, как через документ проявляется субъективная точка зрения составителя грамоты или послания, высвечиваясь сквозь существовавшее официально принятое мнение по какому-либо вопросу. Так, например, известно, что предопределенность военного столкновения с Речью Посполитой на Руси рассматривалась с позиции создания вселенской православной империи. Официальные документальные источники конца 40-х – начала 50-х годов XVII века говорят о том, что сам Алексей Михайлович остро осознавал свою политическую и духовную значимость и воспринимал себя царем всего православного мира, намеренно ориентируясь при этом на византийский образец.

Политическая программа царя Алексея Михайловича, как известно, предполагала создание православной империи, выходящей за рамки Московской Руси: «Идея русского царя-освободителя поддерживалась прежде всего на Востоке греками. Приехавший в начале 1649 года в Москву за милостыней иерусалимский патриарх Паисий в одной из своих грамот сравнивал царя Алексея Михайловича с Константином Великим и призывал его освободить святую церковь от еретиков. <…> В многочисленных посланиях с Христианского Востока, а также в сочинениях, принадлежащих видным представителям

[31] Авторская индивидуальность Алексея Михайловича как писателя была подробно охарактеризована нами в статье: Шунков, А. В. Образ автора в посланиях царя Алексея Михайловича (1654–1667 гг.). К проблеме рассмотрения поэтики текста переходного времени // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2014. № 3. С. 108–112.

греческой церкви (Афанасий Пателар, Герасим Влах, критский архимандрит Неофит), содержится настойчивый призыв к царю Алексею Михайловичу отвоевать у турок Константинополь и освободить от ислама православный мир»[32]. Соответственно, православный мир не замыкался для него в границах Московского царства, а приобретал масштабы Византийской империи. Во главе этой империи призван был стоять не константинопольский василевс, а московский царь.

Подобные представления царя Алексея Михайловича о своем мессианском призвании в православном мире отчетливо видны в его посланиях, адресованных широкому кругу корреспондентов: семье, боярам, полководцам. Словесным воплощением высокой идеи являются традиционные эпистолярные клише, используемые царем в посланиях и выражающие мнение об особом предназначении себя в мире, о заступничестве и покровительстве небесных сил в делах, нацеленных на укрепление православия:

> А мы на Божией службе, Ево милостию и отца нашего великого государя святъшаго Никона патриарха московского, всеа великия і малыя Росиі молитвами[33].

Частотность использования приведенного стилистического трафарета в посланиях царя, адресованных семье в период Польского похода показывает приверженность Алексея Михайловича как писателя канонам эпистолярного жанра, вместе с тем, в приводимой этикетной особенности присутствует авторское понимание своего места и своей роли в иерархической модели миропорядка, принятой Алексеем Михайловичем. Именно поэтому все действия и поступки, совершаемые им, являются истинными, поскольку они продиктованы свыше и являются Божественным волеизъявлением, противиться которому он не имеет права и как христианин, и как государь. Так, например, в своем известном

---

[32] Севастьянова С. К., Шунков А. В. Русско-польская война и идея власти в России в середине XVII века // Homo communicans: человек в пространстве межкультурной коммуникации / под. ред. К. Янашек и др. Щецин, 2012. С. 252–253.

[33] Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896. Т. V. С. 18, 21–26, 28, 29, 45.

обширном послании В. Б. Шереметеву царь, поучая и наставляя своего адресата, в то же время излагает средневековую концепцию природы происхождения царской власти:

> Вhдомо тебъ самому, какъ, по изволенію Божію, нашь государской чинъ пребываетъ и надъ вами, честными людми, боярская честь совершается. … Не просто Богъ изволилъ намъ, великому государю и тлhнному царю, честь даровати, а тhбе приняти; и тебh о томъ должно нынh и впредь Творца своего и Зиждителя и всhхъ всячески Бога восхваляти и прославляти и нашимъ великого государя и тлhнного царя жалованьемъ утhшатися и радоватися Творца своего милости. Писано бо есть: сердце царево въ руцh Божіи[34].

Эта тема находит свое продолжение и развитие в других, более поздних, посланиях царя, из которых видно, что Алексей Михайлович не сомневается в особой природе царской власти, данной Богом и определяющей предназначение царя в земной его жизни. Примером подобного факта может служить письмо Григорию Ромодановскому:

> Благословилъ и предалъ намъ, государю, правити и разсуждати люди Своя на востокh и на западh и на югh и на chверh въ правду, и мы Божія дhла и наши государевы, на всhхъ странахъ полагаемъ, смотря по человhку[35].

Приведенный фрагмент послания предстает развернутым толкованием царского титула, которым Алексей Михайлович нарекает себя в начале войны с Речью Посполитой:

> Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец и многих

[34] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 752
[35] Там же. С. 774.

государств и земель восточных и западных, и северных отчича и дедича, и обладатель.

А если вспомнить, что в августе 1655 года была взята столица Литвы – Вильно, то становится вполне понятным, почему к основному титулу царя добавляется его другая часть – «великий князь Литовский». Как следует из исторических документов, изменение титула русского царя, в котором современники не могли не усмотреть его претензий на особую роль в истории, соседними государствами было встречено весьма настороженно и оппозиционно. Так, например, крымский хан Мухаммед IV открыто протестовал против подобного титула московского царя, справедливо видя в нем претензии на первенство в мире и обожествление власти московского царя. «В Вашей грамоте написано не против прежнего, написано: Восточной и Западной, и Северной отчич и дедич, и наследник, великий государь и облаадатель. И такие непристойные титлы предки Ваши никто не писывали. Где Москва, где восток, где запад? Меж востоку и западу мало ли великих государей и государств. Мочно было то знать и такие слова не писать, всей Вселенной отчичам и дедичам и обладателем пишетеся, и так лживо и непристойно писать, и непригоже. Мусюлманские и крестьянские государи, иных вер никоторые государи так себя писать не могут»[36].

Соблюдения написания полного своего титула, в основу семантики которого была заложена геополитическая трансформация Восточной Европы, требовал и сам Алексей Михайлович, о чем опять-таки свидетельствуют его грамоты. Так, в послании, адресованном Ф. М. Ртищеву, царь благодарит своего постельничего за дипломатическую настойчивость, проявленную им при переговорах с Павлом Сапегой в сентябре 1655 года о признании нового титула московского царя:

И Павелъ Сапѣга хотѣлъ тебя отослать хъ королю, и ты грозъ ихъ не убоялся и говорилъ безстыднымъ

[36] Фаизов, С. Ф., «Где Москва, где восток, где запад?»: почему крымский хан Мухаммед IV не согласился с царем Алексеем Михайловичем в вопросе о том, кто может владеть Востоком и Западом. URL: // http://www.idmedina.ru/books/materials/faizhanov/3/hist_faizov-2.htm (дата обращения 26.08.2014).

дѣломъ о нашей государевой титлѣ, чтобы написали всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца ...[37].

Характерно, что военная кампания против Польши Алексеем Михайловичем, как следует из его писем, воспринимается как Божественное провидение, неминуемо ведущее его к поставленной цели:

А я, чяю, пойду за милостью Божиею в среду или в четвергъ маръта нынѣшней недѣле[38]; милостию Божиею і пречистыя Богородицы заступлениемъ и всъхъ святыхъ молитвами і отца нашего великого государя святѣйшаго Никона патриарха московского, всеа великия і малыя Росиі молитвами … полскихъ и литовскихъ людей побилі і гнали...[39].

Как мы знаем, начало военной кампании против Речи Посполитой было удачным для русского царя. Первый год был ознаменован взятием Гомеля и Могилева (август 1654 года), Смоленска (сентябрь 1654 года), через год, в августе 1655 года – Велижа, Витебска, Полоцка, Минска, Вильно, в сентябре – Львова. В ситуации военных успехов в окружении Алексея Михайловича все больше крепла мысль о триумфальном походе на Варшаву и объединении под державной рукою московского царя Востока и Запада и, таким образом, о реальном воплощении идеи «Москва – Третий Рим».

В то же время значительный корпус личной корреспонденции царя периода войны с Польшей, адресованной семье и ближайшим к нему лицам, демонстрирует не официальный образ правителя и полководца, а человека, находящегося в кругу понятных для каждого забот, рассказывающего об исторических событиях как о повседневных. В подобных случаях нетрудно заметить то новое отношение к событию, его оценку, которые уже не характерны для эпохи Средневековья. Автором оценивается упоминаемое им в посланиях событие с позиции рядового человека. Можно сказать, что история в этом случае

[37] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 739.
[38] Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896. Т. V. 1896. С. 18. В дальнейшем цитаты приводятся по указанном изданию.
[39] Там же. С. 42.

теряет свою сакральную природу и обретает земное, будничное начало. И именно из таких повседневных забот и складывается пестрая мозаика исторических событий, важность и масштабность которых в судьбе государства прекрасно осознается автором.

Так, например, в письме (26 мая 1654 года) к сестрам из Польского похода царь, помимо этикетных клишированных фраз, традиционно свойственных эпистолярному жанру, сообщает и о деталях дислокации русских войск под Можайском:

> Изволите про меня вhдать, и я пришелъ со всhми людми в Можаескъ маия 26 день и буду стоять одинъ день, суботу, для кормовъ лошядиных. А из Можяйска пойдем 28 день в недhлю, а станъ будетъ въ петинатцати верстах на рекh Ельнh; а спешю, государыни мои, для тово, что сказывают людей в Смоленске и около Смоленска нhтъ никово, чтобы поскорhе захватить (С. 1).

Лаконичное послание царя, адресованное сестрам, обладает заметными признаками, свойственными как писательской манере царя, так и текстам переходной эпохи. Стилистика посланий царя очень точно отражала индивидуальные черты характера монарха – это стремительность действий, желание совершать дело без промедления и быстро («без мотчания»). Из приведенного фрагмента послания видно желание царя овладеть Смоленском как можно быстрее («чтобы поскорhе захватить»), пока есть на то благополучное стечение обстоятельств, которым нельзя не воспользоваться. Одновременно здесь же представлены и такие особенности авторского стиля, как бытописание, воссоздающее в деталях «труды и дни» Алексея Михайловича как полководца в его круге забот.

Особым колоритом обладают в посланиях царя батальные сцены, небольшие по описанию, но обладающие признаками поэтики текста Нового времени, для которого уже свойственно раскрепощение и индивидуализация героя. Алексею

Михайловичу удается в рамках лаконичного текстового пространства послания нарисовать динамичные сцены боя, взятия крепости, гибели людей, их физических страданий от полученных ран:

> Учинилось вhдомо намъ, великому государю, что в Смоленскh въ полкахъ солдаты многiе лежатъ болны, безъ призphнья, и въ приказhхъ стрhлцы, а иные многiе салдаты и стрhлцы померли. А какъ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ есте переписали, сколько болныхъ салдатовъ и стрhлцовъ и сколко померли и, переписавъ, прислали бы есте роспись къ намъ, великому государю, а которые салдаты и стрhлцы лежатъ болны, и вы бъ велhли имъ отвесть дворы особные и велhли бъ нанять, кому ихъ беречь, чтобъ безъ призphнья не померли (послание Г. Г. Пушкину, 1655 года)[40].

Не менее колоритен в литературном аспекте другой эпизод баталии, описанный в письме А. И. Матюшкину и содержащий в себе рассказ о поражении Матвея Васильевича Шереметева в сражении со шведскими отрядами под Валком в начале июня 1657 года, закончившемся трагично для отряда Шереметева и для него самого. Раненый М. В. Шереметев был взят в плен, где он впоследствии и скончался от полученных ран. Поражение воеводы, бегство войск и человеческие потери произвели сильное эмоциональное впечатление на Алексея Михайловича, которое он открыто высказывает в своем «дружеском» послании к Матюшкину, не стремясь завуалировать его в этикетные словесные формулы:

> Братъ! Буди тебh вhдомо: у Матвея Шереметева былъ бой съ немецкими людми, и дворяне издрогали и побежали всh, а Матвhй остался въ отводе и сорвалъ немецкихъ людей...[41].

Разговорная стилистика раскрывает внутренний мир адресанта послания, остро переживающего горе – поражение близкого человека. Царь судит о

[40] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 717.
[41] Бартенев, П. Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 54.

случившемся как о большом несчастье, принесшем горе всем. Удивительно, но человеческая природа царя проявляется даже в том, что он не осуждает дезертиров, бежавших с поля сражения, понимая их психологическое состояние (страх перед смертью и угрызения совести за совершенный проступок – бегство):

> <…> а то всh цhлы, потому что побежали, а сами плачютъ, что такъ гphхъ учинился. … А о Матвhе не тужи: будетъ живъ, впередъ ему къ чести; радуйся, что люди цhлы…[42].

Подобные примеры не единичны. В связи с этим можно говорить об особом авторском стиле царя, умело передающем уже не абстрактный характер переживаемого события, а реалистичный, отражающий внутренний мир его участников. Примером может служить еще одно известное письмо царя из Польского похода (31 мая 1654 года), адресованное князю А. М. Трубецкому и иллюстрирующее лицемерие московских бояр, сопровождающих царя:

> А у насъ hдутъ с нами отнюдь не единодушiем, наипаче двоедушiем, какъ есть оболока, овогда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательнымъ явятся, овогда паче же зноемъ и яростiю и ненастьемъ, всяким злохитреным обычьем Московским явятся, овогда злым отчаяніем и погибелью прорицаютъ, овогда тихостiю и блhдостiю лица своего отходятъ лукавым серцем. Коротко вам пишю, потому что нhколи писать, спhшю в Вязму. А мнh уже Богъ свидhтель, каково ставитца двоедушiя тово. … Малое что в путь идетъ, а то всегда на гогульную статью: всh в рознь, а сверхъ тово сами знаете обычьи ихъ (с. 716).

Собирательный словесный портрет, написанный с помощью художественных деталей, подобранных автором, с точностью передает нравы царского окружения.

---

[42] Там же. С. 54–55.

Повседневность и реалистичность события, показанного теперь вне средневековых традиций изображения баталий, станет отличительной чертой царского дружеского эпистолярия времен русско-польской войны. Приведем еще несколько примеров, демонстрирующих «будничность» восприятия и оценки творимой истории:

> А в Вязму пойдем тово ж числа после кушенья» (4 июня 1654 года, с. 4); «Да буди вамъ вhдомо: на Днепрh был мостъ 7 саженъ вверхъ над водою; і и на Фоминой недhли прибыло столко, что уже с мосту черпаютъ воду; а чаю и поиметъ, по нынешней день прибываетъ и в ширину немhрно разлился, чаю, на версту, и табары мои, которые внизу были, всh поняло і горы много захватило. А Смоленские сидhлцы говорят, что съ 30 лhтъ такой болшой воды не запомнят» (30 апреля 1655 года, с. 29); «бояре наши і воеводы княз Яковъ Куденетовичъ Черкасской с товарыщи і наказной гетман Иванъ Золотаренокъ і наши ратные люди гетмановъ Радивила і Гансевского і полскихъ и литовскихъ людей побилі і гнали, і на спинахъ ихъ в городъ вhхали, і Вилню взяли (30 июля 1655 года, с. 42).

Включение царем в дружеские послания описаний исторических событий и их комментарий, основанный на личном восприятии, свидетельствует о секуляризации литературного процесса в переходный период русской культуры. В итоге историческое событие постепенно становится фактом не божественного провидения, а следствием желаний самого человека, его волеизъявления. Вызывают научный интерес и такие фрагменты посланий царя, в которых личный, семейный фон и официальное, государственное понимание происходящих событий объединены в рамках одной клишированной фразы и не отделимы друг от друга:

Вашими свhтовъ моих молитвами подаровалъ Богъ сиі богоспасаемый градъ Дорогобужь (4 июня 1654 года, с. 4).

Приведенная фраза из послания царя сестрам является устойчивым оборотом, часто использовавшимся в письменной практике. Она неизменно повторяется в ряде других писем царя. Кроме того, в ней отчетливо видны три устойчивых этикетных лексических сочетания: «вашими молитвами», «даровал Бог», «богоспасаемый град». Вводя и используя подобные клишированные обороты в своей письменной практике, Алексей Михайлович соблюдает правила составления послания и прямо следует традиции эпистолярного жанра, восходящей еще к Византии[43]. Однако в контексте реальных исторических событий фраза не может восприниматься только как необходимая его вступительная этикетная часть, начинающая письмо. Быстрое овладение Дорогобужем вызывает у царя воодушевление и радость, которой он хочет поделиться с сестрами, желание дальнейшего быстрого продвижения к Смоленску («в Вязму пойдем тово ж числа после кушенья»)[44]. Поэтому фраза, обладающая этикетным характером, несет в себе и положительный заряд адресанта, объединяет его и адресата в переживании общего эмоционального состояния:

А что hдете ко мнh и зhло о том радуюся и жду васъ, свhтовъ, как есть слhпой свhту радъ», «А я наскоро hду: готовтеся с радостию восприятии меня грhшнаго»»», «а я конечно радъ тому, что вы, свhты мои і государыни, обрадовалися нашему возвращению к вам и др.[45].

И в данном случае важным становится то, как через событие истории формируется отношение к нему автора, словесно воплощенное в тексте. Именно подобный подход, получивший определение «новый историзм», как известно, был

[43] Канон эпистолярного жанра требовал соблюдения четырех обязательных композиционных частей: инскрипта (пышного указания «от кого» с перечислением всех титулов), прескрипта (начального обращения к адресату с его титулами), семантемы (собственно послание) и клаузулы (заключения).
[44] Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896. Т. V. С. 4.
[45] Там же. С. 15, 52, 64,

в свое время предложен А. М. Эткиндом и И. П. Смирновым для анализа литературного произведения. В тексте, если подходить к нему с этих позиций, запечатлевается портрет человека определенной эпохи. Послания царя, написанные им в период Польского похода и рассматриваемые как единый текст, дают возможность проследить процесс формирования в переходный период русской культуры нового восприятия и понимания истории. Историчность была одной из основных особенностей литературы средневекового типа, и в первую очередь, жанра летописи. Как было отмечено выше, летопись сформировала особое мировоззрение человека Древней Руси (в домонгольский период), отличительной чертой которого была эсхатологичность, позволявшая летописцу рассматривать и проводить параллели с событиями Священной истории, зафиксированными в библейских книгах (евангельских текстах, Откровении Иоанна Богослова, апостольских посланиях), апокрифических сочинениях[46].

Вторая половина XVII века как переходный период русской культуры породила совершенно иное понимание истории, определяемое личным восприятием отдельного человека. События одного дня становятся значимыми для автора, поскольку с ними связаны определенного рода переживания и эмоции («радость душевная и сердешная»), раскрывающие внутренний мир адресата. И эти частные события, запечатленные в дружеских посланиях, образуют летопись жизни отдельного человека. Так, например, опубликованные С. А. Белокуровым[47] 65 писем царя позволяют рассматривать их как единый эпистолярный цикл, в котором день за днем на протяжении двух лет (с 1654 года по 1656 год) фиксировались события жизни («дѣла многия») Алексея Михайловича во время его Польского похода. В конечном итоге, из этих отдельных фрагментов и складывается единая «летопись» повседневности, сопоставимая с дневниковыми записями. Царь подробен в описании не только обстоятельств военного похода, но и деталей, характеризующих его быт, круг забот, связанных с семьей. Особой

[46] Шунков, А. В. «Страшный суд» как сюжетообразующий мотив литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 77–85.
[47] Письма русских государей и других особо царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896. Т. V.

лиричностью обладают в посланиях строки, которыми Алексей Михайлович объясняет причины написания писем не собственноручно, а от его имени посредником. В традиции эпистолярного жанра Древней Руси, как известно, до XVII века придворный этикет не предусматривал возможности великому князю оставлять на бумаге «чернения государевой руки»[48]. Тем ценнее в этой ситуации предстают автографы посланий Алексея Михайловича, объясняющие причины обращения за помощью к другому лицу при его написании:

> Да не покручинтеся, государыни мои свhты, что не своею рукою писалъ, – голова тотъ день болъhла, а после есть лехче» (с. 3); «Да не покручинтеся, что не своею рукою писалъ: ей, недосуги и дhла многия» (с. 8).

Подобные стилистические пассажи, встречающиеся в посланиях, помогают реконструировать историческую повседневность царя. Одновременно с помощью этих же деталей создается и образ автора, способного перевести масштаб произошедшего события в плоскость семейной хроники. Так, например, находясь весной 1655 года в Смоленске, царь пишет письмо, делая в нем приписку, в которой нельзя не почувствовать присутствия легкой иронии:

> А у насъ Христосъ воскресе. А у васъ воистинно ли воскресе (письмо от 15 апреля 1655 года, с. 24); А у нас Христосъ воскресе в Смоленске» (письмо от 20 апреля 1655 года, с. 25).

Небольшая фраза, использованная царем в двух посланиях, становится значимой, если посмотреть на нее с позиции тех процессов, которые характеризуют переходную эпоху. Здесь ни в коем случае нельзя, конечно, инкриминировать автору проявление кощунственного отношения к событию

---

[48] Этикет, заимствованный из Византии, предусматривал возможность записывания речи монарха штатом писцов. См.: История русской литературы: в 4 т. / под ред. Н. И. Пруцкова. Л: Наука, 1980. Т. 1. С. 294; Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. С. 20–21; Буланин, Д. М. Последнее столетие древнерусской книжности / под ред. Д. М. Буланина // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Наука, 1992. Вып. 3 (XVII век). Ч. 1. С. 4; Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М.: Яз. рус. культуры, 1998. С. 138.

сакральной истории, уличить в балагурстве. Как известно, Алексей Михайлович, прочно укоренный в традициях православия, негативно относился к институту скоморошества и своим указом 1648 года[49] запретил лицедейские представления, видя в них бесовство («бесовские играния»), «трубное козлогласование»[50]. Одним из следствий подобной политики молодого царя Алексея Михайловича стал отказ от участия скоморохов в свадьбе царя и Марии Ильиничны Милославской в 1648 году.

Введенная царем в послание фраза несет в себе иной заряд. Помимо информативной функции (царь сообщает своей семье о том, где он встретил Пасху, находясь в походе), она обладает в то же время и объединяющим началом в семейных отношениях благодаря той легкой иронии, шутке, игре смысла, которая определяет стилистическую природу фразы. И послание в данном случае приобретает форму пасхального подарка, который должен вызвать у адресанта при прочтении положительные эмоции и чувства:

> <…> лицемъ к лицу не видалися, но духомъ всегда нераздhлни николи же (5 мая 1655 года, с. 28).

В целом, можно сказать, что семейные послания царя, написанные лично им или от его имени во время Польского похода, стилистически схожи с дневниковыми записями. Алексей Михайлович со свойственным ему стремлением к соблюдению порядка во всем придерживается этого правила и в эпистолярном творчестве, фиксируя и описывая события, из которых и складывается целостная картина жизни государя, находящегося вдали от дома. Одновременно в своих посланиях царь отмечает и то, что становится для него открытием: нравы людей, описания укреплений противника, батальные

---

[49] Текст указа впервые был опубликован в 1850 году: Описание Государственного архива старых дел, составленное инспектором Государственных архивов и членом разных ученых обществ П. Ивановым. М., 1850. С. 296–299.
Рождественский, Н. И. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском быту XVII века (Челобитная нижегородских священников 1636 года в связи с первоначальной деятельностью Ивана Неронова) // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. М., 1902. Кн. 2. Смесь. С. 18–31.
Морохин, А. В. К истории ранней деятельности ревнителей древнего благочестия // Российская история. М., 2010. № 6. С. 115–119.

[50] Лихачев, Д. С., Панченко, А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 146–147; Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. С. 196–199.

пейзажные зарисовки. Подобные нюансы придают письмам царя дневниковый характер, свойственный запискам путешественника, открывающего для себя много нового и желающего этим поделиться со своими родными.

В русской литературе второй половины XVII века зарождается ощущение исторического процесса, его хода, поэтому и возникает интерес к фиксации событий каждого дня, будь то «Дневальные записки…» или ежедневные послания царя, демонстрирующие новый тип человеческой личности определенной исторической эпохи. Таким образом, эпистолярные сочинения царя Алексея Михайловича, равно как и документальные по своей природе «Дневальные записки приказа Тайных дел», находятся в одной литературной парадигме, несмотря на разножанровость произведений. Для них характерна общая черта, проявляющаяся в изменившемся понимании истории и отношении к ней. Авторы (и дьяки приказа Тайных дел, и сам венценосный писатель) второй половины XVII века используют в своей практике один художественный метод изображения события в книжной практике, слагая общую картину истории из будничных событий, видя в них особый смысл, определяющий земную жизнь человека. А. М. Панченко отмечает: «Если прежде история определяла судьбу человека, то в канун петровских реформ человек предъявил свои права на историю, попытался овладеть ею. <…> Важно, что “новые учители” провозглашают идею о едином, цивилизованном времени, как бы упраздняя различия между вечностью и бренным существованием. Событие не находится в зависимости от Бога; событие – лишь “аппликация” на бесконечном потоке времени»[51].

[51] Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Панченко, А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2005. С. 136.

2.3. «Поэтизация» мира души человека в эпистолярной традиции переходного времени. Литературная традиция и авторская индивидуальность

2.3.1. От героя исторического масштаба – к герою повседневности (Послания царя Алексея Михайловича в Савво-Сторожевский монастырь)

Обращение к эпистолярному жанру в контексте рассмотрения переходных процессов в русской литературе представляется нам оправданным шагом по двум основным причинам. Первая заключается в том, что жанровая природа послания сама по себе уже изначально обладает «переходным» характером, находясь между двумя сферами книжной культуры Древней Руси: беллетристикой и делопроизводством. В силу объективных причин взаимодействие литературы и деловой письменности именно в XVII столетии приобретает новые формы. Как пишет С. К. Севастьянова, «интенсивное взаимодействие литературы и форм деловой письменности особенно ярко проявилось в XVII веке. В эпоху “переходного” периода роль эпистолярного жанра возрастает»[52]. Литература и документ, взаимопроникая и дополняя друг друга, открывают новые горизонты в творчестве автора переходного времени[53].

Вторая причина обращения именно к жанру послания как к наиболее показательной художественной форме переходного времени определяется уже стремлением на материале эпистолярного наследия Алексея Михайловича рассмотреть процессы литературной динамики, соотношения и взаимовлияния традиций Средневековья и Нового времени в рамках творчества одного из писателей переходного времени. Наблюдения, сделанные в ходе анализа ряда посланий, принадлежащих перу монарха (так называемые «чернения государевой руки») или написанных по его распоряжению, позволят дополнить и расширить представления об особенностях процессов, определяющих

---

[52] Севастьянова, С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками. Исследование и тексты. М.: Индрик, 2007. С. 6.

[53] Ромодановская, Е. К. К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях // Литература и документ: сб. науч. тр. / Ин-т филологии СО РАН; отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 2011. С. 5–16; Ромодановская Е. К. Литературные предисловия к документам в Древней Руси // Документальные аспекты литературы: сборник науч. тр. / Ин-т филологии СО РАН. отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2011. С. 6–17.

переходный характер русской литературы в изображении события и человека. Полученные выводы дополняют уже имеющиеся наблюдения о литературной природе посланий Алексея Михайловича как писателя, а также расширяют рамки рассмотрения процессов, происходивших в литературе переходного периода.

При рассмотрении переходных процессов в русской литературе, ярко обозначивших себя во второй половине XVII века, наряду с вопросами жанровой динамики, проявления активного авторского начала, стилевого своеобразия литературных сочинений, нельзя оставить без внимания и другой аспект – это характеристика образа человека, созданного в книжных памятниках определенного исторического периода. Нельзя сказать, что данный подход не известен отечественной медиевистике. Еще в середине 50-х годов XX века Д. С. Лихачев в книге «Человек в литературе Древней Руси»[54] предпринял попытку рассмотреть динамику изменения принципов изображения человека в разных стилях эпох, сменявших друг друга в процессе исторического развития русской культуры: «Литература древней Руси знала несколько стилей в изображении человека. В основном они последовательно сменяют друг друга, но иногда существуют и параллельно – в разных жанрах, обслуживающих разные потребности общества»[55].

В названной работе Д. С. Лихачев обозначил XVII век как период зарождения и формирования новых принципов изображения человека в русской культуре, как век перехода от Средневековья к Новому времени. Причиной изменения принципов изображения человека ученый назвал исторические события, тем самым поставив в условия тесного взаимодействия литературный и исторический процессы: «Начало XVII века было временем, когда человеческий характер был впервые “открыт” для исторических писателей во всей его сложности и противоречивости. До XVII века проблема “характера” вообще не стояла в повествовательной литературе. Литература Древней Руси была внимательна к

[54] Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., Л: Изд-во АН СССР, 1958. 186 с.
[55] Там же. С. 4.

отдельным психологическим состояниям. <…> Психологические состояния, отдельные человеческие чувства, страсти рассматривались со столь близкого расстояния, что они заслоняли собой самого человека, казались огромными, преувеличенными и не связанными друг с другом»[56].

Научный подход, примененный Д. С. Лихачевым при исследовании интересующей нас проблемы, предусматривал соотнесенность образа героя не только со стилем определенной исторической эпохи, но и с определенным жанром древнерусской литературы: летописью, житием, религиозно-дидактическими жанрами и др. Изображение человека в литературном произведении определялось конкретными жанровыми канонами, требованиями литературного этикета. Основным условием изображения героя в литературном произведении, как известно, было соответствие его поведения тому положению, которое герой занимал в средневековой иерархической системе. Иными словами, поведение князя в летописи должно было соответствовать поведению князя в реальной жизни; в поступках святого, совершаемых им в земной жизни, уже должны были предугадываться признаки его исключительности, которые затем агиограф детально представит как доказательства богоизбранности в житии и т. д. В связи с этим талант книжника определялся тем, насколько он умело использовал в определенных сюжетных ситуациях этикетные словесные формулы, соответствующие канону изображения определенного типа героя: «Именно предмет, о котором идет речь, требует для своего изображения тех или иных трафаретных формул. Раз речь заходит о святом – житийные формулы обязательны, будет ли о нем говориться в житии, в летописи или в хронографе»[57].

Известно, что концепция литературного этикета, предложенная Д. С. Лихачевым, определяла основы изучения поэтики произведений древнерусской литературы, «художественного видения человека в древнерусской

---

[56] Там же. С. 8–9.

[57] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев, Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 1. С. 346.

литературе и художественных методов его изображения»[58] в отечественной медиевистике на протяжении второй половины XX века и нашла свое отражение в исследованиях ученых: В. В. Кускова, Г. К. Вагнера, Л. А. Дмитриева, Е. К. Ромодановской и др. В работах сторонников научной школы Д. С. Лихачева[59] были подробно изучены и описаны определенные типы персонажей, характерные для древнерусской литературы: святой[60], идеальный князь, грешник, бытующие в соответствующих им повествовательных жанрах.

На рубеже XX–XXI веков актуализировали себя философско-антропологический, культурологический подходы, заявленные в работах Л. А. Черной. Продуктивность данного направления в изучении литературных памятников Древней Руси заключается прежде всего в том, что оно позволяет привлечь для исследования проблемы не только историко-литературные реалии, но и категории, которые объясняют динамику процессов, затрагивающих эволюцию человеческого сознания и психологии, словесно выраженных в письменных источниках. Для представителей философско-антропологического направления в изучении проблемы изменения концепции человека в Древней Руси важным становится изучение человека в его неотрывной связи с процессами, происходящими в культуре. Что такое человек, какое место он занимает в культуре, как происходило «“очеловечение” русской культуры»[61] – таковы основные вопросы, которые ставят перед собой представители этого направления в науке. По мнению Л. А. Черной, «принципиальная разница в подходе к культуре есть разница в подходе к феномену человека: ученые либо пытаются постичь культуру через человека – как бы “изнутри”, либо через анализ его социальных функций – “снаружи”. <…> Переходные периоды в культуре, с философско-

---

[58] Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси // Лихачев, Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 3. С. 3.

[59] Работы О. В. Творогова, С. А. Семячко, Н. В. Понырко, А. М. Ранчина, О. Н. Бахтиной, Е. К. Ромодановской, С. К. Севастьяновой, Л. Г. Дорофеевой и ряда других отечественных ученых.

[60] Приведем фундаментальное издание, подготовленное коллективом отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и посвященное изучению русской агиографии: Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / С. А. Семячко (отв. ред). СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. 784 с.

[61] Черная, Л. А. Философско-антропологический подход к изучению славянских культур // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации. М.: Наследие, 1998. С. 288.

антропологической точки зрения, – это смена концепции человека, отказ от старого решения проблемы человека и поиск нового решения»[62].

Подтверждением того, что проблема изучения человека в древнерусской культуре и литературе Древней Руси не потеряла до сих пор своей актуальности, могут свидетельствовать исследования российских ученых, в которых вновь поднимается вопрос о необходимости рассмотрения принципов изображения человека в древнерусской литературе, его типов в зависимости от жанровой традиции. Одна из последних работ в этом ключе – докторская диссертация Л. Г. Дорофеевой «Образ смиренного человека в древнерусской агиографии XI – первой трети XVII века»[63].

Эпистолярная традиция Древней Руси так же, как и другие жанровые формы, сформировала свой определенный взгляд на человека. При этом исследовательская литература[64], посвященная изучению жанра послания, отмечает одновременно как актуальность темы, сохраняющейся до сих пор в отечественной медиевистике, так и отсутствие ответов на ряд вопросов в существующей проблеме. С. К. Севастьянова считает, что «древнерусская эпистолография – одна из наиболее актуальных тем современной медиевистики и наименее изученная литературная форма славянского Средневековья»[65]. Максим Грек, Иван Грозный, Андрей Курбский, протопоп Аввакум, патриарх Никон – известные писатели Древней Руси, оставившие яркий след в эпистолярной традиции.

В этой плеяде царь Алексей Михайлович занимает не менее важное место в качестве автора посланий, на примере которых возможно проследить, как

---

[62] Там же. С. 288, 289.

[63] Дорофеева, Л. Г. Образ смиренного человека в древнерусской агиографии XI – первой трети XVII века. Автореф. дис. … д-ра филол. наук по спец. 10.01.01 «Русская литература». М.,2013. 49 с.

[64] Назовем несколько наиболее известных монографических исследований, посвященных жанру послания в древнерусской литературе: Буланин, Д. М. Переводы и послания Максима Грека. Л., 1984; Понырко, Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси XI–XIII века. Исследования. Тесты. Переводы. СПб., 1992.; Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998; Подтергера, И. А. Письмо и послания Симеона Полоцкого: автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2000; Журова, Л. И. Авторский текст Максима Грека: рукописная и литературная традиции: в 2 ч. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. и др.

[65] Севастьянова, С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками. Исследование и тексты. М.: Индрик, 2007. С. 6.

происходил процесс трансформации средневековых принципов изображения человека и вырабатывались авторские приемы, раскрывающие индивидуальный характер исторического персонажа, выходящего за рамки этикетных жанровых формул и устойчивых моделей своего поведения.

Значительное по своему объему эпистолярное наследие царя Алексея Михайловича позволяет рассмотреть различные типы героев, встречающихся в эпистолярном творчестве одного из наиболее колоритных авторов середины – второй половины XVII века.

О книжной образованности Алексея Михайловича, его укорененности в традиции христианской литературы говорилось уже много раз в многочисленных исторических, историко-литературных, публицистических работах отечественных авторов. Прекрасное знание книжных канонов позволяло царю применять их в своей писательской практике, тем самым демонстрируя начитанность и приверженность книжно-славянской традиции при создании образов персонажей посланий. Алексей Михайлович в определенных сюжетных ситуациях своих посланий использует риторические приемы, которые должны быть введены в текст грамоты согласно требованиям канона. Именно по этой причине в посланиях (вне зависимости от их жанровой разновидности) Алексей Михайлович прибегает к цитированию текстов Священного Писания как к одному из приемов аргументации и доказательства своей мысли. Цитата в то же время играет роль некоего фона, на котором ярко высвечивается образ героя послания. Поступки героя автором соотносятся с приводимой цитатой и позволяют дать определенную оценку герою послания.

Эпистолярное наследие Алексея Михайловича дает возможность увидеть несколько типов персонажей, наиболее распространенных в древнерусской литературе и упоминавшихся уже выше. В случае с эпистолярным наследием царя существуют примеры его посланий, которые отличаются стилистически, но объединены образом одного героя, изображенного в разных текстовых вариантах в зависимости от соответствующих стилевых ракурсов. Одним из таких примеров

можно назвать грамоты царя, написанные им собственноручно, героем которых является монах Никита, казначей Савво-Сторожевского монастыря.

Монастырский казначей Никита как герой посланий Алексея Михайловича иллюстрирует один из типов персонажей средневековой литературы – монаха-грешника, «прославившегося» своим поведением, не соотносимым с представлениями о христианской праведности. Никита, судя по челобитной, направленной царю архимандритом Гермогеном, отличился тем, что не соблюдал пост, преуспел в пьянстве, растрате казенных денег, рукоприкладстве и драках:

> <…> во 160 году (1652 год. – прим. *А. Ш.*), въ великой постъ, сказывалъ мнh старецъ Іосифъ Обольяниновъ, что онъ, казначей Никита, на Федоровой недhлh пилъ, а то мнh вhдомо: на первой недhлh великого посту онъ, казначей старецъ Никита, къ церкви не ходилъ, а сказывали мнh, что онъ тое недhлю не могъ, да онъ же, казначей старецъ Никита, того жь великого поста на шестой недhлh hздилъ бревенъ купить для монастырьского строенья, а съ нимъ hздилъ служка Куземка Ивановъ съ товарыщи и, пріhхавъ, тотъ Куземка, въ монастырь, сказывалъ мнh, что онъ, казначей Никита, hздя, пилъ, да онъ же, казначей Никита, послh Свhтлово Воскресенья, на четвертой недhлh hздилъ на пустошь Чистецъ, и, пришедъ въ монстырь, извhщали мнh на него, казначея Никиту, государева дворцового села Михайловского крестьяне, что онъ, казначей, hздя по деревнямъ, пилъ и, зahхавъ къ нимъ, въ село Михайловское, къ попу, пилъ и напився, ихъ крестьянъ билъ[66].

[66] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 685.

Таково содержание грамоты настоятеля монастыря, в котором он приводит подробное описание поведения монаха Никиты, не согласующееся с монастырским уставом.

Вполне вероятно, что личность монастырского казначея Никиты была хорошо известна самому царю, и тем сильнее была воспринята обида, нанесенная монарху глумливыми речами Никиты, направленными в том числе и в адрес Алексея Михайловича. Каково было содержание этих речей, остается только предполагать, поскольку царская приписка на грамоте стольника Алексея Мусина-Пушкина, посланного царем расследовать дело, приводит следующие комментарии:

> <…> во многомъ заплутался да на меня жялуетца, пишетъ к друзьямъ своимъ, какъ я ево не жялую, какъ онъ отъ от меня погибаетъ. Ей, зhло возмутилъ окаянной, а ино и писать нельзя; чяю, самъ сатана имъ и монастыремъ….[67]

Эмоциональная оценка деяний монаха Никиты получит свое отражение в посланиях царя в Савво-Сторожевский монастырь. Эти послания, адресованные архимандриту Гермогену и келарю Вельямину Горсткину, с одной стороны, демонстрируют искусство риторики, которым обладал Алексей Михайлович, а с другой – репрезентуют один из образов героев, представленных в эпистолярном творчестве царя – грешника, чинящего своими поступками и умыслом беззаконие, нарушающее христианскую мораль.

В этой ситуации представляется целесообразным рассмотреть, насколько Алексей Михайлович вписывается в традицию изображения отрицательного персонажа в эпистолярном жанре, а в каких моментах проявляет свою авторскую индивидуальность в создании ярких образов персонажей своих посланий, разрабатывает собственные авторские приемы создания образа героя-грешника, антагонистического по характеру и поступкам праведнику. Анализ приемов создания в послании образа казначея Никиты, фигурирующего в трех

[67] Там же. С. 695.

собственноручных посланиях царя Алексея Михайловича, позволяет дать точный ответ на поставленный вопрос: какие в переходный период русской словесности были задействованы механизмы в изображении персонажа в книжном произведении? Насколько старая средневековая традиция изображения персонажа в литературном произведении себя исчерпала к середине XVII века или же продолжала еще определять процесс создания образа героя? Именно поэтому послания царя Алексея Михайловича, написанные им самостоятельно, вызывают интерес как произведения переходной эпохи, репрезентирующие писательские приемы царя в его творчестве.

Дело казначея Савво-Сторожевского монастыря Никиты находилось в центре внимания государя, вызвав его бурную реакцию, выраженную в посланиях. По своей стилистике послания неоднородны, соответственно и образ грешника, преступившего монастырский устав, предстает в разных стилистических плоскостях. Знаменитое послание царя от 27 мая 1652 года, опубликованное В. И. Ламанским[68], составленное по всем правилам эпистолярного жанра и с соблюдением всех композиционных частей, можно назвать образцом ораторского искусства, в котором автор демонстрирует виртуозность владения приемами книжно-славянской риторики. Послание открывается, как того требовал канон, обязательным инскриптом – приведением монаршего титула согласно формуляру официального послания: «От царя и великого князя Алексhя Михайловича всеа Русіи». Первая фраза послания, содержащая царский титул, определяет тон всего текста и дает понять, что в нем будет выражена официальная точка зрения именно государя.

Последующий прескрипт в резкой форме выражает негативное отношение царя к своему адресату:

> Врагу Божію и богоненавистнику и Христопродавцу и разорителю Чюдотворцову дому и единомысленику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому, пронырливому злодhю Никитh.

[68] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 686–689.

Приведенные в начале послания обращения к монастырскому казначею Никите суть не что иное, как риторическая амплификация – один из приемов, характерных для эпистолярной традиции Древней Руси, призванный произвести максимальное эмоциональное воздействие на читателя. Однако для своей цели – образумить монаха – он использует ругательную лексику, что, на первый взгляд, может противоречить одному из главных правил эпистолярного этикета: быть корректным и проявлять к адресату уважение, не допускать оскорблений. Однако в рассматриваемом случае мы опять-таки сталкиваемся с одним из традиционных эпистолярных приемов, использовавшихся в особой разновидности жанра, – послание к недругу. Классическим примером подобных грамот в древнерусской эпистолографии, в монаршей эпистолярной традиции можно назвать послания Ивана Грозного, использовавшего в своих посланиях «глаголы нечистые и кусательные»[69].

Но Алексея Михайловича, как и Ивана Грозного, обвинить в незнании законов эпистолярного этикета невозможно. Во-первых, царь использует распространенный в книжно-славянской риторике прием амплификации, что уже снимает все возможные сомнения в книжной необразованности или невежестве монарха.

Во-вторых, в посланиях царя более позднего времени мы встречаем подобные примеры использования ругательной лексики, то есть, в данном случае, эпистолярных штампов. Например, в известном послании к Григорию Ромодановскому, в котором царь обвиняет воеводу в стратегических ошибках, допущенных им во время военной кампании и повлекших гибель людей. Алексей Михайлович сравнивает князя не только с библейскими персонажами (Ахитофелом, Дафаном, Ананием и его женою Сапфирою), вызывающими определенные ассоциации, связанные со лжесвидетельством, корыстью, непослушанием воле царя), но и с набором устойчивой лексики, имеющей

[69] Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М. Яз. рус. культуры, 1998. С. 225–235.

отрицательную коннотацию в книжности Древней Руси и ранее уже использовавшуюся царем в его эпистолярной практике:

> Враг креста Христова; О Іюда законопреступный; треокаянной и безглавной ненавистник рода Христіанского; наш вhрной измhнникъ и самово истинного сатаны сын и друг діаволов; непослушниче паче вchхъ человhкъ и др. (с. 772–774).

Послание к Григорию Ромодановскому и послания в Савво-Сторожевский монастырь построены по одинаковой схеме, в общей стилистике, с использованием общих приемов создания персонажа.

В связи с этим можно предположить, что Алексею Михайловичу были знакомы и письмовники[70] – особые сборники (своды), содержавшие образцы литературно украшенных посланий или их отдельных композиционных частей (прескрипта, например) на все случаи жизни и к различным лицам, в том числе и к недругам. И некоторые образцы посланий, содержащиеся в письмовниках, имели широкое распространение и могли быть ориентиром при составлении своего текста. К примеру, о существовании образцов посланий, адресованных к недругам, и об использовании их в монаршей эпистолярной практике говорят факты, обнаруженные еще А. С. Деминым и уточненные В. В. Калугиным при изучении переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским[71].

---

[70] Демин, А. С. Вопросы изучения русских письмовников XV–XVII веков: (Из истории взаимодействия литературы и документальной письменности) // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1964. Т. 20. С. 90–99; Его же. О литературном значении древнерусских письмовников // РЛ. 1964. № 4. С. 165–170; Его же. Русские письмовники XV–XVII вв.: (к вопросу о русской эпистолярной культуре): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1964; Буланин Д. М. Письмовники // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 2: Л–Я / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1989. С. 188–193.

[71] А. С. Демин установил текстуальную взаимосвязь первого послания Грозного к Курбскому с образцом эпистолярного послания к бывшему другу, содержащемся в одном из древнерусских письмовников «Сказание начертанию епистолиям, предисловиям и посланиям ко всякому человеку» (последняя треть XVI века). Доказано, что письмовник был одним из популярных на Руси и содержал в себе примеры ругательных писем. (См.: Голиков, А. Г., Круглова, Т. А. Письмовники как своды эпистолярных образцов // Голиков, А. Г., Круглова, Т. А. Источниковедение отечественной истории. М.: Издательский центр «Академия», 2008. С. 154–156.). В. В. Калугин также считает, «что Грозный знал это памятник еще до полемики с боярином» (Курбским. – прим. *А.Ш.*). Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М. Яз. рус. культуры, 1998. С. 136.

Повествовательная часть послания (семантема) царя Алексея Михайловича являет собою пример текста, написанного по законам красноречия с использованием приемов еще византийской эпистолографии. Как и требовала того традиция, в послании создана ситуация, имитирующая диалог составителя с адресатом. Многочисленные обращения к Никите, обилие риторических вопросов устраняют временную и пространственную дистанцию, разделяющую собеседников, один из которых берет на себя роль судии поступкам и речам провинившегося.

На основе использованных цитат, взятых из Священного Писания и введенных в послание, создается образ главного героя, потерявшего былое дружеское расположение царя. Общая стилистическая интонация, достигаемая за счет заимствованных цитат, – это великий гнев, который неминуемо обрушится на казначея Никиту. В связи с этим мотив Страшного суда и спасения души становится сюжетообразующим для послания Алексея Михайловича и привносит в послание пафос проповеди:

> О, окаянный врагъ, како не вострепещеши суда Божія? Како не устрашишися грозныхъ мукъ. <...> И я тебh за твое роптаніе спесивое учиню тебh то, чево ты вhкъ надъ собою такова позору не видалъ (с. 688).

Рассматриваемое послание демонстрирует традиционность авторского мышления, проявляющуюся в использовании цитат, которые одновременно дают характеристику герою-отступнику и выражают точку зрения монарха, его взгляды на ряд вопросов, в том числе на понимание государственного мироустройства,

---

Письмовники, как показывают исследования, не потеряли своей популярности в XVII веке и также предлагали различные варианты посланий, в том числе и к личным недругам. Примером может служить рукописный сборник середины XVII века из Главного собрания библиотеки Троице-Сергиевой Лавры (№ 808 сборник разных почерков, средины XVII века, в осьмую долю, 295 листов) – «Сказание и начертание епистолиям от божественных писаний своим любезнейшим братиям или сродником, такоже и ко всякому человеку», содержащее образец послания к недругу (Л. 281 об. – Л. 282 об.). «Господину, имрк, имрк челом бьет. И еще тебе господине добро доспею, ехати к тебе не смею, живеши ты господине вскупе, а толчеши в ступе, и то завернется у тобя в пупе, потому что ты добре опалчив вкруте, и яз твоего величества не боюся и впредь тебе пригожуся; да велел ты господине взяти ржи, и ты господине не учини в ней лжи» и т. д. URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=808&pagefile=808-0297

взаимоотношения правителя и его подданных. Многие выражения в послании царя имеют непосредственный источник в библейской или святоотеческой книжности. На основе этого наблюдения можно сделать вывод, что царь выражает свою мысль известными словесными формулами и клише, что, по сути, продолжает типичную для средневековья традицию составления правильного послания. Приведем несколько таких примеров с указанием явного библейского источника. Так, например, царь в начале основной части приводит полный перечень всех «преступлений» Никиты, известных ему из присланной челобитной, сопоставляя их с известными фактами библейской истории. Никита в своем стяжательстве «уподобился сребролюбцу Іудѣ, яко же онъ продалъ Христа на тридесять сребреникъ» (с. 686), продав «святое мhсто … на винные фляги» (с. 688), своими помыслами и произносимыми речами совершает преступление, сопоставимое с бунтом сатаны против Бога:

> Самъ сатана въ тебя, врага Божія вселился. … О, враже проклятый, и за что денница съ небесе свергнута? Не за гордость ли Богъ не пощадилъ (с. 686–687) и т. д.

Помимо подобных текстовых библейских ассоциаций, в послании есть и немалое количество примеров прямого цитирования священного первоисточника или отсылки к нему. Уличая монаха в гордыне, выразившейся в ложном самомнении и превышении своих возможностей, в избиении мужиков, царь приводит ассоциативную параллель поступку Никиты, апеллируя к Евангелию:

> Воспомяни Евангелское слово: всякъ высокосердечный не чистъ передъ Богомъ (с. 687).

Приведенная строка послания по сути является парафразом евангельского стиха: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». (Мф. 5:8) Ниже укажем еще несколько примеров использования царем евангельских и библейских цитат, являющихся для него неоспоримыми аргументами своего отношения к поступкам монаха Никиты.

Ей, не ложно Евангелское	Никто не может служить двум

реченiе: не можетъ рабъ двhма господинома работати, любо единого возлюбитъ, о друзhмъ же нерадhти начнетъ», (27 мая 1652 года, с. 687).

Горе тому человеку, который двемя стези шествует. (27 мая 1652 года, с. 688).

О братие! Добро есть Бога ради послушание творити Его с любовию. О полсушание! Всем верным спасение! Небес отверзение, человека от земли вознося. О послушяніе! сожителю ангеломъ. О послушяніе! Всъмъ святым питателю, о тебъ бо насадишяся и тобою совершишяся. (3 июня 1652 года, с. 697)

господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6:24).

Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным и грешнику, ходящему по двум стезям!

(Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Ветхий завет, Сир. 2:12).

Стих полностью заимствован из 14 главы «О послушании» (статья 28) патерика, получившего с XV века название «Скитский патерик», широко известного на Руси[72].

В совокупности все апелляции царя к священным текстам и использование их в послании призваны убедить адресата в ошибочности его поступков, опровергнуть несостоятельность заявлений Никиты и окончательно уничтожить его словом как врага, посягнувшего своими безрассудными действиями на незыблемость христианских заветов, одним из которых является покорность и верность подданного царской власти.

В этом случае послание Алексея Михайловича оказывается созвучно идеям Ивана Грозного, также высказанным в эпистолярных сочинениях (Курбскому, в

[72] Николаев, Н. И. Патерик скитский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (вторая половина XIV–XVI в.) / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. С. 321–325; Древний Патерик, изложенный по главам. М.: Правило Веры, 2009. Изд. 3. С. 292–308.

Кирилло-Белозерский монастырь). Контраргументы царя Алексея Михайловича свидетельствуют о преемственности во взглядах на природу царской власти. Как когда-то Иван Грозный обличал Курбского, видя в его бегстве заблуждение – Курбский бежит не от царя, а от гнева Бога, от которого нельзя скрыться, так и Алексей Михайлович неоднократно и в послании казначею Никите, и в посланиях другим адресатам проводит эту же мысль:

> <…> По изволенію Божію, нашъ государской чинъ пребываетъ и над вами.… <…> Не просто Богъ изволилъ намъ, великому государю и тлhному царю, честь даровати, а тебh принятии…. <…> Писано бо есть: сердце царево в руцh Божіи (Послание В. Б. Шереметеву, 6 мая 1660 года).[73]

Грех Никиты состоит в том, что он отверг покровительство святого, под сенью которого пребывает и сам царь, и предался искушениям, на который обрек его сатана, сотворив из него «врага Божія», «единомысленника сатанина», «злодhя», «скота», «разорителя Чюдотворцава дома», «лукавого врага», «тайного волка» и т. д.

В то же время Алексей Михайлович, адресуя свое послание казначею Никите, на самом деле рассчитывает на широкую аудиторию. И эта особенность также является соблюдением эпистолярной традиции. Царь требует, чтобы его послание было оглашено принародно в соборе:

> <…> велено роспечятоть и прочесть ее (царскую грамоту. – *А.Ш.*) на соборе. <…> И прочетчи сію грамоту на соборh и велhти взятии ево (Никиту. – *А.Ш.*) предъ вchмъ соборомъ, яко врага…

Подобная установка на публичность послания – это дань традиции, которую соблюдает Алексей Михайлович. В. В. Калугин пишет: «Автор знал, что с его произведением скорее всего ознакомится не только адресат, но и другие книжники, что его могут переписать, размножить, поместить в особые сборники.

[73] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 752.

Создавая послание, древнерусский писатель через своего адресата обращался ко многим читателям»[74]. Именно по этой причине Алексей Михайлович, как когда-то и Иван Грозный, пользуясь случаем, не только изобличает и карает преступника, но и выступает в роли духовного наставника, который обязан образумить свою паству, уберечь ее от совершения ошибок и выступить гарантом тишины и покоя. Именно установленный порядок и гармонию казначей Никита своими действиями разрушил, что не могло не вызвать гнева царя, выраженного в привычных для эпистолярной традиции риторических формулах.

Доказательством того, что поступок казначея Никиты сильно возмутил царя и заставил его взять перо и изложить свои взгляды на значимость Савво-Сторожевского монастыря, является его другое послание, адресованное уже всей монастырской братии. Новая грамота царя, как и предшествующее ей послание Никите, носит ярко выраженный официальный характер, демонстрируя позицию и отношение правителя к возникшей ситуации.

Известно, что в традиции древнерусской эпистолографии послание, адресованное духовному лицу, при соблюдении общих правил жанра требовало следовать некоторым формальностям. Прежде всего, это обязательное использование этикетных формул самоуничижения при обращении к духовному лицу. Начало послания царя изобилует формулами самобичевания, умаляющими образ царя земного перед небесным.

> Язъ грhшный, по Божію изволенію и по вашему почитанію, какъ есть царь, а по своимъ злымъ дhламъ, аки пес недостойный Владыки своего создавшего и грhшный, да еще и грhшенъ, не отмещюся, а вамъ, великим отцемъ, до земли челом бью (с. 696).

О литературной условности, этикетности подобных книжных штампов, часто встречающихся в эпистолярных сочинениях, сказано достаточно много в исследовательской литературе, посвященной рассмотрению стилистики

[74] Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М. Яз. рус. культуры, 1998. С. 145.

древнерусских посланий[75]. Как пишет В. В. Калугин, «покаяние и самобичевание в письме монахам предписывалось литературным этикетом».[76] Алексей Михайлович последователен в соблюдении данного правила, говоря о своей греховности («занеже зhло грhшенъ и беспрестани во грhсhхъ суетных пребываю»), неспособности произносить молитвы, поэтому и просит архимандрита и монахов молиться за него («молити за все православное государство, чтобы Господь Богъ избавилъ насъ, грhшныхъ и всhхъ православных христiанъ отъ всякаго совhта вражiя и поганьскаго нашествiя...»).

В перечислении просьб, обращенных к духовным лицам, царь постепенно подводит адресата к основной теме своего послания – необходимости соблюдать монастырский устав и охранять монастырь от посягательств как внешних, так и внутренних врагов. И поступок казначея Никиты в этом случае служит примером вероотступничества и грехопадения, на которое способен и монах. В этом фрагменте послания царь отходит от книжно-славянских риторических формул и позволяет себе высказать субъективное мнение в адрес казначея Никиты, меняет стилистику послания, переходя на разговорную речь:

> А у врага Чюдотворцева казначhя Микиты не перенимайте и не ревнуйте ни в чемъ злым ево обычьем и дhламъ! Ей, ей, тайной волкъ, а в люди казался простосерьдымъ обычаемъ и ни о чемъ васъ, господiе и братiе мои, молю, токмо имhйте повиновенiе и послушяніе ко отцу и наставнику и пастырю вашему душевному (с. 697).

Надо отметить, что Алексей Михайлович как писатель в своем послании искусно делает переход от одной стилистической манеры к другой. В результате создается ситуация диалога, основанного на смене стиля. Наиболее экспрессивно разговорная стихия языка в оценке поступка Никиты и монастырской братии

---

[75] Понырко Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси XI–XIII веков. СПб.: Наука, 1992. 224 с.
[76] Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М. Яз. рус. культуры, 1998. С. 148.

проявила себя в другой грамоте Алексея Михайловича, где он отступает от эпистолярного канона и в эмоциональной манере изложения описать сцену из монастырской жизни, полной динамизма:

> Васъ нhтъ (послание адресовано келарю монастыря Вельямину Горсткину и ризничему Филарету. – *прим. А.Ш.*), казначей всбhсился и задуровалъ, а архиморитъ аглохъ, а братья не токмо вино, но и табакъ пьютъ… (с. 695).

Позволив в разговорной форме дать оценку Никите и показать его двуличие, царь в этом же фрагменте вводит новую тему, которая затем получает свое развитие в финальной части послания (клаузуле). Завершающим аккордом послания станет тема послушания как основной добродетели не только монаха, но и любого христианина. Царь в этой части послания в качестве иллюстрации и доказательства своей мысли полностью цитирует стих из 14 главы «О послушании» Скитского патерика, тем самым придавая своему посланию религиозно-философский смысл.

Таким образом, результаты анализа посланий царя Алексея Михайловича, связанные с событием, произошедшим в Савво-Сторожевском монастыре по вине казначея Никиты, позволяют констатировать абсолютное владение мастерством составления «правильного» послания, следование книжно-славянской традиции эпистолярного жанра, ориентацию на литературные образцы. Соответственно, изображение героя этих посланий зависит от характера совершенных им поступков. Алексей Михайлович как автор официальных посланий середины XVII века показал себя в большей степени традиционалистом и приверженцем древнерусских правил письма, когда необходимо было выразить позицию государя. В посланиях же, носивших частный характер, автор позволял себе более свободное выражение своего мнения, не скованного словесными формулами. В этом случае образ героя «оживал» и приобретал свой характер, лишался привычного для средневековой книжной традиции религиозной абстрактности.

2.3.2. «Новый герой» в эпистолярном наследии царя Алексея Михайловича[77]

Русская литература, зародившаяся в лоне Церкви, приняла от Византии и усвоила особую систему мировоззрения, определявшуюся бинарным религиозным методом познания мира и человека. За семь веков развития христианское мировоззрение древнерусского книжника эволюционировало, последовательно меняя модели: от теоцентрической к антропоцентрической и к эгоцентрической[78].

К середине XVII века в силу ряда исторических обстоятельств прежняя картина мира и концепция человека, вербализованные в сочинениях древнерусских книжников, существенно трансформируются. Результатом процессов динамики в культуре и литературе переходного периода, как уже неоднократно отмечалось в исследованиях, стало появление в произведениях новых представлений о природе, человеке, его месте в мироздании[79].

Свидетельствами подвижности и неустойчивости мира в прежних его границах в переходный период русской культуры, впоследствии расколовшимся на два противоположных лагеря в результате церковной реформы Никона, могут являться полемические столкновения представителей антагонистических идейных направлений в русской культуре: традиционалистов во главе с Аввакумом и новаторов, сторонников идей европоцентризма, главным выразителем которых стал Симеон Полоцкий. Идеологический характер и литературно-эстетическая природа сочинений двух антагонистов, их роль в развитии русской культуры

---

[77] Отдельные фрагменты данного параграфа представлены в моей статье: Шунков, А. В. Динамика мировоззренческих представлений русского книжника в переходный период. (На примере эпистолярного творчества царя Алексея Михайловича) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2014. № 4. С. 100–107;
URL: http://vestnik.kemguki.ru/images/stories/vestnik_2014/vestnik292.pdf#10

[78] На принципе смены систем мировоззрения в древнерусской литературе построена предложенная проф. А. Н. Ужанковым концепция развития русской литературы XI – первой трети XVIII века: «В истории русского средневекового мировоззрения отчетливо выделяются три этапа развития *сознания*: теоцентрический, антропоцентрический и эгоцентрический, соответственно формирующие творческое *сознание* древнерусских писателей (речь идет именно об *осознании* своего творческого труда). Три типа сознания формируют три “культурные среды”, названные мной литературными формациями» (Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. слав. культуры, 2009. С. 256).

[79] Демин, А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М.: Наука, 1977.

переходного времени научно доказаны и объяснены в работах А. М. Панченко[80]. В частности, он пишет: «Это был не историографический, а историософский спор – спор об историческом идеале, исторической дистанции, о соотношении духа и интеллекта, человека и времени, о вечности и бренности, о прошлом, настоящем и будущем»[81]. Заявленная позиция и приводимые аргументы каждой из противоборствующих сторон в ситуации идеологического противостояния и отстаивания своей «правды» являются свидетельством того, что мир во второй половине XVII века находился в движении и был поставлен в ситуацию выбора своего дальнейшего пути развития. Именно по этой причине антиномичность как проявление столкновения двух противоположных и взаимоисключающих идей определяет поэтику произведений переходного периода.

Отмеченная особенность характерна и для эпистолярного творчества наиболее ярких исторических фигур эпохи, к числу которых, несомненно, относится и царь Алексей Михайлович. Историки XIX века (С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров) были единодушны в оценке второго царя из династии Романовых как личности, противоречивой по своему характеру. Алексей Михайлович, воспитанный в традиции Древней Руси, но в то же время уже стремившийся реформировать уклад жизни русского общества, заложил основы будущих преобразований в России в эпоху правления его сына Петра I. «Среди западников и старозаветных людей, не принадлежа всецело ни к тем, ни к другим, стоит личность самого царя Алексея Михайловича», – так определил местоположение монарха в современной ему истории С. Ф. Платонов[82]. «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее

[80] Панченко, А. М. Русская культура в канун Петровских реформ // Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005. С. 81–333. (Первое издание книги вышло в 1984 году: Русская культура в канун петровских реформ / АН СССР, ИРЛИ; отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1984. 205 с.).

[81] Панченко, А. М. Русская культура в канун Петровских реформ // Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005. С. 124.

[82] Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории. М.: Высш. школа, 1993. С. 410.

черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении», – таким царь предстает перед нами с точки зрения В. О. Ключевского[83].

Очень важным представляется тот факт, что фонд эпистолярных сочинений Алексея Михайловича позволяет не только использовать его как дополнительный комментарий к контексту событий, происходивших в русской истории второй половины XVII века, но и как материал, предоставляющий возможность исследователю увидеть появление в русской литературе переходного времени нового типа «героя своего времени», героя, в характере которого нашла свое отражение эпоха со свойственной ей противоречивостью и антиномичностью.

Послания царя Алексея Михайловича, представляющие 30-летний период его жизни,[84] позволяют в рамках творчества одного автора проследить эволюцию мировоззренческих идей в литературе переходного периода, на фоне традиционных средневековых методов создания письменного текста увидеть новаторские приемы в изображении портрета героя, используемые в писательской практике. В целом эпистолярное творчество царя Алексея Михайловича условно можно разделить на два периода, каждый из которых отражает его мировоззренческие позиции, выраженные в тексте посланий. Границей между двумя периодами можно назвать историческое событие, которое сыграло свою роль в формировании личности монарха, – это Русско-польская война 1654–1667 годов. В своих записках С. Коллинс так оценил этот исторический период, повлиявший на личность русского царя: «С тех пор, как Его Величество был в Польше, видел тамошний образ жизни и стал подражать Польскому Королю, круг его понятий расширился: он начинает преобразовывать двор, строить здания красивее прежнего, украшать покои обоями и заводить увеселительные дома»[85]. Ранее уже отмечалось, что война России с Польшей отразилась на политическом

---

[83] Ключевский, В. О. Сочинения в 9 т. М.: Изд-во «Мысль», 1988. Т. 3. С. 301.

[84] Самые ранние (три письма в издании Петра Бартенева 1856 года. См.: Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856) датированы 1646 годом. Последнее письмо написано за год до смерти – письмо семье, приблизительно датируемое 1674–1675 годами. (См.: Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896. Т. 5. С. 73–74).

[85] Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуила Коллинса, который девять лет провел при Дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича // Утверждение династии. – М., 1997. С. 207.

курсе страны и определила ее новый культурный вектор развития, ориентированный на принятие и усвоение европейской модели мироустройства[86]. Также два этапа эпистолярного творчества царя иллюстрируют смену ценностной парадигмы личностных качеств человека в переходную эпоху, в конечном итоге приводящей к индивидуализации и персонализации героя в эпистолярных сочинениях монарха.

Послания, написанные в конце 40-х – в 50-е годы XVII века, отражают взгляды молодого царя, определяемые еще средневековым (в традиции древлего благочестия) подходом в понимании устройства мироздания и положения в нем человека. Воспитанный и опекаемый в начале своего правления представителями старой традиции, покоящейся на принципах византийской патриархальности, Алексей Михайлович в своих сочинениях последовательно проводит мысль о необходимости соблюдать заветы старины, жить так, как жили отцы и деды («отчич и дедич»).

Всякий поступок, выходящий за установленные рамки, ведет к разрушению порядка («чина») и воспринимается как посягательство на установленный Богом закон. Царь несет ответственность перед Всевышним за все деяния, вольно или невольно совершенные его подданными. «Сердце царево в руце Божией» – это библейская цитата из Книги Притчей Соломона (Притч. 21: 1) будет приводиться в многочисленных царских грамотах как доказательство убежденности Алексея Михайловича в своем мессианском предназначении быть царем православного мира, пастырем и грозным судьей для своих подданных, исполнителем воли Господа на земле:

> Рабе Божій, вhдаеш ли, како от Бога поставленнымъ, а отъ насъ, великого государя…, и во учененныхъ надъ людми Божіими, какое попеченіе

[86] Севастьянова, С. К., Шунков, А. В. Русско-польская война и идея власти в России в середине XVII века // Homo communnicans II: человек в пространстве межкультурной коммуникации: сб. ст. под ред. Кристины Янашек и др. Щецин, 2012. С. 251–259.

имѣти о нихъ и какое вамъ послушяніе къ намъ, царемъ, имѣть[87].

В этой ситуации долг подданных – быть покорными воле земного царя, помазанника божьего. Как некое программное сочинение, в котором высказано царем понимание и видение природы царской власти, принципы, на которых должны выстраиваться взаимоотношения между государем и его подданным, может быть названо обширное послание с царскими правками к князю Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому[88]:

И въ томъ ты *пред Богом* … солал, *а от насъ вел. государя, неутаимая хотелъ утаить*. И так дълаютъ недумные *и худые люди*, а думнымъ нашимъ великого государя людемъ ложно писать не довелось. *От вѣка того не слыхано, чтобы природные холопи государю своему в ратном дѣле в находкахъ и въ потеркахъ писали неправдою и лъгали*[89].

Понимание высокой ответственности за свои земные поступки – черта, характеризующая Алексея Михайловича и выражающаяся в использовании в писательской практике книжных приемов, которые были закреплены в книжной традиции Средневековья. Царь в посланиях очень часто прибегает к использованию традиционного для древнерусской литературы приема самоуничижения, подчеркивая тем самым смирение перед Богом:

<…> занеже зѣло грѣшенъ и беспрестани во грѣхахъ суетныхъ пребываю и николи же отдохновеніе имать отъ злыхъ грѣхъ своихъ……[90].

Стоит пояснить, что царь использует устойчивые речевые обороты, призванные подчеркнуть его греховность, не ради соблюдения литературного

---

[87] Приведенный фрагмент вписан царем собственноручно в текст грамоты. Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 748.

[88] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 742–749.

[89] Фразы, выделенные курсивом, вписаны в текст послания, адресованного князю И. И. Лобанову-Ростовскому, рукою царя. В. И. Ламанский, публикуя письмо во 2 т. Записок отделения Русской и Славянской Археологии, сохранил эту особенность. См.: Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 743.

[90] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 696.

этикета и демонстрации своей книжной образованности. В противном случае это могло привести к обратному эффекту – к пробуждению гордыни, проявляющейся в упоении своей ученостью и книжным умом. Алексей Михайлович как и любой христианин это прекрасно понимал. Использование в писательской практике одних и тех же устойчивых речевых оборотов, подчеркивающих смиренность и покорность, в данном случае может быть сравнимо с молитвенным словом, которому уже имманентно присуща вневременная авторитетность, не зависящая от воли автора[91].

Как было отмечено нами ранее, «Алексей Михайлович вполне серьезно воспринимает вводимые им в тексты посланий этикетные речевые обороты как непреложные аргументы, которые не могут вызвать сомнения в своей истинности уже в силу того, что они прочно укоренены в книжной традиции и порождают у читателя устойчивые смысловые ассоциации. И в данной ситуации “чужое” слово, используемое в писательской практике царем, не воспринимается таковым»[92]. Наоборот, частотность его включения в свой текст демонстрирует одну из особенностей писательского мышления монарха – его православный традиционализм, основу которого составляет христианское понимание характера человека, выражаемого не только через его поступки, но и через слово. Поэтому Алексей Михайлович в своих посланиях характеризует адресата, одинаково оценивая дела его и речи, произнесенные им. И поступает именно так, как это показано в книгах Священного Писания:

> Воспомяни, *человhче*, Спасово слово: на кого призрю? На кроткого и смиренного и трепещющего словесъ Моихъ; отъ кого отвращуся? Отъ гордого,

---

[91] Эту особенность слова, понимание его природы в христианской культуре отметил Ю. М. Лотман: «Одной из особенностей русской средневековой культуры был особый авторитет Слова. Слово совмещает в себе и разум, и речь, и одно из наименований Сына Божия, и данный им людям закон. <…> Слово никогда не ставится в один ряд с другими искусствами: они получают авторитет извне, от сакральных или феодальных ценностей. Слову же авторитетность присуща имманентно, как таковому». См.: Лотман, Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII века // Из истории русской культуры. Т. 4 (XVIII – начало XIX века). М., 1996. С. 88–89.

[92] Шунков, А. В. Динамика мировоззренческих представлений русского книжника в переходный период. (На примере эпистолярного творчества царя Алексея Михайловича) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2014. № 4. С. 102;
URL: http://vestnik.kemguki.ru/images/stories/vestnik_2014/vestnik292.pdf#10

немилосердаго, братоненавистца, отъ лживаго и кленущагося во лжу Мною и Моимъ именемъ святымъ[93].

В жизненной практике этот принцип, определявший идеал поведения христианина и приведенный из письма, адресованного князю И. И. Лобанову-Ростовскому[94], получает бытовое воплощение: любое совершенное подданным дело, а особенно в котором заинтересован сам монарх, должно быть подробно изложено и описано по чину в послании царю без утаивания каких-либо деталей. Точность в действиях и быстрота исполнении царского указа становятся неотъемлемой частью придворного этикета поведения подданного.

<…> скоро къ намъ, великому государю, не отписалъ. … А какъ, по указу насъ, великого государя, велhно тебh, околничему нашему и воеводh, быть на нашей великого государя службh, и мы, вhликій государь, тебh, околничему и воеводh, приказывали изустно о Божіи и о нашемъ великого государя дhлh промышлять со всякимъ радhньемъ, отложа всякую гордость и спhсь, и объ указhхъ писати къ намъ, великому государю. И ты то творити обhщался и то свое обhщаніе позабылъ и, не помня нашего великого государя словесного приказу, дhлалъ своею гордостью и самоволствомъ, отложа упованіе на Бога[95].

В то же время в посланиях, редактированных или написанных самим царем, нельзя не заметить совершенно новые риторические приемы, «оживляющие» эпистолярную традицию и передающие уже индивидуальный стиль письма автора. В результате образы персонажей (адресатов этих посланий) становятся «очеловеченными», с индивидуальными своими характеристиками. И на общем фоне эпистолярного чина подобные примеры текстовых фрагментов предстают уже как явления новой литературной техники в переходный период. Под пером

[93] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 746.
[94] Там же. С. 742–749.
[95] Там же. С. 746.

Алексея Михайловича образы героев в его посланиях получаются зримыми, выпуклыми, выходящими за рамки средневековой этикетности.

Подобные примеры позволяют говорить о начале постепенного формирования новой концепции личности в русской литературе переходного периода еще задолго до появления представителей русского барокко, с именами которых традиционно связывают коренное изменение всей литературной системы во второй половине XVII – начале XVIII века[96]. Алексей Михайлович отступает от средневековых правил в оценке действий адресата послания и определяет его сущность не через религиозно-этические категории, а на основе собственных наблюдений, позволяющих сделать выводы о природе человеческой личности по его поступкам.

Так, по мнению Л. А. Черной, одним из первых авторов, кто стоял у истоков открытия личности человека в русской литературе переходного периода, был поэт Симеон Полоцкий. «Симеон Полоцкий стоял в самом начале открытия “я” в русской культуре, и его интересовала пока только личность монарха, при изображении которой он использовал художественные приемы, перешедшие затем в русскую литературу XVIII века»[97]. Однако задолго еще до появления в русской культуре первого поэта-силлабика, предпринявшего попытку в своем творчестве по-новому подойти к описанию характера человека, эти же особенности нельзя не увидеть в творчестве самого монарха, ставшие впоследствии предметом изображения в поэтических сочинениях ученого монаха[98].

Новизна изображения героев эпистолярных сочинений Алексея Михайловича прежде всего проявляется в том, что они выходят в своих поступках за границы привычного «чинного» и «уставного» поведения человека, что не может не вызвать эмоциональной реакции царя, поскольку подобные действия «ябедников,

---

[96] Черная, Л. А. Концепция личности в русской литературе второй половине XVII – первой половине XVIII века // Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII в. / отв. ред. А. Н. Робинсон. М.: Наука, 1989. С. 220–231.

[97] Черная, Л. А. Указ. соч. С. 224.

[98] Еремин, И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. 1948. Т. 6. С. 125–153; Его же. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987. С. 282–304.

обышных людишек» ведут к нарушению установленного свыше порядка. В результате живого отклика царя на поступки своих «холопей», «государевых и родословных людей» в его эпистолярном творчестве возникает целая галерея образов (сравнимых с «парсунами», если использовать лексику исторической эпохи) героев, каждый из которых, несмотря на то, что принадлежит определенному типу (праведник или грешник), обладает своими особыми индивидуальными чертами. И вот в этих моментах, как отмечают исследователи, уже «ощутима эпоха, канун нового времени с его апелляцией к личности, со стремлением сознательно задействовать внутренние силы и энергию человека»[99].

В «портретной» галерее эпистолярных образов, написанных царем, находятся исторические лица, которые могут быть названы героями переходного времени в силу неоднозначного отношения к ним самого царя Алексея Михайловича. Персонажи, обладающие чертами характера человека, сформированного особым временем – динамичным и быстро меняющимся, предъявлявшим такие же требования и к самому человеку. В результате герои посланий царя Алексея Михайловича предстают как иллюстрации оттенков человеческого характера, порожденного «бунташным веком».

Символично, что и сам Алексей Михайлович как в восприятии иностранцев, посетивших Россию во время его правления (Самюэль Коллинс[100], Август Майерберг[101], Яков Рейтенфельс[102], Павел Алеппский[103]), так и соотечественников

---

[99] Андреев, И. Л. Алексей Михайлович: штрихи к портрету // Исторический вестник. Романовы: династия и эпоха. М., 2013. Т. 3 [150]. С. 65.

[100] Коллинс, С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуила Коллинса, который девять лет провел при Дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича // Утверждение династии. М., 1997. С. 1–42.

[101] Так, например, Август Майерберг рассказывает историю с кровопусканием царю. После того, как царю было сделано кровопускание, он предложил боярам пройти такую же процедуру. Ни один из бояр не смел отказаться, дабы не навлечь на себя царский гнев. Единственный, кто решил отказаться от «потехи», был Родион Матвеевич Стрешнев, приходившийся родственником царю. Царь, придя в негодование из-за отказа, избил окольничего, а затем, остыв от гнева, просил прощения у жертвы, одарив его щедро. См.: Путешествие в Московию барона Августина Майерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи, послов Августейшего Римского Императора Леопольда к Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное самим бароном Майербергом. М., 1874. С. 55.

[102] Рейтенфельс, Я. Сказания светлейшему Герцегу Тосканскому Козьме Третьему о Московии // Утверждение династии. М., 1997. С. 240–406.

[103] Павел Алеппский в 1654–1656 годах сопровождал Антиохийского патриарха Макария в путешествии в Россию. Об увиденном оставил свои записки на арабском языке. См.: Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине XVII. СПб., 1898; Путешествие антиохийского патриарха

(Симеон Полоцкий, Григорий Котошихин[104], протопоп Аввакум[105]) представал противоречивой фигурой и получал неоднозначные оценки своих поступков.

Стремясь к соблюдению «чина» во всех сферах жизни (и в светской, и особенно в церковной) Алексей Михайлович, как показывают исследования его сочинений, особое внимание уделял словесной стороне ритуализации жизни: «Торжественный, насыщенный особого рода символикой придворный церемониал, включавший и формы словесности, являлся своеобразной семиотической конструкцией, приводящей в связь различные уровни общественного сознания и культуры. Поведение участников придворного церемониала регулируется риторикой»[106]. Однако даже в четко упорядоченном и выстроенном по законам риторики послании сам Алексей Михайлович как книжник позволял себе выйти за рамки словесного церемониала. В конечном итоге это приводило к появлению текстовых форм, обладающих иным звучанием, приближенных к разговорному языку, выражающему естественное отношение автора к герою послания.

> Воздохни-тко по-старому, как при Стефане, бывало, добренько, и рцы по рускому языку: “Господи, помилуй мя грешнаго!” А кирелеисон-от отставь; так елленя говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах... Любит нас бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лучше тово?[107],

– таков совет давал царю протопоп Аввакум, сторонник другого понимания природы слова.

Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Выпуск 1 (От Алеппо до земли казаков) // Чтения в обществе истории и древностей российских, Книга 4 (179). 1896. С. 3–10.

[104] Котшихин Г. К. О России, в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884.

[105] «Бог судит между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, слышал я от Спаса» // Челобитная царю Федору Алексеевичу / Житие Аввакума и другие его сочинения. М.: Советская Россия, 1991. С. 99.

[106] Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Яз. славян. культур, 2006. С. 146.

[107] Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 159.

Примерами «живых» портретов героев, выходящих за рамки ритуализованного текстового пространства послания, могут служить патриарх Иосиф из «Статейного списка» 1652 года, испытывающий страх и ужас от ожидания наступления своей смерти и тем самым обнажающий свою греховность; казначей Савво-Сторожевского монастыря Никита, который, по словам царя, «всбѣсился и *задуровалъ*[108]», растратил монастырские деньги и предался разгулу: «Ей, ей, тайной волкъ, а в люди казался простосерьдымъ обычяемъ»[109]. Интересно, что приведенная характеристика казначея Никиты стилистически уподобляется манере письма, использованной протопопом Аввакумом в своем Житии при характеристике патриарха Никона: «Егда же приехал, с нами, яко лис: челом да здорово! Ведает, что быть ему в патриархах и чтоб откуля помешка какова не учинилась»[110].

В новой художественной парадигме, по сравнению со средневековой, находится и собирательный образ московских бояр, упоминающихся в послании к князю А. Н. Трубецкому[111] и сопровождающих царя в польском походе. Вводимый в послание художественный образ облака, символизирующий бояр, создан на основе развернутой метафоры и передает типичные, с точки зрения Алексея Михайловича, черты характера: лицемерие, лукавство, корысть:

> А у насъ hдутъ с нами отнюдъ не единодушiем, наипаче двоедушiем, какъ есть ***оболока*** <…>[112].

Важной лексико-стилистической деталью здесь является замена церковно-славянского слова «новомесячие», означающего «первый день каждого лунного месяца»[113] на слово, имеющее русское происхождение[114]. Царь зачеркивает в рукописи первый вариант как семантически не соответствующий и не

---

[108] Слово в текст послания, адресованного келарю монастыря Вельямину Горсткину, вписано рукою царя.
[109] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 697.
[110] Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. М.: Советская Росси», 1991. С. 35–36.
[111] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 716.
[112] Там же. С. 716.
[113] Выделенное слово в послании царя вписано вместо вычеркнутого «*новомhсячiе*». См. Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 716.
[114] Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Рус. яз., 1999. Т. 1. С. 586.

отражающий истинного характера созданного образа и авторского отношения к нему.

Не менее интересны и другие герои эпистолярных сочинений царя, отличающиеся своей индивидуальностью. Надо признать, что Алексей Михайлович как писатель прекрасно чувствовал слово и умело им пользовался в своей практике. Мы уже отмечали, что царь в своей писательской практике прекрасно владел приемами риторки, свойственной средневековой книжной традиции. В то же время Алексей Михайлович мог и отступить от требований формуляра и дать личную оценку герою, не прибегая к этикетным словесным формулам. В таких случаях одним из приемов, которым пользуется Алексей Михайлович, является ирония, в полной мере проявившая себя, например, в послании к Никону, известившем его о смерти патриарха Иосифа.

Однако эпистолярное наследие монарха демонстрирует проявление иронического отношения автора к своим героям и в ряде других посланиях. Так, например, в одном из своих писем к А. С. Матвееву (23 января 1655 года из Вязьмы) Алексей Михайлович не может не рассказать своему ближайшему другу о встрече с шведским посланником, поразившим и удивившим его своей глупостью, как считает монарх:

> Посланникъ приходилъ отъ Свейсково Карла короля думной человhкъ, а имя ему Удде Удла, а таковъ смышленъ, и купить ево то дорого дать, что полтина, хотя думной человhкъ. Мы, великій государь, въ десеть лhтъ впервые видимъ таково глупца посланника, а присланъ нарокомъ такой глупецъ <...>[115].

Царь абсолютно искренен в передаче своего впечатления от произошедшей встречи и считает, что тем самым шведский король показал свое отношение к русскому государю:

---

[115] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 726.

> <…> хотя и глупъ, да што же дѣлать, така намъ честь[116].

Приведенный пример показателен еще и в том плане, что имеет двойственный характер: он не только содержит характеристику героя, но и обладает зеркальной проекцией и на самого автора. В образе посланника, который, по мнению автора, не отличается умом, Алексей Михайлович видит отношение к себе соседей. Алексею Михайловичу ничего не остается делать, как смириться с этим фактом. В своем письме Алексей Михайлович жалуется А. С. Матвееву на то, что шведский король (Карл X Густав) в своей грамоте, адресованной русскому царю и переданной через посланника «братомъ не смѣлъ писатца к намъ, великому государю…». В совокупности все эти эмоциональные ноты в диапазоне от иронии, юмора до сожаления, звучащие в небольшом фрагменте послания, создают «живой» образ автора грамоты, не связанного в своем творчестве жанровыми формальностями.

Искренность в выражении своего отношения к герою послания присутствует и в ряде других посланий Алексея Михайловича. В этом отношении показательна грамота к А. Л. Ордину-Нащокину[117], написанная в двух разных стилистических традициях. Первая часть грамоты – официальное послание, составленное дьяком с соблюдением формуляра. Вторая же часть является уже собственноручным текстом Алексея Михайловича, в котором сразу же автор послания устраняет дистанцию между собою и адресатом, обращаясь к нему по имени.

> Афанасей Лаврентьевичь! В прежних временах люди говаривали про тебя всяко: да одно у него добро. Богъ де милует да царь жялует, а и нынъ милость Божія свыше прежнева, а и мы к тебъ всякаго добра желаем…[118].

Подобный прием – отказ от соблюдения формуляра, обращение к адресату не «по чину», а как к близкому человеку, царь часто использовал в своей практике.

---

[116] Там же. С. 727.
[117] Записки отделения русской и Славянской Археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 766–767.
[118] Там же. С. 767.

Известно, например, письмо к Афанасию Матюшкину, начинающееся с обращения к нему «Брат!»[119].

В другом послании А. И. Матюшкину[120] царь в прескрипте позволяет себе объединить в одну начальную фразу требования формуляра (как и положено, приводится официальный титул государя) и обращение, демонстрирующее дружеское и ироничное отношение царя к своему адресату и намекающее на событие, по всей видимости, произошедшее с Матюшкиным на охоте:

> От царя и великого князя Алексhя Михайловича всея Русиі стольнику нашему Афонасью слепому.

Послание известно тем, что в деталях рассказывает о потехе царя – купании в проруби стольников, опаздывающих к смотру. Послание настолько показывает человечное лицо царя, что оно не могло остаться не замеченным ни одним поколением исследователей, интересовавшихся исторической эпохой и личностью Алексея Михайловича, его литературным творчеством[121]. К высказанным ранее наблюдениям, имеющим отношение к этому посланию, добавим то, что оно органично вписывается в процессы, происходившие в литературе переходного периода, является одной из их иллюстраций. В своем послании Алексей Михайлович, используя разговорный язык, рисует повседневную сторону жизни царя вне парадного и официального церемониала. Небольшое по объему послание тем и ценно, что в нем проявляется человеческое начало – художественное открытие русской литературы переходного периода. Герои незатейливой потехи (и царь, и стольники) объединены общим эмоциональным состоянием, что делает их с этой стороны равными.

Одновременно в послании нельзя не заметить и авторской иронии, проявляющейся в описании потехи. В наименовании водоема (пруд, как указано в

---

[119] Бартенев, П. Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 54.

[120] Опубликовано в издании П. Бартенева. С. 77–78 по рукописному источнику РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 51/1.

[121] Так, например, И. Е. Забелин время написания царем письма определил 1653 годом. См.: Забелин, И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 237.
Послание также привлекло внимание и С. М. Соловьева, который увидел в царской потехе «патриархальные отношения… без прикрас, во всем своем непригожестве». См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1961. Кн. VI, т. 11–12. С. 615.

посланию) царь использует маркированное слово «Иордань», связанное с христианским обрядом Крещения:

> Да извещаю тебѣ, што тнм і тншюся, што стольников безпрестани купаю ежеутр в пруде. Іордань хорошя здһлана: человека по четыре і по пяти и по двһнадцати человек за то, хто не поспеет к моему смотру, так тово і купаю. Да после купанья жалую я: зову их ежеден. У меня купальщики те ядят доволи, и иные говорят: мы де нароком не поспһем, так де и нас выкупают да і за стол посадят. Многие нароком не поспевают[122].

Присутствующая в тексте послания авторская ирония создает ситуацию переноса сакрального начала в повседневность, обрядовое действо трансформируется в потеху, также объединяющую всех ее участников в переживании общего эмоционального состояния, но не связанного уже с сакральным событием. Стольники, прошедшие веселое «крещение», затем «причащаются» – получают в качестве вознаграждения возможность вкусить вместе с царем пищу за столом, и все действо в итоге завершается пиром, своего рода «причащением».

Таким образом, бытовая сцена, изображенная царем в дружеском послании, может быть сопоставима с обыгрыванием традиционного обрядового действа, превращающегося в потеху в условиях частной, дружеской ситуации. Сцена, изображенная царем в послании, еще не является пародией в том понимании, как это свойственно ряду явлений культуры переходного периода русской литературы[123]. В данном случае можно говорить о приеме «пародического использования», как это предлагается Е. К. Ромодановской: «…пародичность – это использование формальных приемов “положительного” образца для

[122] РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 51.
[123] Пародия как осознание формы // Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994. С. 165–181.

внелитературных целей»[124]. Одно из ранних посланий царя, принадлежащих к раннему периоду творчества, обладает признаками, сближающими его со смеховой культурой. Таким признаком можно назвать присутствие игрового начала, театральности, проявляющейся и в разыгрываемом среди стольников представлении, и в просьбе, которую получает Матюшкин от царя, посетить его семью, предварительно сменив свой наряд, чтобы у сестер сложилось впечатление того, что Матюшкин приехал от царя:

> Нарядись въ hздовое платье да сѣhзди к сестрам, бутто ты от меня приhхалъ, да спрошай о здоровьh, да скожи, што я буду в воскресенья, што будет, а то, кончяя (скорее всего, по крайности. – *А.Ш.*), што в понедельник часу в четвертомъ дни.

Таким образом, дружеское послание Алексея Михайловича оказывается примером текста, в котором наряду с каноническими жанровыми требованиями присутствуют признаки зарождения нового эстетического сознания автора. Новизна выражается в использовании художественных приемов, благодаря которым в послании создается комизм ситуации, привносится ирония, направленная в адрес героя. Одновременно к ранее уже отмеченным наблюдениям, характеризующим эпистолярные сочинения царя как произведения переходной эпохи, можно добавить еще несколько, с нашей точки зрения, важных. Послания, если их рассматривать как единый текст, обладают признаком, который по-новому представляет позицию автора. Автор выступает здесь в роли творца текста и одновременно он же и герой того мира с его персонажами, который создается. В итоге послания Алексея Михайловича демонстрируют ситуацию, свойственную барочной традиции: «“я” персонажа, тем более “я” рассказчика – вполне подобно “я” самого автора, и наоборот»[125].

Эпистолярные сочинения царя можно назвать образцами «переходного текста» в силу того, что на их примере как раз и возможно проследеить появление

---

[124] Ромодановская, Е. К. Указ. соч. С. 174.

[125] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 345.

в русской литературе того признака, который активно будет проявлять себя в русской барочной литературе. Послания Алексея Михайловича, в которых подробно автором изображены эпизоды, случаи из жизни, все, что имеет непосредственное отношение к судьбе царя и его адресатам, – все это способсвует формированию и открытию в русской литературе переходного времени «*другой человеческой роли другого "я"*»[126].

Таким образом, отмеченные признаки в совокупности с другими позволяют говорить о посланиях Алексея Михайловича как о произведениях, представляющих переходный тип литературного текста.

2.4. Элементы беллетризации в документальном тексте переходного периода развития русской литературы (Григорий Котошихин «О России в царствование Алексея Михайловича»)

Григория Карповича Котошихина, подьячего Посольского приказа и автора известного сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича»[127], можно назвать одним из ярких исторических персонажей эпохи переходного времени. За время своей дипломатической службы он совершил ряд неблаговидных поступков (в том числе получил взятку от шведского эмиссара Адольфа Эмерса) и вынужден был бежать из России в конце лета 1664 года. С позиции официальной истории все это характеризует его как государственного преступника, который, руководствуясь корыстными мотивами, передавал секретную военную информацию шведам. С позиции же культурологической Григория Котошихина можно отнести к незаурядным личностям, представителям своей эпохи, имевшим собственную точку зрения на происходящие события, деятельным, щедро одаренным литературными способностями, позволявшими ему давать точные характеристики своим современникам, определявшим ход

[126] Михайлов, А. В. Указ.соч. С. 346. (курсив автора)
[127] О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина. СПб., 1884.

истории. В этой плоскости биография самого Григория Карповича Котошихина (Ивана-Александра Селицкого, имя, которое принимает бывший подьячий Посольского приказа, попав в Польшу) предстает не менее интересным «романом», главным героем которого является типичный герой для своей эпохи – герой-авантюрист, скиталец, «блудный сын»[128].

XVII век в России, как неоднократно отмечалось в исследованиях, породил совершенно новый тип личности человека, дерзнувшего заявить о своей самостоятельности и во взглядах, и в поступках. Подтверждением свободного волеизъявления человека переходной эпохи, не вписывающегося в привычные рамки средневековой традиции, могут служить не только литературные (книжные) герои (Фрол Скобеев, Савва Грудцын, безымянный молодец из «Повести о Горе-Злочастии», персонажи сатирических повестей и др.), аккумулирующие в себе общие черты «нового человека» эпохи, но и реальные исторические персонажи, активно постигавшие мир во всем его разнообразии. Эпоха царя Алексея Михайловича во многом может быть названа прологом к времени проведения кардинальных европейских реформ его сыном Петром I. Исторические же лица (как положительные, так и отрицательные с официальной, государственной точки зрения) этой эпохи являют собой определенные прототипы исторических персонажей Петровского времени.

Ряд биографических фактов из недолгой, но насыщенной неординарными событиями жизни Григория Котошихина позволяет видеть в нем воплощение уже не древнерусской концепции человека («раба Божия»), а личности, осовободившейся от традиционных средневековых мировоззренческих основ, способной на совершение рискованных и авантюрных поступков, продиктованных личными интересами.

---

[128] Подробный биографический очерк о Григории Котошихине с опорой на два ранних издания сочинения (1840 и 1859 годов) содержится в предисловии к третьему изданию «О России в царствование Алексея Михайловича». (О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина. СПб., 1884. С. II–IX). В этом же издании даны подробная история обнаружения рукописи памятника, а также дальнейшая история его изучения и публикации (с. IX–X). Современному читателю биографический материал о Григории Котошихине доступен благодаря статье в «Словаре книжников и книжности Древней Руси». (Смирнов И. П. Котошихин Григорий Карпов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. С. 186–190).

Бегство в Польшу, попытки добиться расположения короля Яна Казимира, скитание в Пруссии под новым именем, прибытие в Нарву, укрытие от розысков русских властей, на фоне всех этих событий переход из православия в лютеранство, наконец, бытовая ссора с хозяином дома, у которого Котошихин жил в Стокгольме, Даниилом Анастасиусом, приведшая к гибели последнего, дальнейшая казнь самого беглеца – такова судьба известного бывшего русского чиновника, успевшего написать сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича», в котором подробно изображены обычаи, нравы, устройство Московского государства. Таким образом, Григорий Котошихин волею судьбы оказался и в центре внешнеполитических событий, разворачивавшихся между Россией и Западом в 60-е годы XVII века, и главным героем банального сюжета, итогом которого стала смерть обманутого мужа от руки любовника жены, а затем и самого «ловеласа», раскаявшегося в своих грехах и сделавшегося набожным накануне собственной казни[129].

В то же время короткая жизнь Котошихина, как театральная пьеса, стремительно разворачивавшаяся на огромном европейском пространстве, демонстрирует новое восприятие человеком времени, в котором он живет, его желание преодолеть пространственные и временные барьеры. Подобное новое мироощущение, как известно, было порождено в эпоху русского барокко, и оно было присуще не одному Котошихину. Общеизвестно, что в истории Древней Руси имеются примеры, свидетельствующие о бегстве русских людей в Литву и Польшу. Наиболее известные имена, составляющие ряд «эмигрантов», – это монах Кирилло-Белозерского монастыря Феодосий Косой; первый книгопечатник

---

[129] «Перед смертью он (Котошихин. – *А. Ш.*) пожелал перейти в лютеранство, исповедался и причастился. По оценке посещавшего его в тюрьме человека, он дошел до чрезвычайной набожности» (Прохоров Г. М. Григорий Котошихин. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М.: Художеств. лит., 1989. С. 619).

Подробно этот биографический эпизод описан в Предисловии ко второму изданию сочинения Котошихина. «Селицкий переменил российское вероисповедание на лютеранское. За несколько времени до назначенного дня казни он с величайшим благочестием принял святые тайны от шведского священника Олафа Петерсона Крока, капеллана церкви Св. Марии, что на Седер-Мальме (Южном предместье). Прусский уроженец, магистр Иоанн Гербиниус, бывший в то время ректором школы немецкого прихода в Стокгольме и совершенно знавший польский язык, посещал часто Селицкого в его заключении, утешая его в несчастии словом Божиим, и по совершении над ним казни, отозвался об нем в следующих словах: “Obiit guam piisime!”» (О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина. СПб., 1884. С. XXIV).

Иван Федоров; князь Андрей Курбский; монах Гришка Отрепьев; сын А. Л. Ордина-Нащокина Воин. Однако, как отмечают историки, побег в Польшу совершали и простые люди (о чем сохранились сведения в приказных документах). Таким образом, еще за столетие (и даже больше) до начала европеизации России, активно проводимой Петром I, Польша как славянская страна, пограничная с Московской Русью, уже играла роль «окна в Европу», через которое на Русь проникали идеи, увлечения, находившие поддержку среди московской знати.

Чтобы почувствовать динамику жизни в России второй половины XVII века, можно, например, обратиться к эпистолярным сочинениям Алексея Михайловича, в которых он постоянно требовал от своих адресатов быстрого («тотчас не мешкая») решения вопросов, касающихся внешней и внутренней политики, повседневной жизни. В итоге прочерченная фабула жизни Котошихина позволяет в нем самом увидеть тот тип героя, который был порожден временем и запечатлен литературой русского барокко. Герой, представляющий новую культурную парадигму жизни, смотрящий на мир и оценивающий его с новых позиций.

Барочной традиции принадлежит сочинение Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича», представляющее собой один из образцов документально-художественной литературы Древней Руси. Из справочных источников известно, что Котошихин написал свой труд в 1666–1667 годах,[130] находясь на службе в Государственном архиве в Стокгольме, в ведомстве канцлера Делагарди. Г. М. Прохоров предполагает, что именно канцлер и мог являться заказчиком сочинения: «28 марта 1666 г. после его (Котошихина. – *А. Ш.*) письменных жалоб на безделие и прошений о какой-нибудь службе ему было выплачено 150 талеров, и государственный канцлер граф Магнус Де ля Гарди, возможно, предложил ему создать подробное описание Московии. Этим

[130] Смирнов, И. П. Котошихин Григорий Карпов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. С. 188.

эмигрант и занимался в течение более полутора лет, прожитых им в Стокгольме».[131]

При первом знакомстве с сочинением Котошихина нельзя не обратить внимания на масштабность самого произведения, состоящего из 13 объемных глав, каждая из которых дает обстоятельные сведения о жизни в Московском государстве эпохи царя Алексея Михайловича. До Котошихина описание Московского государства XVII века было представлено в первую очередь в сочинениях европейских путешественников (Адама Олеария[132], Августина Мейерберга[133], Якова Рейтенфельса[134], Павла Алеппского[135] и др.). В этих книгах Москва была показана Европе глазами европейцев же. Сочинение Григория Котошихина уникально в том плане, что о русском мире рассказывается русским автором, хорошо знающим традиции и поэтому способным показать этот мир изнутри.

Опыт, приобретенный во время службы в Посольском приказе, позволил Котошихину составить энциклопедическое описание повседневной жизни человека (царя, боярина, дворянина и чиновных людей), а также основных церемониальных действ, ритуалов, существовавших в Москве во второй половины XVII века и функционировавших в различных социальных слоях русского общества. Уже в этом стремлении автора содержится одна из

---

[131] Прохоров, Г. М. Григорий Котошихин. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М.: Художеств. лит., 1989. Кн. вторая. С. 619.

[132] Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. Автор трижды побывал в России. Первый раз в 1633–1635 годы, второй – в 1635–1639 годы, третий раз – в 1643 году. Длительное пребывание немецкого путешественника в России позволило ему составить описание жизни Московского государства, представленное в отдельной книге, впервые изданной на немецком языке в 1647 году в Шлезвиге. В наше время книга переиздана, см.: Олеарий, А. Описание путешествия в Московию. М.: Российские семена, 1996. 368 с.

[133] Мейерберг Августин. Путешествие в Московию. М., 1874. В качестве посла германского императора Леопольда I Мейерберг посетил Москву в 1661–1663 годах. Несмотря на провал его дипломатической миссии привести к примирению Россию и Польшу, находившиеся в состоянии войны, Мейерберг смог составить собственное описание русского государства эпохи Алексея Михайловича, поместив в нем иллюстративный материал.

[134] Рейтенфельс, Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии // Утверждение династии / Авт.-сост. А. Роде, А. Мейерберг, С. Коллинс, Я. Рейтенфельс. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. М., 1997. С. 240–406.

[135] Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Перевод Г. Муркоса. М., 1897. Вып. 2. 202 с.

См. также: Аделунг, Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений. Репринт. Изд. 1864 года. СПб: Альфарет, 2008. 584 с.

характерных черт, свойственных историко-литературной эпохе русского барокко, – стремление к созданию произведений объемного энциклопедического и мозаичного характера, позволявших удовлетворить интерес человека в той или иной сфере.

В то же время появление сочинения Котошихина демонстрирует изменившиеся в переходный период русской культуры мотивы написания произведения. Основной причиной, на наш взгляд, является желание самого автора сделать русский мир более понятным для представителя европейской культуры, показать и объяснить значение обычаев, раскрыть основные принципы государственного устройства, иными словами, все то, что может быть интересно европейскому читателю о Московском государстве и его народе. Эта задача могла быть решена при соблюдении одного из основных условий – беспристрастного отношения к объекту своего исследования и изображения его в сочинении.

Таким образом, сочинение Котошихина вполне органично вписывается в литературный контекст эпохи, несмотря на исключительную, на первый взгляд, документальность книжного памятника. По своей природе оно близко стоит к статейным спискам XVII века, которые также создавались «по служебной необходимости с узко практической целью для определенного круга лиц»[136]. Именно поэтому сочинение Котошихина, как и многие другие книжные произведения, относящиеся к разряду дипломатических, с одной стороны, имеет утилитарную природу документа, поскольку содержит такие сведения, которые будут полезны заинтересованным лицам.

В этом случае автор должен быть предельно точен в изложении основных сведений, приводить только те факты, которые будут использованы в работе. С другой стороны, нельзя полностью обнулять творческие возможности автора-составителя документа, которые, безусловно, проявились в процессе работы над текстом. В первую очередь здесь необходимо обратить внимание на такую

[136] Ольшевская, Л. А., Травников, С. Н. «Шереметев – украшение России…» // Путешествие по Европе боярина Б. П. Шереметева. 1697–1699. М: Наука, 2013. С. 307.

сторону процесса, как авторское мировоззрение, воплощающееся в сочинениях любого рода (будь то литературное или документальное).

В исследованиях, посвященных литературе переходного периода, неоднократно отмечалось, что одной из отличительных ее особенностей становится проявление в текстах секуляризированного мировоззрения автора. Прежде всего, сочинение Котошихина (своеобразный «путеводитель», представляющий иностранцам подробное описание обычаев и нравов Москвы) демонстрирует абсолютно новый тип писателя, работающего на заказ и получающего за это вознаграждение. Как известно, этот тип писателя уже в Петровскую эпоху станет распространенным и будет активно поддерживаться самой государственной властью – основным заказчиком литературных сочинений. Одним из родоначальников этого типа писательства на Руси был именно Посольский приказ, из которого вышел сам Григорий Котошихин. Как отмечает А. Н. Ужанков, «монах или белец становится чиновником; писатель, сочиняющий по обету или внутреннему убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по заказу или прямо “по указу”»[137]. Для Котошихина такой подход к делу, судя по документально-биографическим свидетельствам, приведенным выше, был вполне приемлем. «О России в царствование Алексея Михайловича» – это ангажированное произведение, демонстрирующее в русской литературе новый тип писателя-западника, сторонника европейских взглядов, представителя переходного периода в русской литературе. В то же время работа над написанием сочиения позволила Котошихину проявить свою определенную образованность (ученость), что также органично вписывается в общую схему нового образа писателя барокко, у которого «“ученость” проистекает из сопряженности им создаваемого со *знанием*, – естественно, что эта сопряженность подталкивает писателя приобщаться к учености и накапливать ее в духе барочного полигистризма: как знание всего отдельного»[138].

---

[137] Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Яз. славян. культуры, 2009. С. 227.

[138] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 338.

Кроме того, увидеть проявление авторского начала в документальном по своей природе тексте становится возможным, если посмотреть на него с позиции того, какие приемы типизации используются автором-составителем. Л. А. Ольшевской и С. Н. Травниковым отмечено, что документальным памятникам так же, как и имеющим литературный характер, свойственны свои формы типизации, «которые условно можно назвать по аналогии с художественной документальной типизацией»[139]. Автор, составляя документ, не вправе привносить в него то, что не имеет отношения к реальности или является плодом его личного творчества. Но он может из обилия фактов отбирать те, которые отражают его субъективный взгляд на событие, совпадают с его личными интересами. В итоге за фактами, вводимыми в документ, в их расположении становится возможным разглядеть и позицию самого составителя (писателя-документалиста). По словам Л. А. Ольшевской и С. Н. Травникова, «авторское начало проявляется не только в отборе, но и в систематизации фактов: от воли писателя зависит то место, которое реалия займет в ряду других, ранее отобранных явлений действительности»[140].

В связи с этим возникает вопрос – как проявляется авторское начало в сочинении Григория Котошихина? Прежде всего, обращает на себя внимание общая композиция произведения, расположение в ней глав, позволяющее последовательно ознакомиться с социальным иерархическим устройством русского общества второй половины XVII века и с теми законами, устоями, обычаями, традициями, на которых оно основано.

В немногочисленной литературе, посвященной сочинению Котошихина, ранее было уже отмечено, что композиция произведения, помимо того, что дает возможность охватить мир русской жизни в целом, несет на себе отпечаток барочной культуры, что, в свою очередь, говорит и об эстетических взглядах самого автора-составителя. И. П. Смирнов пишет, что «текст строится как нисходящая спираль, открываясь (если не считать краткого исторического

[139] Ольшевская Л. А., Травников С. Н. «Шереметев – украшение России…» // Путешествие по Европе боярина Б. П. Шереметева. 1697–1699. М.: Наука, 2013. С. 308.
[140] Там же. С. 308.

вступления) рассказом о царской свадебной церемонии и завершаясь изложением свадебных обычаев “бояр, и ближних, и иных чинов людей”... Вслед за царскими ритуалами Котошихин последовательно воссоздает нормы, регулирующие отношение знати к самодержавной власти, дипломатические обычаи Московской Руси, систему управления государством, сословное членение нации… и заключает описание главами, посвященными торговле и домашнему быту. <…> Таким образом, установку на изображение социального узуса и светских ритуалов Котошихин – в духе свойственного культуре барокко антиномичного мышления – сочетает с интересом ко всякого рода отступлениям от обычая…, а также к историческим эксцессам»[141].

Свидетельством литературного начала в документальном тексте также могут быть и эмоциональная авторская выразительность, проявляющая себя в оценке описываемых исторических фактов, и привносимые в текст элементы беллетризации повествования, благодаря которым официально-деловой язык документа обретает эмоциональную окрашенность и публицистическое звучание. Такого рода фрагменты представлены уже в самом начале первой главы, в которую автор вводит рассказ о времени правления Ивана Грозного (у Котошихина он именуется Гордым) – первого венчанного на Руси царя. Первый эпизод содержит в себе краткое упоминание о присоединении Казанского, Астраханского, Сибирского ханств, что в конечном итоге и приводит к созданию централизованного русского государства, укреплению самодержавной власти великого князя и дает начало истории Московского царства:

> И съ того времяни учинился онъ великій князь надъ Московскимъ государствомъ, и надъ тѣми взятыми царствы, и над прежними княжствы, царемъ и великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ всеа Русіи, и таковымъ обычаемъ въ Російской землѣ началося царствованіе (1)[142].

---

[141] Смирнов, И. П. Котошихин Григорий Карпов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Вып. 3 (XVII век). Ч. 2. С. 188–189.

[142] Все цитаты в дальнейшем с указанием страницы в скобках приводятся по изданию: О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина. Издание третье. СПб., 1884.

Обозначив точку отсчета истории Московского царства от времени Ивана Грозного (в этом можно увидеть прямую аналогию с русскими летописями), в дальнейшем автор дает краткую характеристику правления царя Ивана Васильевича. При всей лаконичности, в этом небольшом по объему эпизоде присутствует стилистически окрашенная лексика, использованная автором при упоминании самого царя и характеризующая его как тирана:

> Княжествовавше же той великiй князь и потом царствова, правивше государство свое ***въ ярости*** и ***во злобѣ силнѣ*** (курсив наш. – *А. Ш.*), тиранскимъ обычаемъ, и имѣяй со окрестными государствы войну и розвратие (1).

Далее автор прибегает к гиперболизации при изображении тиранства первого русского царя, правление которого было ознаменовано постоянным кровопролитием:

> Когда жъ ему не случися быти со окрестными государствы въ розвратiи, и тогда плѣнил подданыхъ своихъ, единовѣрныхъ христiянъ, и многи мучителства надъ князи и боляры своими и простыми людми показа; понеже и сына своего смири на оный свѣтъ пробиша его осномъ своимъ, и единаго митрополита повелѣ задушити подушкою (1–2).

Литературность приведенного фрагмента подтверждается содержащимся в нем мотивом физических мук, на которые царь обрекает своих подданных. Мотив, имеющий агиографические истоки и, как известно, являющийся сюжетообразующим для жития-мартирия. Одновременно в этом же начальном эпизоде нельзя не заметить и традиционной для христианской книжной традиции антиномии: злодея (воплощенного в образе царя Ивана) и праведника, погибающего от руки тирана (в данном случае это не только многочисленные «князи и боляры», но и собственный сын Иван, и митрополит Филипп).

Антиномичность как литературный прием будет использована автором и в последующем рассказе о событиях, связанных с правлением Федора Ивановича и

восхождением на российский престол Бориса Годунова. Своим смирением, кротостью, богобоязненностью Федор Иванович противопоставлен отцу-злодею – «зhло тих и боголюбивъ, не таков, яко отецъ его» (2) и коварному Борису Годунову – «зломышленый болярин» (3).

Котошихин, рассказывая о событиях прошлого, свидетелем которых он не являлся, прибегает к использованию устойчивых литературных «формул», хорошо известных ему. Таковыми являются приемы агиографической традиции, ярко себя проявляющие в описании Федора Ивановича, царя-праведника, поступки которого сопоставимы с поведением святого в житии. Его тяготит бремя земной царской власти, поэтому он передоверяет ее своему боярину Борису Годунову, в то время как сам постоянно предается смирению и молитве. Абсолютно в традиции житийной литературы герой показан далее, когда узнает о гибели царевича Дмитрия, проливая при этом потоки слез:

> и очей своихъ ни на единъ час от слез не осушилъ» (2).

«Литературен» и образ Бориса Годунова, выступающего в роли героя-антагониста. Следуя агиографическому канону, Котошихин при создании образа героя вписывает его в известную ему книжную традицию. Все поступки, которые совершает Годунов, мотивированы его корыстными планами, продиктованными дьяволом:

> Проклятый же и лукавый сотана, искони ненавидяй рода человhча, возмути его разум: вchм бо имhніемъ, богатсвом и честію исполнен, но еще несовершенно удоволенъ, понеж житіе и власть имhяй царскую, славою ж нhсть (2).

Здесь явно видна традиционная оппозиция героев, имеющая книжный характер. Один герой (законный царь), имея от природы власть, тяготится ею и готов принести ее на жертвенный алтарь во имя спасения души. Другой, наоборот, идет на преступления (с радостью, что еще больше очерняет образ

Годунова и делает его литературным) ради обретения земной власти, которая ему не предназначается.

В приведенных примерах обнаруживается еще одна важная тема, которую Котошихин вводит в самом начале своего сочинения. Это размышление о природе власти, как известно, ставшее отдельным самостоятельным мотивом в публицистике Древней Руси. В небольшом начальном фрагменте, открывающем все сочинение, возможно уловить отдельные смысловые оттенки этого мотива: законности и незаконности власти, расплаты за «воровство» царского престола, должного и недолжного использования монархом данной ему (от Бога или взятой самостоятельно) власти:

> Каковым обычаем достал онъ (здесь имеется ввиду Гришка Отрепьев. – *А. Ш.*) себh царство вскорh и царствовал неистинно, и такова ему скоро смерть учинилась (4).

В восьмой главе своего сочинения Котошихин, продолжая тему природы царской власти, объясняет смысл царского титула «всеа Великия и Малыя и Бhлыя Росии самодрежецъ», раскрывает значение каждой лексической единицы, входящей в именование и представление царя в официальных правительственных документах, особое внимание уделяя слову «самодержец». Чем это объясняется? Служба в Посольском приказе и исполнение поручений, непосредственное участие в дипломатических переговорах не могли не развить в Котошихине определенные способности, позволившие ему сделать собственные заключения относительно складывающейся в России при Алексее Михайловиче самодержавной формы правления. Он отмечает, что до Алексея Михайловича все русские цари, начиная с Ивана Грозного, были избираемы на царство, но при этом якобы давали обет

> быть не жестоким и не палчивым, без суда и без вины никого не казнити ни за что и мыслити о всяких дhлах з бояры и з думеными людми сопча, а

> без вhдомости ихъ тайно и явно никакихъ dhлъ не dhлати (141).

При Алексее Михайловича, как сообщает Котошихин, сложилась иная ситуация – царь стал единодержавным правителем, который

> правитъ по своей воли. И с khмъ похочетъ учинити войну и покой, и по покою что кому по дружбе отдати, или какую помочь чинити, или и иные всякіе великіе и малые своего государства dhла похочет по своей мысли учинити, з бояры и из думныхъ людми спрашиваетца о том мало: в его воле – что хочет, то учинити может. … А отецъ его блаженныя памяти царь Михайло Федоровичь хотя "самодержцем" писался, однако без боярского совhту не мог dhлати ничего (142).

Отмеченная особенность, привнесенная автором в документальный по своей природе памятник, не является исторически подтверждаемым фактом и выполняет здесь сугубо «литературную» функцию. С ее помощью создается такой портрет царя, который отличает его от предшественников, придает ему индивидуальный облик. А это уже можно интерпретировать как привнесение в документ авторского начала, выражающего субъективную точку зрения на предмет изображения.

Субъективизм Котошихина неоднократно проявляется на страницах его труда. В ряде случаев он использует не точные исторические факты, которые необходимо было бы вписать в сочинение, призванное создать для иностранца целостное представление о Московской Руси, а доверяется слухам, противоречащим реальному положению дел. Так уже в первой главе Котошихин, рассказывая о семье царя Михаила Федоровича, дает ошибочные сведения о наличии у него двух сыновей: Алексея и Дмитрия. Однако среди 10 детей царя царевича Дмитрия, о котором Котошихин пишет, у него не было. Котошихин ошибается, когда пишет о том, что царевича Дмитрия бояре намеренно отравили

еще в детстве, увидев в нем проявляющиеся склонности к жестокости, тем самым обезопасив себя и государство в будущем от тирана:

> вторый Димитрiй с младенческих лhтъ велми был жесток, уродился нравом прадhда своего, первого Московского царя. Людiе же роду великого и среднего, которые блиски приходити к царю и к царевичам, мысляше о нем, что еще в младых суще лhтехъ зла творит много, понеже по смерти отца своего наипаче болше зла творити начнетъ, усмотривше времяни час, упоиша его отравами; и оттого скончася, никто же о томъ домыслися, якобы пришел ему час смерти (4–5).

Однако данный фрагмент, содержащий в себе сведения, не являющиеся исторически достоверными, имеет литературную ценность. Во-первых, здесь мы видим зеркальное повторение уже известного исторического сюжета (вошедшего в литературу и получившего распространение) о гибели царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Во-вторых, это доказательство утверждения, что Котошихин как автор своего текста не всегда следовал за фактом истории и позволял себе использовать материал, не имевший документальной природы. Подобные случаи в сочинении Котошихина встречаются не раз. Они в свое время уже были приведены в предисловии к первому изданию памятника (1840). Отмеченные ранее документально не подтверждаемые факты, вошедшие в сочинение Котошихина, с историко-литературной точки зрения демонстрируют если не проявление художественного вымысла, то, по крайней мере, активную позицию автора, не ограничивающего себя в использовании источников в процессе работы над текстом. Именно по этой причине рассматриваемый книжно-документальный текст представляет позицию его создателя, его отношение к выбранному объекту повествовании, демонстрирует личное восприятие, понимание и объяснение явлений и процессов, происходивших в русском обществе второй половины XVII века.

Котошихин, соблюдая историческую последовательность в перечислении всех правителей Руси (законно и незаконно занимавших Московский престол), постепенно подходит к эпохе, современной ему и представленной правлением Алексея Михайловича. Здесь можно говорить о том, что автор использует распространенный принцип построения книжного текста в Древней Руси – принцип постепенного сужения повествования, который наблюдается, например, в летописном жанре.

Характерно, что событие венчания на царство Алексея Михайловича у Котошихина не обретает подробного повествования. Автор подчеркивает лишь законность его прав на престол, проявляющуюся в едином желании всего московского народа видеть Алексея Михайловича своим царем:

> И бояре, и околничіе, и думные люди, и дворяне, и дhти боярскіе, и гости, и торговые, и всяких чиновъ люди, и чернь послh смерти прежнего царя на царство обрали сына его, нынhшнего царя, и учинили коронованіе в соборной болшой первой церквh и молили Бога (5).

Лаконичность рассказа об избрании на царство в данном случае вполне органична самой форме документа. Котошихин не перегружает свой рассказ лишними деталями. Он, как и положено в документе, констатирует факт, не давая ему оценки. Стилистическая манера соответствует документальной традиции. Однако последующий эпизод – рассказ о том, как царь дважды делал попытки сочетаться браком и какие препятствия ему пришлось преодолеть в своем стремлении жениться, получает уже сюжетное развертывание, которое служит неким прологом к описанию свадебного чина, детально изложенному в последующих статьях первой главы сочинения.

История первого сватовства царя (зима 1647 года), хорошо известная по другим источникам, у Котошихина не занимает большого повествовательного пространства. Он передает ее кратко, не называя имен ни первой избранницы, которой не суждено было стать царицей (Евфимия Всеволжская, «касимовская

невеста»), ни других лиц, вмешавшихся в процесс выбора невесты (боярин Борис Федорович Морозов).

Котошихин в этом фрагменте в абстрактной форме объясняет случившийся факт как проявление дьявольских сил, нашедших свое выражение в интригах московских бояр:

> И искони в Росiйской землh лукавый дьявол вснялъ плевелы свои: аще человhкъ хотя и мало пріидет в славу и честь и в богатсво, возненавидѣhти не могут (6).

Не называя имен главных участников придворной интриги по устранению царской невесты, Котошихин в абстрактной манере рисует собирательный образ московской знати, подчеркивая присутствующую в их характере злобу, зависть, лицемерие:

> У нhкоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об нихъ к женидбh ни об единой мысль не пришла. И тhхъ девицъ матери и сестры, которые жили у царевенъ, завидуя о том, умыслили учинить над тою обранною царевною, чтоб извести, для того: надhялися, что по ней возметъ царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человhка. И скоро то и сотворили, упоиша ея отравами (6).

В постижении и раскрытии собирательного характера бояр Котошихин удивительным образом в этом вопросе совпадает с Алексеем Михайловичем, который также очень точно описал характер своего окружения в одном из посланий[143].

В дальнейших фрагментах истории женитьбы царя, которая у Котошихина приобретает характер сюжетного повествования, автор отступает от

[143] Речь идет об известном послании царя, адресованном князю А. М. Трубецкому (31 мая 1654 года), в котором создан собирательный образ московских бояр, сопровождавших царя в Польском походе. Послание опубликовано в Записках отделения Русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 1. С. 716.

беспристрастной документальной манеры и позволяет привнести элементы эмоциональной оценки героя. Котошихин пишет, что молодой царь под влиянием пережитого им потрясения стал печален («велми печаленъ был»), отказывался от еды («многа дни лишен был яди»), не желал больше и думать о женитьбе, познав истинный характер московского боярства («понеже познал о томъ, что то учинилося по ненависти и зависти»).

Последующее развитие «свадебного сюжета» в сочинении Котошихина обрастает новыми событиями: царь сам выбирает себе невесту, увидев ее во время молитвы в соборе, «возлюбил и нарекъ царевною». Мысль о женитьбе увлекает царя, заставляя отложить все дела и начать приготовления к свадьбе. И именно с этого момента Котошихин вновь возвращается к документальной форме записи, детально излагая свадебный чин – «О чину, какъ устраивают свадебный чинъ» (8–16).

В итоге социальное устройство, повседневная жизнь как царя, так и простого человека, обычаи и нравы, культура становятся объектом рассмотрения для Котошихина. Находясь на расстоянии от России, будучи исключенным из контекста национальной культуры, Котошихин смотрит на многие явления русской жизни и оценивает их со стороны, пытаясь дать детальное их описание и комментарий к ним. Этим, возможно, и обусловлено композиционное построение самой книги, где каждая глава имеет дробное членение на отдельные статьи, конкретизирующие моменты общего рассказа, выстраиваемого в отдельных моментах книги в форме диалога с предполагаемым собеседником. И опять-таки в этих случаях Котошихин органично вписывается в книжную традицию благодаря приему вопроса-ответа, использованному при построении повествования. Такой риторический прием можно встретить, например, в эпистолярном жанре, для которого была характерна установка на имитацию диалога[144]. Он встречается и в

[144] В. В. Калугин пишет: «Эпистолярная техника предполагала имитацию диалога. Начиная с античных теорий стиля, послание понималось “как бы одна из сторон в диалоге” и “письменная беседа отсутствующего с отсутствующим”. В этом разговоре отправитель был рассказчиком, а адресат – слушателем» (Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. М.: Яз. рус. культуры, 1998. С 141).

посланиях царя Алексея Михайловича[145], что подтверждает хрестоматийность данного приема для жанра послания.

Таким образом, отмеченные в сочинении Григория Котошихина приемы имеют литературное происхождение, что подчеркивает книжную образованность самого автора. А в масштабах историко-литературного процесса переходного периода это подтверждает общую тенденцию развития деловой письменности во второй половине XVII века, для которой было характерно обращение к традиции литературных жанров, приводившее в конечном итоге к взаимопроникновению и взаимодействию в рамках одного произведения двух традиций, к разрушению границ между литературными жанрами и деловой письменностью в переходный период русской культуры.

Одновременно выявленные литературные особенности в книжном памятнике, имеющем документальную природу, позволяют сделать вывод о том, что в русской литературе второй половины XVII века идет активный процесс формирования новой художественной парадигмы. Автор, преследуя сугубо практическую задачу – составить описание уклада жизни русского человека, использует при этом хорошо известные ему книжные приемы, как закрепленные предшествующей традицией, так и свойственные современной ему литературной эпохе. Подобная трансформация в итоге привела к появлению светского типа писателя, лишенного религиозного взгляда на человека и окружающий его мир. Писателя, для которого создание книжного произведения рассматривается как выполнение определенного рода социального заказа.

[145] Примером может служить послание царя, датированное 6 мая 1660 года и адресованное боярину В. Б. Шереметеву (Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 750–753).

* * *

Тексты, привлеченные для исследования во второй главе, имеют разножанровую природу. Одна группа произведений принадлежит эпистолярной традиции – это послания царя Алексея Михайловича, в очередной раз демонстрирующие литературные способности царя. Другая, ставшая обрамлением царских писем, в большей степени является памятниками документальной письменности, но с присутствующими в них литературными элементами и приемами. Однако, несмотря на их жанровую неоднородность, все они демонстрируют то общее, что позволяет их рассматривать в одном тематическом пространстве и характеризовать их как текст переходной эпохи с присущими ему признаками. Одним из таких обоснований стал авторский взгляд на изображение события и его героя в книжном памятнике.

Два крупных документальных текста («Дневальные записки» и сочинение Григория Котошихина) показали изменение восприятия времени русским человеком во второй половине XVII века, отличающееся от предшествующей традиции в книжной культуре Древней Руси. Общий процесс секуляризации русской культуры привел к трансформации категории времени в литературном творчестве, о чем свидетельствуют документальные памятники, ориентированные на фиксацию ежедневных событий из жизни царя. В отличие от летописного времени, в памятниках переходной эпохи, имеющих документальную природу, время подчинено воле человека и исчисляется событиями, имеющими уже будничный, повседневный характер. Время, фиксируемое в «Дневальных записках приказа Тайных дел», теперь дискретно. В нем отсутствует религиозно-символическое, сакральное начало, основанное на эсхатологическом мироощущении средневекового человека. Оно напрямую связано с событиями из частной жизни человека – царя Алексея Михайловича. В итоге литературное значение документального текста заключается в том, что в нем зафиксировано открытие, имеющее ценность для литературы в ее историческом развитии, – это акцентирование внимания автора на событии одного дня из жизни человека.

Смещение акцента с события монументального на событие частное, которое, в свою очередь, также детализируется и конкретизируется, в конечном итоге породило интерес автора переходной эпохи к текстам, имеющим дневниковую форму, а также к жанрам, природа которых уже изначально предполагала «поэтизацию» события частной жизни. Таким жанром, ставшим популярным в творчестве царя Алексея Михайловича, стал жанр послания.

Введенные в поле научного исследования эпистолярные сочинения Алексея Михайловича демонстрируют новые художественные особенности, проявившие себя в литературном процессе второй половины XVII века. В первую очередь таким признаком стоит назвать раскрепощение авторского сознания при изображении события, проживание его как факта личной биографии. История теперь понимается не как промысел Божий, а как череда повседневных событий, находящихся в прямой зависимости от воли человека. Именно в эпистолярных сочинениях авторская позиция Алексея Михайловича проявилась во всем многообразии: и как приверженца средневековых книжных традиций, и как новатора, смело нарушающего жанровые каноны и позволяющего себе свободное использование книжных приемов в рамках одного текста и выражение собственного мнения по отношению к герою и событию. Эта особенность, свойственная Алексею Михайловичу как писателю, в целом может быть спроецирована и на сам переходный период русской литературы, характеризующийся своей литературной пестротой, подвижностью и динамичностью, поиском новых литературных форм и приемов. Можно констатировать, что динамичность процессов, происходивших в переходную эпоху русской литературы, напрямую зависела от меняющегося понимания времени, фиксируемого не только крупными историческими событиями (русско-польская война середины XVII века и ряд других), но и эпизодами, важными с точки зрения отдельно взятой личности, о чем свидетельствует переписка царя со своим близким окружением.

Тенденции, которые были отмечены в эпистолярном творчестве царя Алексея Михайловича, проявили себя в произведениях, принадлежащих

писателям демократического ряда. И таковым был представлен Григорий Котошихин, автор крупномасштабного сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича», призванного показать европейскому читателю цельный образ русского государства. Документальный по своей природе памятник, с одной стороны, унаследовал от литературной традиции Древней Руси (жанра летописи) саму идею – стремление к монументальности и панорамности в осмыслении исторической эпохи. А с другой – в нем проявили себя черты литературной эпохи барокко, современной для автора, – энциклопедизм, обобщение в одном произведении сведений, из которых и складывается мозаичное полотно русского государства середины XVII века.

Однако даже в этом памятнике, написанном в форме документа, автор в процессе своей работы активно использует ряд известных ему книжных приемов, благодаря которым сочинение приобретает и историко-литературное значение. Именно по этой причине можно говорить о том, что сочинение Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» актуализирует проблему научного изучения взаимодействия традиций деловой письменности и литературы и может быть рассмотрено как пример произведения, в котором обозначили себя процессы, имеющие переходный характер. Памятник, как и «Дневальные записки приказа Тайных дел», свидетельствует о том, как пробуждается личностное сознание в этот период, а также зарождается ощущение исторического процесса, его хода и формирование новой светской литературы на основе объединения элементов средневековой поэтики и новой эстетики в одном тексте.

Глава 3

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРЕХОДНОГО ВРЕМЕНИ: ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

3.1. Понятие «чина» в культуре и литературе Древней Руси

Художественный мир Древней Руси – это особая модель, в которой воплощено миропредставление средневекового человека о божественном универсуме, в основе которого лежит «идея всеобъемлющей и осмысленной упорядоченности вещей»[1].

Одна из категорий, которая составляла основу миропонимания автора (книжника) Древней Руси, была категория чина. Отечественные медиевисты отмечают, что понятие «чин» появляется в русской культуре фактически одновременно с принятием христианства и фиксируется уже в ранних книжных текстах и затем на протяжении семи веков развития русской литературы (включая и XVII век) «чин» будет определять процесс составления автором книжного текста и восприятия его читателем[2].

Известно, что само понятие «чин» обладает полисемичной природой, и по этой причине не может иметь единого толкования. Этот факт был констатирован наукой еще в XIX веке. Например, Л. А. Черная в статье «О понятии “чин” в русской культуре XVII века»[3] ссылается на работу И. И. Срезневского, в которой было приводится 14 значений этого понятия: «порядок», «подчинение», «последование», «правило», «устав», «степень», «должность», «сан», «сонм» и др.

---

[1] Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 90.

[2] Данная проблема была апробирована нами в ряде научных публикациях. См.: Шунков, А. В. Чин как жанровая форма в русской литературе XVII века (Постановка проблемы) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2010. № 4. С. 172–176; URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chin-kak-zhanrovaya-forma-v-russkoy-literature-xvii-veka-postanovka-problemy

[3] Черная, Л. А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века // Труды отдела древнерусской литературы. СПб., 1993. Т. 47. С. 343–356.

Лексикографами было установлено[4], что слово «чин» известно с XI века и соответствует греческому – «ритмос». В XIII веке от него образуется глагол «чинити» (составлять, устраивать, делать); а в XV веке – наречие «чинно» (стройно). В этом значении слово зафиксировано в пословице: «Все бо в **чин** свои имети есть лепо», то есть все хорошо, что в меру, что упорядочено. В этом же значении слово «чин» используется и во всех известных церемониальных текстах Древней Руси. Примером может служить «Урядник сокольничья пути» (о котором речь пойдет ниже): «и урядя и устроя все **по чину**», «Государь изволить молвить: “Время, объявляй образец и **чин”**», «велит войти ему по **чину**» и др. В этом же значении слово употребляется в главах сочинения Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича». Таким образом, приведенные примеры показывают глубокую укоренность понятия «чин» в недрах культуры Древней Руси, его широкую представленность в многочисленных книжных памятниках, охватывающих семивековую историю древнерусской литературы.

Однако важным здесь является другое: каким бы семантическим оттенком ни обладало это понятие, любой из них непосредственно воплощал в себе идею божественного начала, которое должно было быть отражено в книжном тексте посредством особых канонических приемов. Обращение к «чину» должно было привести к богоустроенному порядку («чинности») земной мир, основой которого является вертикальная иерархия связей явлений, одновременно воплощающая собой представление о его красоте и гармоничной соразмерности.

Так, например, Л. А. Черная в монографии «Антропологический код древнерусской культуры»[5] специально уделила внимание данному понятию, определявшему характер общественной жизни в средневековой Руси («социальный хронотоп»), жизни отдельного человека с момента его рождения и до самой смерти. В соблюдении установленного «чина», «урядства» видели особую красоту, которая не могла не радовать, так как в ней проявлялась воля Бога. В связи с этим в Древней Руси понятие «чин» становится еще и единицей

[4] Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Рус. яз., 1999. Т. 2. С. 390.
[5] Черная, Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Яз. славян. культур, 2008.

измерения прекрасного. Одним из таких примеров может служить фрагмент «Повести временных лет» – описание божественной литургии, на которой присутствовали послы князя Владимира:

> И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали мы – на небе или на земле: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь жить[6].

Стоит отметить, что именно эстетическая сторона торжественного церковного обряда стала определяющим фактором в выборе христианской веры киевским князем, и то первое впечатление, которое произвела литургия на послов, прочно укрепится в сознании русского человека. Золотофонные образы храма св. Софии в Константинополе фаворским светом освятят последующую тысячелетнюю историю русской культуры. Символику и значение золота в византийской культуре в свое время прекрасно раскрыл С. С. Аверинцев в работе «Золото в системе символов ранневизантийской культуры»[7], в которой была продемонстрирована множественность смыслов данного символа. Это и «образ света как истины и славы»[8], и «образ божественных энергий, действующих в веществе»[9], и символ рая, не знающего «порчи греха и порчи тлена; поэтому золото есть постоянная метафора для девства и нетления»[10], и символ «самых блистательных, самых изящных, самых праздничных персонажей византийской и древнерусской иконографии»[11].

Первые оригинальные произведения отечественной литературы дают возможность убедиться в том, что русский книжник органично принял

---

[6] Повесть временных лет, подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1: XI–XII века. С. 155.
[7] Аверинцев, С. С., Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 404–425.
[8] Там же. С. 420.
[9] Там же.
[10] Там же.
[11] Там же. С. 421.

византийскую концепцию присутствия в земном мире божественной красоты и стремился к изображению и воссозданию ее в произведении посредством использования особых канонических приемов. Так, в «Слове о законе и благодати», первом оригинальном произведении русской литературы, митрополит Иларион утверждает идею божественного преображения тварного и тленного мира, приведения его к идеальному, гармоничному мироустройству, «чинности». Показывается это не только традиционным для христианской поэтики приемом «символического параллелизма»[12], в основе которого лежит принцип антитезы, но и на уровне семантики имени главного героя – князя Владимира. Замена славянского (языческого) имени Владимир греческим (христианским) именем Василий в тексте выполняет еще одну важную идеологическую функцию. Учитывая тот факт, что «Слово о законе и благодати» адресовано «не несведущим <…>, но с преизбытком насытившимся книжной сладости», имя Василий должно было вызывать ассоциации с рядом имен христианских святителей[13], среди которых может быть названо и имя Василия Великого, автора книги «Беседы на Шестоднев». Книга, написанная в IV веке, сформирует у христианина представление об иерархичности мироздания: «И целый мир, состоящий из разнородных частей, связал Он каким-то неразрывным союзом Любви в единое общение и в одну гармонию…»[14].

В русской ситуации именно Владимир будет осмыслен книжниками как апостол, даровавший благодать, с помощью которой человек получает возможность воспринимать и изображать видимый мир возвышенно и гармонично («чинно») устроенным. Именно поэтому по отношению к понятию «чин» синонимичными выступают еще и такие категории, как «церемониальность» или «этикетность» («литературный этикет»):

---

[12] Термин Д. С. Лихачева. См.: Лихачев Д. С. «Слово о Законе и Благодати» Илариона // Лихачев Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л., 1987. Т. 2. С. 31.
[13] Там же. С. 32.
[14] Василий Великий. Беседы на Шестоднев // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесари Каппадокийския. М., 1991. Ч. 1. С. 25–26.

«Средневековый книжник, создавая или переписывая то или иное произведение, создает известное литературное “действо”, “чин”»[15].

Средневековый литературный текст, как известно, автономен, ему подчинены и его автор (книжник), и его читатель. Средневековая традиция демонстрирует безоговорочный авторитет слова, которое «встает на пути автора, <…> направляет его высказывание своими путями»[16]. В этой же ситуации находится и читатель, который также воспринимает мир через «*готовое слово*»[17], закрепленное культурой. Красота текста (представленная устойчивыми словесными клише, речевыми фигурами) не может не поражать и не удивлять читателя. Читатель, многократно прочитывая один и тот же текст, постоянно оказывается участником некоего торжественного церемониала, о чем в свое время писал Д. С. Лихачев: «Литературное произведение живет “идеальной” и вполне самостоятельной жизнью. Читатель не “воспроизводит” в своем чтении это произведение, он лишь “участвует” в чтении, как участвует молящийся в богослужении, присутствующий при известной торжественной церемонии»[18].

Стоит отметить, что обрядовость («чинность») как одна из категорий русской средневековой литературы была отмечена и европейскими исследователями-славистами. Так, например, Цветан Тодоров в статье «Поэтика в СССР»[19], анализируя «Поэтику древнерусской литературы» Д. С. Лихачева, вводит понятие «кода», которое выступает синонимом термину «литературный этикет», введенного в науку Д. С. Лихачевым. По мнению Ц. Тодорова, вся древнерусская литература подчинена надличностному началу, основой которого является обряд, теряющий свою значимость в те моменты, когда «старые каноны разрушаются под воздействием внелитературных факторов, <…> и в традиционное

---

[15] Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 360.

[16] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 331–332.

[17] Термин А. В. Михайлова. См.: Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 332.

[18] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 360.

[19] Статья была написана в 1972 году и опубликована в журнале Poétique (1972, № 9). См. подробнее об этом: Лесур, Ф. Труды Д. С. Лихачева во французском восприятии // Труды отдела древнерусской литературы. СПб., 1997. Т. 50. С. 32–39.

повествование вторгается другая форма – непосредственная запись»[20]. Отсюда следует, что важным обстоятельством в развитии русской средневековой литературы, помимо того что, оно определялось историко-культурным контекстом, приводившим к смене художественных парадигм[21], являлось понимание той роли, которую играет чин (обряд), определяющий жанровые и содержательные границы литературы.

Если проследить исторический путь развития русской средневековой словесности, то становится вполне понятным желание автора постоянно обращаться к византийской традиции как к единственно правильной в постижении и изображении мира, в определении в нем места самого человека. Л. А. Черная считает, что «задача древнерусской культуры сводилась к повторению зафиксированных библейской историей явлений, идей, образов, с тем чтобы через “чин” примкнуть к высшим священным явлениям, <…> дотянуться до “благого – прекрасного”, заложенного в них»[22].

Идея гармоничного мироустройства оказывалась всегда более приоритетной, чем желание авторского самовыражения в литературном произведении. Одним из ярких примеров, подтверждающих значимость самостоятельного бытия гармонии, является литература Киевского периода, XII – первой трети XIII века, которая предоставила читателю возможность получения духовного наслаждения от восприятия и созерцания прекрасного: сферы небесных чинов («Царства Небесного»), красоты природного мира как выражения высшей мудрости Творца.

Блестящее и стремительное развитие литературы этого периода прерывается татаро-монгольским нашествием, принесшим с собой не только стихию разрушения, но и крушение прежнего представления о порядке и красоте, зафиксированное в литературных памятниках XIII века («Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др.). Полтора столетия русская литература была представлена в основном воинскими повестями,

---

[20] Лесур Ф. Указ. соч. С. 36.

[21] На сегодняшний день высказано несколько концепций развития древнерусской литературы, ее периодизации. Их развернутый анализ дан А. Н. Ужанковым. См.: Ужанков А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М., 2008.

[22] Черная, Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Яз. славян. культур, 2008. С. 344.

оказавшими свое влияние на всю жанровую систему той эпохи. Однако общим для всех произведений этого периода станет изображение прежнего порядка, противопоставляемого утвердившемуся хаосу (бесчинию):

> О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты <…> И в те дни <...> обрушилась беда на христиан…»[23]; «О сей град Рязань и земля Рязанская! Исчезла красота ее, и отошла слава ее, и нет в ней ничего доброго для взора – только дым и пепел»[24].

Рубеж XIV–XV веков определяется (согласно концепции, предложенной Д. С. Лихачевым[25]) в истории Руси как период русского Предвозрождения, второго южнославянского влияния, который привел, с одной стороны, к возрождению литературы, восстановлению утраченных связей с христианским Востоком, а с другой – к проникновению в нее совершенно новой для русской культуры ренессансной идеи – ценности эмоционального мира отдельного человека. Как известно, эта идея была во второй половине XV века оценена как еретическая, опасная для государства, нарушающая установленный Богом закон и порядок, и в итоге была отвергнута русской литературой.

Идея «чина» вновь начинает доминировать в литературе конца XV– начала XVI столетий – эпохи второго монументального историзма, для которой становится актуальной идея главенства торжественной формы. Примерами могут служить и «Домострой», и «Великие Четьи-Минеи», и «Степенная книга». Установленный порядок во всех сферах жизни (государственной и частной) может быть рассмотрен как семиотический образ, в основе его лежит идея красоты, которая приобрела особое значение во второй половине XVI века, о чем в свое время писал Д. С. Лихачев в «Поэтике древнерусской литературы»: «Обрядовая сторона жизни Русского государства достигла высокой степени

---

[23] Слово о погибели русской земли / подг. текста, пер. и коммент. Л. А. Дмитриева // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 5: XIII век. С. 90–92.

[24] Повесть о разорении Рязани Батыем / подг. текста, перев. и коммент. И. А. Лобаковой // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 5: XIII век. С. 140–156.

[25] Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.

развития в XVI веке. Литература вынуждена была воспроизводить содержание разрядных книг, чина венчания на царство, описывать сложные церемонии»[26].

> И воссиял ныне стольный и прославленный город Москва, словно второй Киев, не посрамлюсь же и не провинюсь, если скажу, как третий новый великий Рим, воссиявший в последние годы, как великое солнце, в великой нашей Русской земле, во всех городах и во всех людях страны этой, красуясь и просветляясь святыми Божьими церквами, деревянными и каменными, словно видимое небо, красуясь и светясь, пестрыми звездами и незыблемым православием украшенное, Христовою верою укрепленное и непоколебленное злыми еретиками, возмущающими церковь Божию[27].

XVII век начинается смутой, за которой последовало крушение самой системы «чина». Именно поэтому первые представители дома Романовых вновь начинают активно возрождать «чин» во всех сферах русской жизни (социальной и культурной). Яркой страницей литературного процесса середины XVII века и его второй половины становится еще большее, по сравнению с XVI веком, увеличение количества текстовых описаний церемониальных действ, условно называемых «чиновниками». В итоге, под «чиновниками» мы понимаем особый вид документальной книжности, в которой содержалось подробное описание каких-либо торжественных церемониалов, имевших распространение в культуре Древней Руси.

«Чиновники» представляют собой вид ритуальных текстов придворной литературы, которые регламентировали церемониальную практику (венчание на царство, выходы царей и патриархов, придворные праздники) и являли собой развернутые сценарии с описанием состава участников торжества и приличествующей случаю одежды, с обязательным обозначением места и роли каждого участника проводимого праздничного действа, с приведением реплик

---

[26] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избр. раб: в 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 363.

[27] Казанская история / подг. текста и перев. Т. Ф. Волковой, коммент. Т. Ф. Волковой и И. А. Лобаковой // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 263.

участников ритуала. Но именно эта жанровая единица, появляющаяся в огромном количестве и относящаяся все-таки к документальной книжности, дает возможность увидеть стремление автора XVII столетия зафиксировать представление о красоте в книжном тексте, придать ей приличествующие формы.

В связи с этим заслуживает внимания определение чина, которое встречается во вступительной части известного памятника середины XVII века («Книга, глаголемая Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути» (1656)) и содержит описание чина посвящения царского сокольника в начальные. Памятник подробно был рассмотрен нами в издании «“Урядник сокольничья пути” как памятник русской художественной культуры середины XVII века»[28].

> А честь и чинъ и образецъ всякой вещи большой и малой учиненъ по тому: честь укрепляетъ и возвышает ум; чинъ укрепляет и утверждает крепость; урядство же уставляетъ и объявляетъ красоту и удивленіе; стройство же предлагаетъ дело; безъ чести же малится и не славится умъ; безъ чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится; безстройство же теряетъ дело и возставляетъ безделье. Всякій же читателю почитай, и разумевай, и узнавай, а насъ слагателя похваляй, а не осуждай. Что всякой вещи потреба? Меряніе, сличіе, составленіе, укрепленіе; по томъ въ ней или около ея: благочиніе, устроеніе, уряженіе. Всякая же вещь безъ добрыя меры и иныхъ вышеписанныхъ вещей бездельна есть и не можетъ составиться и укрепиться[29].

Приведенный пример демонстрирует ту особенность средневекового мышления, которую подробно охарактеризовал еще С. С. Аверинцев в «Поэтике ранневизантийской литературы». Та «пошаговость» в определении порядка и

---

[28] Шунков, А. В. «Урядник сокольничья пути» как памятник русской художественной культуры середины XVII века. Кемерово, 2007. 66 с.

[29] Текст цитируется по рукописи: Российский государственный архив древних актов. Ф. 27. Оп. 1. № 52/1.

строя, которая присутствует в приведенном фрагменте «Урядника…», иллюстрирует средневековое понимание мироустройства, восходящее еще к античной мысли: «Для средневековой мысли, как, в общем, и для античной мысли, “благое” – это оформленное, а потому необходимо *конечное* в пространстве и времени. Упорядоченное – это расчлененное, “членораздельное”. Мир “членоразделен”, как членораздельно “Слово”, вызвавшее его к жизни. … Бог “отделил” – и человек должен “отделять”»[30].

Ранее мы уже констатировали тот факт, что «отечественная и европейская славистика в большей мере исследовала те новаторские явления литературного процесса XVII века, которые привели русскую литературу к открытиям человеческого характера, привнесли авторское начало, позволили вписать русскую литературу в общеевропейское культурное и литературное пространство»[31]. В то же время огромный пласт церемониальных книжных текстов, созданных в середине XVI – второй половины XVII века, представляется еще одним ярким моментом в истории книжности Древней Руси, который требует своего специального изучения. Так, например, продолжающееся серийное издание «Библиография работ по древнерусской литературе», выпускаемое Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН[32], дает возможность убедиться в том, что в поле внимания исследователей в разное время находился

---

[30] Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 109–110.

[31] Шунков, А. В. Чин как жанровая форма в русской литературе XVII века (постановка проблемы) // Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2010. № 4. С. 174. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chin-kak-zhanrovaya-forma-v-russkoy-literature-xvii-veka-postanovka-problemy

[32] Библиография советских русских работ по литературе XI–XVII веков за 1917–1957 годы, сост. Н. Ф. Дробленкова, ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.;Л., 1961; Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1958–1967 годы, сост. Н. Ф. Дробленкова, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Л. А. Дмитриев. Л., 1978, ч. 1 (1958–1962 годы); Л., 1979 ч. 2 (1963–1967 годы); Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1968–1972 годы, сост. Н. Ф. Дробленкова, ред. Д. М. Буланин. СПб., 1996; Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1973–1987 годы, сост. А. Г. Бобров, М. Д. Каган, Н. И. Милютенко, М. А. Салмина, О. В. Творогов, ред. Т. Г. Иванова, О. В. Творогов. СПб., 1995. Ч. 1 (1973–1977); СПб., 1996 Ч. 2 (1978–1982); Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР (России). 1988–1992 годы, сост. О. А. Белоброва, С. Э. Коледа, М. А. Салмина, С. А. Семячко, О. В. Творогов, М. А. Федорова, ред. Т. Г. Иванова, С. А. Семячко, О. В. Творогов. СПб., 1998; Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в России. 1993–1997 годы, сост. М. А. Салмина, О. В. Творогов, О. Л. Новикова, В. А. Ромодановская, ред. С. А. Семячко, О. В. Творогов. СПб., 2005; Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в России в 1998–2002 годы, сост. В. А. Ромодановская, М. А. Салмина, О. В. Творогов, ред. Т. Г. Иванова, В. А. Ромодановская. М.;СПб., 2008.

широкий круг описаний церемониальных актов: чины венчания российских царей (XVI–XVII веков), царские «походы» (торжественно-церемониальные выезды монарха как светские, так и богомольные), свадебные чины[33] и ряд других («Чин избрания епископа» (1630), «Чин мироварения и мироосвящения» (1624), «Чин исповеданию святейшим патриархом» (1630), «Чины церковные» (1630), «Чин пещнаго действа» (1630), «Чин освящения воды» (1655), «Три чина присяг» (1654).

«Чины» как жанровые формы, хотя и относятся по большей части к документальным текстам, тем не менее, позволяют увидеть представление книжника о красоте, сохраняющее в XVII веке, с одной стороны, христианское понимание порядка, гармонии («чина») и хаоса, греха («бесчиния»), а с другой – постепенно эволюционирующее уже в Новое время и придающее церемониальному действу торжественный светский характер, как в случае, описанном во втором варианте[34] чина бракосочетания царя Алексея Михайловича 1671 года[35]. И подобный пример переписывания и редактирования ранее существовавших чинов не единичен. Можно обратиться к известному чину организации посвящения в начальные сокольники, созданному при непосредственном участии царя Алексея Михайловича, в названии которого нельзя не увидеть противопоставление двух разных редакций текста – «Книга, глаголемая Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути» (1656).

Данный пример, когда по прошествии времени создается новый, более сложный вариант описания церемониального действа, показателен[36]. В первую

---

[33] Чин свадебный / подг. текста, перев. и коммент. В. В. Колесова // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 216–240.

[34] Как известно, царь Алексей Михайлович был женат дважды. Первое бракосочетание с Марией Ильиничной Милославской состоялось в 1648 году. Специально к этому событию был составлен чин. После смерти первой супруги в 1669 году Алексей Михайлович женится вторично 22 января 1671 года на Наталье Кирилловне Нарышкиной, по этому случаю и будет составлен новый вариант свадебного чина.

[35] Сазонова, Л. И. Свадебное приветствие царю Алексею Михайловичу // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск, 2008. С. 231–242.

[36] Насколько динамична, изменчива была рассматриваемая жанровая форма, можно проследить и на примере других «чинов» – описание посещений царем Николо-Угрешского монастыря, сравнив первый «поход» 8 мая 1647 года с описанием посещения монастыря в 1668 году, в сценарий которого по

очередь он говорит о том, что меняется представление как о роли церемониала в придворной действительности, так и понимание красоты, требующей своего нового вербального воплощения. В процессе редактирования чиновников тексты наполнялись не только новым содержанием, новыми деталями проводимого обрядового действа, но и новыми риторическими фигурами, использовавшимися при характеристике действий участников ритуализованного представления. В результате чины превращались в тексты, уже тяготеющие к образцам литературных произведений со своей особой поэтикой, свойственной драматургии.

В то же время динамика самой жанровой формы чина приводила к изменению представления о красоте, которая постепенно утрачивала религиозную основу и приобретала секуляризованный характер. В этом случае роль многочисленных «чиновников» – описаний церемониалов и торжеств – нельзя недооценивать при обращении к характеристике историко-литературного процесса в России переходного периода.

Таким образом, можно еще раз акцентировать внимание на тех выводах, которые нам приходилось уже делать ранее: в процессе художественной эволюции русской культуры изменялось представление о чине как о категории, определявшей суть понимания гармонии и порядка. На начальном этапе (в домонгольский период развития русской культуры и литературы) интерсующая нас категория характеризовалась только с религиозных позиций, и основной чертой понятия «чин» являлась «связь с феноменом христианского понимания красоты» (Л. А. Черная). В последующие же этапы развития русской культуры категория «чин» постепенно превращается в некий норматив, регламентирующий уже социальные отношения[37] и начинает активно использоваться в другом значении – определение социального статуса человека. В эпоху Петра I за словом

инициативе Алексея Михайловича была включена церемония проводов патриарха Антиохийского Макария. См.: Талина, Г. В. Угрешские походы царя Алексея. URL: http://www.portal-slovo.ru/history/35267.php (дата обращения 19.06.2014)

[37] «Звание, присваиваемое государственным служащим и военным в соответствии с табелью о рангах» // Черных, П. Я. Историко-этимологических словарь современного русского языка. М.: «Русский язык», 1999. Т. 2. С. 390.

«чин» окончательно закрепляется значение «звание, присваиваемое государственным служащим и военным в соответствии с табелью о рангах»[38].

3.2. «Чиновник» как книжный жанр Древней Руси – «текст-ритуал»

Проблема необходимости научного исследования «чина» как варианта одной из основополагающих категорий книжности Древней Руси – литературного этикета – была поставлена еще Д. С. Лихачевым в «Поэтике древнерусской литературы»[39]. Он считал, что литературные каноны «необходимо рассматривать как следствие этикетности средневекового мировоззрения и объяснять их в связи со средневековыми представлениями о должном»[40].

Д. С. Лихачев в своих работах говорил о традиционности и этикетности древнерусской литературы как об особых и отличительных признаках средневековой книжности. Приведем известные цитаты из «Поэтики древнерусской литературы» Д. С. Лихачева, в образной форме раскрывающие суть этикетности («чинности») древнерусской литературы и роли книжника в процессе написания произведения. «Писатель средневековья не столько изображает жизнь, сколько преображает и “наряжает” ее, делает ее парадной, праздничной. Писатель – церемониймейстер», который «создает известное литературное “действо”, “чин”»[41]. Как видно из процитированных фрагментов, понятия «этикета» и «чина» в древнерусской литературе и культуре не противоречили друг другу, а выступали как тождественные. Поэтому, изучая одну сферу культуры Древней Руси (книжность), необходимо иметь в виду и повседневность Средневековья, которой чин также придавал определенные

[38] Черная, Л. А. О понятии «чин» в русской литературе XVII века // Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). СПб., 1993. Т. 47. С. 343–356.
[39] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967. 372 с. (2-е изд., доп. Л.: Художеств. лит., 1971, 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979).
[40] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д.С. Избр. раб: в 3 т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 1. С. 357.
[41] Лихачев, Д. С. Указ. соч. С. 359.

формы, изображаемые и вербализуемые в письменном тексте. Следовательно, чин необходимо рассматривать не только как особую категорию миропорядка Средневековья, о чем подробно пишет Л. А. Черная[42], но и как определенную жанровую форму документальной книжности, входившую в систему книжных жанров Древней Руси.

Л. А. Черная дает объяснение понятию «чин» с философско-культурологической позиции, детально рассматривает природу данной категории, ее семантику, обращаясь к периодам истории культуры Древней Руси. «“Чин” в широком смысле – это божественный порядок, фиксирующий в основном вертикальную иерархию связей явлений, а в более узком смысле слова – каждый элемент этой системы, имеющий протяженность во времени (“действо”) и поэтому представляющий как бы горизонтальную линию бытия»[43]. Таким образом, «чин» как категория, характеризующая основы существующего миропорядка и объясняющая местоположение человека в мироздании, в русской культуре известна еще с дохристианских времен (по терминологии Л. А. Черной, это еще код дохристианской культуры)[44].

Однако необходимо учитывать, что христианство принесло с собой и новое понимание мира, выводимое из существования слова (логоса): «В начале было ***Слово***… – Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ***Λόγος***…» (Ин 1:1). По мнению С. С. Аверинцева, «средневековое сознание усвоило идею всеобъемлющей и осмысленной упорядоченности вещей и пережило ее, если это возможно, с еще большей остротой, чем она была пережита в древности»[45]. Мир начинает создаваться Словом и по Слову. «Да, средневековая культура вообще и византийская культура

---

[42] Черная, Л. А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века // Труды отдела Древнерусской литературы, 1993. Т. XLVII. С. 343–357; Черная, Л. А. История культуры Древней Руси**.** М.: Логос, 2007. 288 с.; Черная, Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Языки славянских культур , 2008. 464 с.

[43] Черная, Л. А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века // Труды отдела древнерусской литературы, 1993. Т. XLVII. С. 345.

[44] Эта мысль была высказана, например, в «Поэтике ранневизантийской литературы» С. С. Аверинцева. «И для древнегреческой, и для византийской культуры представление о мировом бытии в пространстве и времени связано прежде всего с идеей *порядка*». См.: Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Code, 1997. С. 88.

[45] Там же. С. 88.

в частности не переставала лелеять слово, и притом украшенное, риторическое слово, слово, сказанное отнюдь не “в простоте”, подчас больше, чем это было бы нам по вкусу. Но само “словесное” в этом культурном мире имеет особый строй, приближаясь к выразительности внесловесных семиотических средств – например, к весомости церемониального жеста…»[46]. В связи с этим представления о гармоничной упорядоченности мира, воплощенные в понятии «чин», должны были быть вербализованы в определенном жанре средневековой книжности, и таковым стал жанр преимущественно документальной книжности – «чиновник».

На сегодняшний день в отечественной науке пока еще нет монографических исследований этого жанра, хотя научный интерес к «чиновникам» проявляется со стороны не только филологии, но и искусствознания, истории[47]. О необходимости научного исследования «чиновников» как жанровой формы говорил в свое время и Д. С. Лихачев, рассматривая такое понятие, как литературный этикет и его реализацию в жанровых моделях древнерусской литературы. Так, объясняя сущность понятия литературного этикета, Д. С. Лихачев подчеркивал важность «полного исследования этого специфического для средневековья явления»[48], вместе с тем определял и одно из возможных интересных направлений изучения данного явления для истории литературы и литературоведения – «зависимость снижения роли литературных канонов от подъема значения этикета в государственной практике»[49].

С позицией академика Д. С. Лихачева, высказанной еще в 70-е годы XX века, солидарны исследователи сегодняшнего дня: «Рукописные Чиновники остаются неизученными и неизданными (за редким исключением), авторство входящих в них текстов не установлено, и вопрос об этом даже не ставился, поскольку

---

[46] Там же. С. 58.

[47] Саенкова, Е. М. Чиновники (типиконы) Успенского собора Московского Кремля как источник по истории русского искусства Позднего Средневековья: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04. М., 2004. 196 с. РГБ ОД, 61:04-17/204.

[48] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д.С. Избр. раб: в 3-х т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 1. С. 369.

[49] Там же. С. 363.

имеющие протокольно-документальный характер Чиновники принадлежат в силу своей жанровой природы к деловой письменности»[50].

Разделяя вышеприведенное мнение Л. И. Сазоновой, постараемся обозначить круг вопросов, требующих поиска ответов при изучении интересующего нас огромного пласта в истории древнерусской книжности. Прежде всего, это определение исторического периода, в котором чиновники как жанр начинают оформляться. В связи с этим немаловажным является вопрос об их жанровой разновидности и сфере бытования каждой из них. С позиции герменевтики небезынтересно будет изучить и художественную природу данного жанра древнерусской книжности, ее динамику. Обоснованием для последнего названного аспекта изучения чиновников является наличие нескольких вариантов описания одного и того же чина, но созданных в разное время и при различных исторических обстоятельствах. Примерами подобных случаев могут служить «Чин венчания на царство», «Свадебный чин» 1648 и 1671 годов и др. При таком подходе возможно будет проследить, как изменение представлений о совершаемом чине приводило к созданию его нового текстового воплощения.

Несмотря на то, что многие тексты Древней Руси, начиная с первых веков развития отечественной словесности, обращаются к осмыслению заимствованного из Византии полисемичного понятия «чин»[51], сама жанровая форма начинает складываться значительно позже и к XVI–XVII векам занимает свое место в жанровой системе русской литературы. Именно этот факт и имел в виду Д. С. Лихачев, когда характеризовал литературный процесс XVI века, отмечая особую роль, которую стала играть литература в эту эпоху: «Литература

[50] Сазонова, Л. И. Свадебное приветствие царю Алексею Михайловичу в Чине бракосочетания (1671 г.) // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск: Наука, 2008. С. 231–242.

[51] Черная, Л. А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века // Труды отдела Древнерусской литературы, 1993. Т. XLVII. С. 343–357; Черная, Л. А. История культуры Древней Руси**.** М.: Логос, 2007. 288 с.; Черная, Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Яз. славян. культур , 2008. 464 с.

вынуждена была воспроизводить содержание разрядных книг, чина венчания на царство, описывать сложные церемонии»[52].

В XVII веке, особенно в эпоху правления царя Алексея Михайловича, стремительно увеличивается количество различного рода церемониалов, в связи с этим возрастает и количество самих текстов, содержащих подробное описание чинов: «При царе Алексее Михайловиче не только возрастает пышность разнообразных празднеств, обрядов, придворных приемов и церемоний, но резко увеличивается количество специальных руководств (“Чинов”) для всего этого, нередко роскошно иллюстрированных. Составляют “Книгу о избрании на превысочайший престол великого российского царствия” Михаила Федоровича (отца Алексея Михайловича). Подготавливают книги по титулатуре: знаменитый “Титулярник” с портретами, переводное “Изложение титулов по изъяснению чертогоправителя Кодина”»[53].

Жанр, призванный изображать определенное действо, ритуал, и получает название чиновник. «Чиновники представляют собой особый вид текстов придворной литературы, это своего рода специальные инструкции, регламентирующие церемониальную практику <…> и напоминающие развернутые сценарии с описанием состава участников торжественного акта и приличествующей случаю одежды, обязательным обозначением места и роли каждого за царским столом или в праздничной процессии, с текстами речей»[54], – такое всеобъемлющее определение жанру предложено Л. И. Сазоновой.

Присутствие драматургических признаков указано в лаконичном определении, данном жанру В. В. Колесовым. «“Чин” – это текст-ритуал, а не текст-размышление, здесь важно движение, действие, событие»[55]. Этот подход в понимании природы жанра очень важен, поскольку дает возможность исследовать

---

[52] Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избр. раб: в 3т. Л.: Художеств. лит., 1987. Т. 1. С. 363.

[53] Первые пьесы русского театра. М.: Наука, 1972. С. 26.

[54] Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Яз. славян. культур, 2006. С. 146–147. Ее же. Свадебное приветствие царю Алексею Михайловичу в Чине бракосочетания (1671г.) // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск: Наука, 2008. С. 232.

[55] Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 587.

истоки русской драматургии XVII века, с иных сторон посмотреть на историю зарождения театра в России. В итоге, под «чинами» («чиновниками») понимается особая жанровая разновидность древнерусской книжности, в которой содержалось подробное описание торжественных как светских (придворных), так и церковных церемониалов Древней Руси.

На сегодняшний день это, пожалуй, все из немногих определений жанра, которые встречаются в исследовательской литературе, посвященной изучению проблемы церемониальной культуры и изображению ее в определенной жанровой традиции. Общим местом в приведенных определениях жанровой формы чина является то, что исследователи видят в ней не только документальную, но и художественную природу, позволяющую включить подобные образцы текстов в контекст литературной традиции Древней Руси[56]. Последнее замечание принципиально важно, поскольку не все исследователи древнерусской литературы склонны рассматривать «чины» («чиновники») как явление литературы.

В целом, принимая предложенные варианты определений жанра в исследованиях отечественных ученых, все-таки стоит внести некоторые поправки. Нельзя не заметить, что данное определение учитывает только одну разновидность жанра – это «чиновники», которые содержали в себе описание светских (придворных) чинов. Однако церемониальный мир Древней Руси немыслим без церковной обрядности, которая также была представлена своей системой чинов: чин литургии, чин крещения, чин погребения и многие другие. Таким образом, чиновники как жанр имели две разновидности, каждая из которых была связана с той или иной сферой: церковной (богослужебной) или светской (придворной). При этом церковные чиновники характеризовались большей устойчивостью, неизменностью формы и содержания. Придворные, или светские,

[56] Так, В. В. Колесов в комментарии к опубликованному им свадебному чину в Библиотеке литературы Древней Руси отмечает: «Вместе с тем “Чин” – ***памятник литературы*** (курсив наш. – *А. Ш.*), по этой причине он избегает не свойственных письменной литературе своего времени описаний некоторых не вполне «литературных» элементов русской свадьбы» (Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 588).

чиновники, наоборот, были более подвижны, могли подвергаться переработке, изменению в зависимости от стечения определенных исторических (конъюнктурных) обстоятельств.

Так, описания многих церковных чинов, составленные еще в XVI–XVII веках и вошедшие в требники, в неизмененной форме существуют до сих пор. Примером может служить «Чин погребения мирских человек»[57], утвержденный патриархом Никоном и в течение всего последующего времени и до сегодняшнего дня не менявшийся. Мы не будем излагать в деталях историю составления данного чина, поскольку она подробно рассмотрена в православной богословской литературе. Отметим только то, что чин имеет свою строго продуманную композицию, состоящую из трех основных частей. Однако задача чиновника заключается не только в изложении и описании обряда, но и в закреплении за определенным этапом совершаемого ритуального действа особого слова («*готового слова*»), сопровождающего обряд. И в этом случае документальный по своей природе текст становится интересным с позиции ораторского искусства, актуализируя уже литературную составляющую.

Литературный компонент проявляется через комплекс художественных мотивов, звучащих на протяжении всего обряда. Таковыми мотивами являются: мотив времени (скоротечности земной жизни), мотив утраты, мотив сна/успения (вечного сна) и др. Мотивный комплекс чина сформирован благодаря библейским и литургическим, богословским источникам, на основе которых составлено само

---

[57] Рукописный источник см.: библиотека Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: № 233 Требник неполный, полууст. четкий XVI века, в четверть, 318 листов Л. 130–151. URL: http://www.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=233&pagefile=233-0135 (дата обращения: 27. 08. 2014). В фондах библиотеки в отделе славянских рукописей см.: отдел «Смесь» – «Чины разные» № 739 «Обиходник столовый и чины разные» разных почерков, XVII века, в четверть, 644 листа; заставки из чернил (Л. 123, 433) искусны; № 740 «Чины разные», скороп., начала XVII века, в четверть, 209 листов; № 741 «Чины разные», скороп., XVII века, в четверть, 354 листа; № 742 «Чиновник», архиер. священнослужения, устав. тщательный, исх. XVII века, в лист, 176 листов, обрез вызолочен; №743 «Чин освящения церкви», устав., напис. 1759 года, в осьмую долю, 48 листов. По описанию библиотеки, составленному А. В. Горским. URL: http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php?col=1&gotomanuscript=739 (дата обращения: 27. 08. 2014).

действо: псалмы (90, 118, 50), 8 стихир преп. Иоанна Дамаскина, тропари, молитвы.

Наиболее сильным по эмоциональному воздействию является вторая часть чина, в которую входят 8 стихир преп. Иоанна Дамаскина, образующие непрерывную проповедь о суете жизни, ее скоротечности, тленности земного мира и бессмысленности человеческих усилий найти счастье в материальных ценностях:

> Глас 4. – Гдh есть мирьское пристрастіе; гдh есть маловременныхъ мечтаніе; гдh есть злато и сребро; гдh есть рабъ множество и плищи (то есть мирская суета, крики людей[58]. – *А. Ш.*). Вся попелъ, вся персть, вся chнь. Пріидhте възопіем бесмертному царю. <…> Пріиде смерть яко хищникъ, приступи тлитель и разруши мя. (л. 134 об.);[59]
>
> Глас 8. – Плачася и рыдаа, егда помышляю смерть. И видhхъ въ гробhхъ лежащую по образу божію созданную нашу красоту, безобразну и безславну, неимущю видhніа. О чюдеси что еже о мнh се бысть таинство, како предахомся тлhнію (л. 138).

В рассматриваемом чине нельзя не заметить специфический композиционный прием, на котором строится весь текст, – это антитезность, выражающаяся в смене тем и интонаций каждой из частей. Ярко проявляется это при провозглашении заповедей евангельских блаженств, которые привносят в чин тему примирения, прощения и спасения души, тем самым сглаживая трагическое мироощущение, характерное для 8 стихир с их основной темой временного и тленного.

Таким образом, церковный чин, на первый внешний взгляд кажущийся регламентированным и консервативным, внутренне обладает огромным

---

[58] Словарь древнерусского языка (XI–XIV века) / АН СССР, Ин-т рус. яз: гл. ред. Р. И. Аванесов М.: Рус. яз. 1988.

[59] Цитируется по рукописному источнику (ркп.) библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры № 233 с указанием листа в скобках.

лирическим потенциалом, позволяющим на протяжении всего времени совершения обряда воспринимать различные оттенки эмоций и чувств (страдания, страх, ужас, смирение, покой, умиротворение). Насколько сильны в художественном плане церковные чины, свидетельствует тот факт, что некоторые из них уже в более позднее время стали основой для поэтических текстов. В конкретном рассматриваемом нами случае 8 стихир преп. Иоанна Дамаскина, являющиеся одним из ключевых фрагментов чина погребения мирских человек, послужили источником для оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского». Убедиться в этом факте становится возможным при проведении сопоставления текстов обоих произведений, что и будет продемонстрировано в отдельном параграфе данной главы.

Если церковные чины меньше были подвержены переработке и правке, то светские, наоборот, могли редактироваться, что, в свою очередь, приводило к появлению варианта, учитывающего новые обстоятельства и условия совершения того или иного действа при дворе царя. Примерами могут служить чин венчания на царство[60], свадебный чин[61] и ряд других.

Так, например, в эпоху правления царя Алексея Михайловича свадебный чин был изменен дважды в связи с женитьбами царя в 1648 году и 1671 году. Созданные с интервалом почти в четверть века, два варианта существенно отличаются друг от друга определением роли художественного слова в построении и описании церемониала царского бракосочетания. «Однако Чиновники 1648 и 1671 годов отличает разная степень приобщенности к словесной культуре. <…> свадебный чин 1671 года наглядно свидетельствует о возвысившемся статусе слова, о том, что место слова в культуре заметно

[60] Бурсон, А. Е. О времени и обстоятельствах создания первоначальной редакции чина поставления и венчания на царство Ивана IV // Россия в IX–XX веках. Проблемы истории, историографии и источниковедения: сб. ст. и тез. докл. Вторых чтений, посв. памяти А. А. Зимина. Москва 26–28 апреля 1995 года. М.: Рус. мир, 1999. С. 93–96.; Морозова, Л. Е. Две редакции чина венчания на царство Алексея Михайловича // Культура славян и Русь / ред. Ю. С. Кукушкин. М.: Наука, 1998. С. 457–471.

[61] Котошихин, Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича, а также Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 216–239.

укрепилось»[62]. Последний вариант чина, по сравнению с первой его редакцией 1648 года, как показала в своем исследовании Л. И. Сазонова, значительно усложняется за счет включения в него приветственной орации[63], написанной Симеоном Полоцким.

Выявленная исследовательницей степень авторского участия Полоцкого в составлении чина бракосочетания позволяет говорить о самом чиновнике уже как о произведении, в котором художественная (литературная) составляющая занимает не последнее место в общей системе проводимого церемониала. Торжественная речь, включенная в описание церемониала, придает ему художественно-эстетическое начало, учитывающее вкусы главного действующего лица – царя. Л. И. Сазонова отмечает, что «торжественный, насыщенный особого рода символикой придворный церемониал, включавший и формы словесности, являлся своеобразной семиотической конструкцией, приводящей в связь различные уровни общественного сознания и культуры»[64]. Но, несмотря на все нововведения, привнесенные в новую редакцию чина, он сохранил основную свою идею – демонстрация особого мира, конструируемого по воле царя. Мир, который отражает мироощущение главного распорядителя и участника всего действа – царя. Поэтому соблюдение установленных и прописанных им правил должно быть обязательным, поскольку в своей совокупности все они направлены на достижение одной цели – изобразить гармоничный мир, представленном в книге. Позже подобная идея, как известно, найдет свое яркое воплощение в эпоху барокко: «известная поэтика мира отражается в поэтике “произведения”»[65].

Свидетельством того, насколько серьезно воспринимался и оценивался установленный царской волей порядок («чин»), может быть книжный памятник второй половины XVII века, в котором косвенно передаются все основные этапы свадебного чина и в котором обозначена мера ответственности за несоблюдение

---

[62] Сазонова, Л. И. Свадебное приветствие царю Алексею Михайловичу в Чине бракосочетания (1671г.) // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск: Наука, 2008. С. 233.
[63] Там же. С. 239–242.
[64] Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Яз. славян. культур, 2006. С. 145–146.
[65] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 335.

правил, нарушение их своими произвольными действиями границ узаконенного миропорядка. Таким книжным памятником является сочинение Григория Котошихина, в одной из глав которого подробно изложено царское наставление о необходимости соблюдения в момент совершения свадебного действа особых правил:

> А свой царской указъ бояромъ, и околничимъ, и думнымъ и ближнимъ людемъ, велhлъ сказати при многихъ людехъ: чтобъ они къ тому дни, въ которой день у него будетъ радость, въ томъ чину, кому гдh указано быть, были готовы безъ мhстъ, не по роду и не по чиномъ, а какъ у него будетъ радость, и въ тh дни будетъ кто из нихъ бояръ и околничихъ и думныхъ и ближнихъ людей учинятъ въ свадебномъ дhлh породою своею или мhстами или чиномъ какую смуту, и въ томъ свадебномъ дhлh учинится помhшка, и того за его ослушаніе и смуту казнити смертію безо всякого милосердія, а помhстья его и вотчины взяти на царя. Так же и послh свадбы никому никого никакими словами о свадебных чинhхъ не поносити, и в случаи не ставити, кто кого въ чину выше ни былъ; а кто кого учнетъ поносити, а chбя высити и про то сыщется, и тому отъ царя быти въ великой опалh и въ наказаніи[66].

Факт наличия в эпоху царя Алексея Михайловича, например, нескольких списков чина венчания на царство также говорит о том, что история его окончательного оформления связана с рядом обстоятельств, зависевших от политической ситуации и роли в ней определенного круга лиц, выступавших составителями и редакторами текста (духовенство и светские лица). Текст чина возникал постепенно, прежде чем был создан последний вариант. История создания окончательной редакции чина венчания царя Алексея была детально в свое время изучена Л. Е. Морозовой и освещена в ее работе «Две редакции чина венчания на царство Алексея Михайловича»[67].

---

[66] Котошихин Григорий. О России в царствование Алексея Михайловича. Изд. 3-е. СПб., 1884. С. 7.

[67] Морозова, Л. Е. Две редакции чина венчания на царство Алексея Михайловича // Культура славян и Русь / ред. Ю. С. Кукушкин. М.: Наука, 1998. С. 457–471.

Наблюдения, сделанные автором вышеупомянутой статьи над редакциями памятника, позволяют выделить историко-литературные примеры, указывающие на присутствие в редакциях чина фрагментов из других текстов. Таковыми являются «Повесть о честном житии Федора Ивановича», «Чин венчания царя Михаила Федоровича», речи духовенства. Все это говорит о том, что составители текста перерабатывали обширный пласт литературы, создавая итоговый вариант текста.

Вывод, к которому пришла Л. Е. Морозова, интересен фактами, имеющими как историческое, так и литературное значение. Сопоставление разных редакций чина позволило увидеть, как их создателям было важно показать свою роль, которую они хотели играть при дворе молодого царя Алексея, причем члены придворной партии постоянно менялись: вычеркивались одни имена, на их место вносились другие. «Затем после венчания среди приближенных Алексея был составлен новый текст Чина для включения его в чиновник. Это – третий список. Главными его составителями следует считать Б. И. Морозова и М. А. Ртищева. Не забыли включить свои имена и дьяки, которые, очевидно, писали текст. В итоге сама церемония была существенно усложнена новыми должностями, именами новых участников. <…> Текст его как бы фиксирует новую расстановку сил при дворе и становится похожим на разрядную запись»[68], – эта отмеченная Л. Е. Морозовой текстологическая особенность памятника, на первый взгляд кажущегося документальным описанием церемонии венчания, позволяет увидеть авторскую позицию в момент его составления, проявляющуюся в выражении симпатии и антипатии определенным кругам лиц.

Таким образом, на примере чина (чина венчания на царство царя Алексея Михайловича) мы вновь видим, насколько могла быть прозрачной граница между литературным и документальным основаниями для жанра, являющегося якобы простым описанием проведения церемониала или обряда. В конечном итоге

[68] Морозова, Л. Е. Две редакции чина венчания на царство Алексея Михайловича // Культура славян и Русь / ред. Ю. С. Кукушкин. М.: Наука, 1998. С. 470.

двойственная природа церемониального жанра чина, существующего между литературой и документом, не могла не привести к появлению и дальнейшему развитию в русской культуре XVII века драматургии и театра, что уже было отмечено в ряде исследований ученых прошлых лет[69].

3.3. Церемониальный текст второй половины XVII века как явление книжной культуры переходного времени (семиотический аспект)

О роли XVII века в развитии русской литературы в науке сказано немало. Общее мнение, которое сформировано в отечественной традиции изучения литературы XVII века исследователями[70] древнерусской литературы, – это осмысление XVII столетия как переломной эпохи в развитии отечественной культуры, как «переходного этапа от Средневековья к Новому времени». «Переходность» эпохи, как отмечено в ряде исследований, посвященных литературному процессу XVII века, проявила себя в изменении литературной парадигмы, связанном не только с активным привнесением в литературу беллетристического (развлекательного, светского) начала, но и с изменением авторского сознания, проявляющегося в новом восприятии мира и, соответственно, в его изображении в литературном тексте[71].

Однако до сих пор из области внимания исследователей древнерусской словесности при изучении литературного процесса XVII века (впрочем, как и других эпох) исчезают многие образцы документальной книжности, которые, в свою очередь, также являются значимым фактом в истории отечественной словесности. К таковым как раз и могут быть отнесены тексты, содержащие

---

[69] Демин А. С., Державина О. А., Робинсон А. Н. Появление театра и драматургии в России в XVII в. // Первые пьесы русского театра. – М.: Наука, 1972. – С. 7–98.

[70] Работы И. П. Еремина, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, А. Н. Робинсона, В. В. Кускова, Л. И. Сазоновой, Е. К. Ромодановской, А. Н. Ужанкова и др.

[71] Подробно об этом см: Ужанков А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. М., 2011.

подробные описания придворных церемониалов, церковных служб и действ, именовавшиеся «чиновниками».

Ранее, в одной из своих статей, мы уже отмечали, что «причина исследовательского “невнимания” к этой жанровой форме объясняется в первую очередь ее пограничным положением между литературой и документом. Тексты различных церемониалов, действ, служб лишены тех признаков произведений словесности, которые позволяют оценить в первую очередь литературную их значимость, представить произведение в контексте традиции беллетристики, увидеть эволюцию авторского сознания, отдельных тем и мотивов, звучащих на разных этапах исторического развития отечественной литературы»[72]. Такой подход в рассмотрении книжной природы «чиновников» неизменно будет приводить к сужению представления о них как о собрании документальных описаний различных светских и церковных обрядовых действ. Вместе с тем, возможен и другой взгляд на роль этой жанровой формы в становлении и развитии литературы как таковой. Не будем забывать, что перед нами «текст-ритуал» (по определению В. В. Колесова[73]), и если к нему подходить с культурно-семиотической позиции, то тогда станет возможным совершенно иное их восприятие, понимание места и роли в развитии отечественной литературы и шире – художественной культуры. Именно такую точку зрения высказал в свое время Ю. М. Лотман: «Средневековые культурные тексты обладают высокой степенью семиотической насыщенности»[74].

Напомним, что в рамках культурно-семиотического метода (в свое время подробно охарактеризованного Б. А. Успенским[75], Ю. М. Лотманом[76]) любой факт истории воспринимается и оценивается как событие коммуникации, описанное

---

[72] Шунков, А. В. «Переходный текст» XVII века: культурно-семиотический аспект // Вестн. Новосиб. госуд. ун-та. 2014. Т. 13. Вып. 12. С. 156–161. В указанной статье были апробированы результаты исследования по проблеме, нашедшей свое освещение в данном параграфе.

[73] Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН, ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. 618 с.

[74] Лотман Ю. М. Культура и взрыв. СПб., 2004. С. 50.

[75] Успенский, Б. А. Семиотика истории. Семиотика культуры // Успенский Б. А. Избр: тр.: в 3 т. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1.

[76] Лотман, Ю. М. О семиотическом механизме культуры (совместно с Б. А. Успенским) // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2004. С. 485–504.

своим языком[77]. Так, по мнению Б. А. Успенского, «в семиотической перспективе исторический процесс может быть представлен, в частности, как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая новая информация обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного адресата (социума)»[78], и в этой ситуации «важно, как осмысляются соответствующие события, какое значение им приписывается в системе общественного сознания»[79].

Исходя из культурно-семиотического понимания исторического процесса (как коммуникационной модели), важным становится взгляд на события истории (в том числе и историко-литературные) как на особый семиотический текст, отражающий систему представлений определенного «культурно-исторического ареала». Б. А. Успенский отмечает, что культурно-семиотический подход к истории предполагает апелляцию к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: значимым признается то, что является значимым с их точки зрения[80].

С этой позиции любое событие (вербализованное и зафиксированное в документальной форме) есть текст, в котором запечатлена определенная система представлений о мирообразе, «обусловливающих как восприятие тех или иных событий, так и реакцию на эти события»[81].

Книжно-документальные тексты определенной исторической эпохи, к числу которых относятся и многочисленные описания церемониальных действ, так называемые «чиновники», как нельзя лучше дают возможность увидеть, с одной стороны, фиксацию произошедшего исторического события, его «архивацию» в документальной форме, а с другой – этот же документ способен выразить эмоциональное отношение к событию со стороны того или иного субъекта. В

---

[77] В данном случае понятие «язык» Б. А. Успенским трактуется не в лингвистическом, а шире – семиотическом контексте: «как механизм порождения текста».

[78] Успенский, Б. А. История и семиотика // Успенский Б. А. Избр. тр.: в 3 т. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1. С. 11–12.

[79] Там же. С. 12.

[80] Там же. С. 11.

[81] Успенский, Б. А. История и семиотика // Успенский Б. А. Избр. тр.: в 3 т. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1. С. 11.

итоге возникает новый план понимания и осмысления события и определенная реакция на событие, его интерпретация, выражаемая посредством слова[82]. Б. А. Успенский пишет: «Одни и те же объективные факты, составляющие реальный событийный текст, могут по-разному интерпретироваться на разных “языках” – на языке соответствующего социума и на каком-либо другом языке, относящемся к иному пространству и времени (это может быть обусловлено, например, различным членением событий, то есть неодинаковой сегментацией текста, а также различием в установлении причинно-следственных отношений между вычленяемыми сегментами)»[83].

Применительно к литературному процессу следствием подобной ситуации, как известно, является проникновение в литературу документальных жанровых форм и в конечном итоге их беллетризация. Отметим, данная проблема до сих пор не потеряла своей актуальности и продолжает привлекать внимание теоретиков и историков литературы[84]. Круг вопросов, интересующих ученых, – это вопросы, в первую очередь затрагивающие аспекты поэтики: особенности жанровых образований и различных модификаций внутри одного жанра, стилевое своеобразие, роль автора, эстетическое значение и ряд других. Однако процесс перехода документального текста в книжный, принятие им литературного облика возможно объяснить и с культурно-семиотической позиции, для которой важным является понимание «превращения события в текст, <…> подчинение его заранее данной структурной организации»[85].

---

[82] По этому поводу нельзя не вспомнить известную афористичную формулу Ю. Н. Тынянова, очень точно характеризующую процесс проникновения документального начала в литературу художественную: «Там, где кончается документ, там я начинаю».

[83] Успенский, Б. А. История и семиотика // Успенский Б. А. Избр. тр.: в 3 т. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1. С. 13.

[84] Одна из последних работ, посвященных рассматриваемому вопросу, – это статья Е. К. Ромодановской «К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях», опубликованная в сборнике «Литература и документ». В работе автор вновь актуализирует проблему необходимости на современном этапе изучения документальных жанров, активно входивших в древнерусскую литературу в XVI–XVII веках и влиявших на художественную природу ряда жанровых форм (Ромодановская, Е. К. К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях // Литература и документ. Новосибирск, 2011. С. 5–15).

[85] Лотман, Ю. М. Исторические закономерности и структура текста // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2004. С. 339.

В дальнейшем, рассматривая проблему смены семиотической парадигмы в переходный период русской культуре (вторая половины XVII – начало XVIII века) на примере искусства слова, нельзя не обратить внимание на «чиновники» – описания придворных церемониалов.

О том, насколько прочно вошли в повседневный быт русского двора второй половины XVII века церемониальные действа (чины), могут свидетельствовать «Дневальные записки приказа Тайных дел»[86], о которых речь уже шла выше. Данный книжный памятник, имеющий документальную форму, содержит упоминание о следующих церемониалах, наиболее часто проводившихся при дворе царя Алексея Михайловича с непосредственным его участием. В их числе действо на новолетие, совершавшееся ежегодно первого сентября, прием послов[87], царские потехи – соколиная охота («ходил государь в Семеновское и на поле тhшился с птицами»), иные развлечения, сопровождавшиеся игрой на музыкальных инструментах («а достальные сокольники в особом же столh сидhли, гдh арганы стоять. 7176 г., сентября 1–10», с. 253), первые театральные постановки – «комедии»:

> А после бож. литоргиi изволил великиi государь идти в переднюю и жаловал к руке иноземцовъ, которые былi в камедиi, и всякихъ чиновъ людей. 7181 г. апhля 3–24 (с. 300);
>
> А после стола въ 7-м часу н(очи) была потhха: трубили в тру … и по накрамъ биллi. 7183 г., октябрь (с. 313) и др.

Мы не рассматриваем здесь церковные службы, проходившие с неизменным участием царя, такие как всенощные, заутрени, вечерни, панихиды, торжественные праздничные службы, крестные ходы и др. Но «Дневальные

---

[86] Белокуров, С. А. Дневальныя записки приказа Тайных дел 7165–7183 годов. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. М., 1908. Далее все цитаты приводятся по указанному изданию с обозначением страниц в скобках.

[87] Например, представлено подробное описание приема грузинского царевича Николая Давидовича. См.: Белокуров, С. А. Дневальныя записки приказа Тайных дел 7165–7183 годов. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. М., 1908. с. 70–85.

записки…» приводят упоминание об особых церковных чинах, представляющих целые театральные действа, в которых участвовал царь. К примеру, действо Страшного суда:

> а после божественныя литоргиі великиі государь ходил к дhйству Страшнаго суда, а дhйство было позаді олтарей соборные и апостольские церкви на площаді против прежних годов. 7168 г. февраля 23–2 марта (с. 61, 170, 208);

купание в Иордани:

> а после вечерни был ход на Иердань; а по совершениі дhйства на Иердани[88] в соборную же церковь и было многолhтье, и великому государю власти, и бояря, и окольничие, и думные, и ближние і всяких чинов люди здравствовали. 7170 г., декабря 29–11 января (с. 121, 206);

действо «Шествие на осляти» (исполнялось за неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье, в день церковного праздника «Вход Господень в Иерусалим»:

> въ 8 день в недhлю Цветоносную великиі государь слушал всенощного бдhния и бож. литоргиі … А преж литоргиі великиі государь ходил в … церковь, а ис соборные церкви за образы к церкви Вход во Иеросалим Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, что за Спасскими вороты, … а от Лобного мhста в Кремль к соборной же церкви Успения пресвятые Богордицы велъ осля, как чинъ обдержитъ. 7174 г., марта 25–7 мая (с. 212–213).

Как уже отмечалось ранее в ряде исследований, некоторым из церковных чинов, после того как они вышли из церковной обрядовой практики, суждено

[88] Купание в Иордани (в проруби) как отдельная тема получит свое развитие в эпистолярном творчестве (переписка с А. И. Матюшкиным) царя Алексея Михайловича. // Шунков, А. В. Жанр послания в русской литературе XVII века (на материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). Кемерово: КемГУКИ, 2006. С. 40.

было стать театральными пьесами[89] и продолжить свое существование в качестве произведений светской художественной культуры XVII века. Примером может служить чин пещного действа[90], известный на Руси с XVI века и имевший непосредственное отношение к церковному празднованию Рождества Христова. После того как чин пещного действа был упразднен, на его основе Симеон Полоцкий создает свою театральную пьесу «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных»[91]. В этой же традиции находится и другая его пьеса «Комидия притчи о блуднем сыне»[92], генетически связанная с четырьмя неделями, предшествующими Великому посту (о мытаре и фарисее, о блудном сыне, мясопустная и сыропустная)[93].

По мнению А. М. Панченко, одна из причин, которая может быть названа при объяснении процесса трансформации обрядового текста в театральное действо («комидию»), это новое «историософское ощущение», которое возникает в XVII веке. Появившиеся во второй половине XVII века при дворе царя Алексея Михайловича театральные пьесы воспринимались как «правдоподобное изображение прошлого»[94]. «Чин Пещного действа “был истинным”, “комидия” же Симеона Полоцкого – всего лишь “правдоподобной”, она допускала вымысел, писательское вмешательство в историю (недаром до сей поры не выяснены все

---

[89] Первые пьесы русского театра. М.: Наука, 1972.

[90] Дмитриевский, А. А. Чин пещного действа: историко-археологический этюд (Посвящается проф. Н. Ф. Красносельцеву) // Византийский Временник. СПб., 1894. Т. 1. С. 553–600.; Понырко, Н. В. Русские святки XVII в. // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 84–100; Понырко, Н. В. Источниковедение литературы Древней Руси (эпистолярное наследие XI–XIII вв., памятники рождественского и великопостного литургических циклов в народной культуре XVI–XVII веков, старообрядческая письменность XVII–XVIII вв.). Дис. в форме науч. докл. на соиск. уч. степ. д-ра филол. наук. СПб., 1999. С. 18–20; Терентьева, П. В. Музыкальная текстология и реконструкция древнерусского чина «Пещное действо»: диссертация ... кандидата искусствоведения. М., 2008. 353 с.; Стенникова, П. А. Церковно-театрализованные действа в России XVI–XVII веков: На примере «Пещного действа» и «Шествия на осляти» в Вербное воскресенье: дис. ... канд. истор. наук. Челябинск, 2006. 271 с.

[91] Точное время создания неизвестно, но к 1674 году пьеса уже ставилась при дворе царя Алексея Михайловича. Об этом факте со ссылкой на работу Богоявленского С. К. (Богоявленский, С. К. Московский театр при царях Алексее и Петре. М., 1914) писал Панченко А. М.: «К сожалению, мы не знаем, когда была написана пьеса “О Навходоносоре царе”. Известен лишь документ от 24 февраля 1674 г., в котором идет речь о жалованье придворным мастерам за переплетение “книги комидии о царе Навуходоносоре”»). Панченко, А. М. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. С. 73.

[92] Симеон Полоцкий. Избр. соч. подгот. текста, статья и коммент. И. П. Еремина. М.; Л., 1955 (Серия «Литературные памятники»); Демин, А. С. Симеон Полоцкий. «Комидия притчи о блуднем сыне» // Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII века. М., 1972. С. 313–324.

[93] Панченко, А. М. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. С. 74–75.

[94] Там же. С. 74.

источники пьесы “О Навходоносоре царе”; они и не могут быть выяснены, поскольку в ней присутствует индивидуально-творческий момент). Чин Пещного действа и пьеса Симеона Полоцкого с историософской точки зрения находятся в антагонистических отношениях: на смену вере приходит культура, на смену “вечности-в-настоящем” приходит отдаленная история»[95].

Однако мы считаем, что причины подобных изменений (определенного рода «культурных метаморфоз»), отмеченные А. М. Панченко применительно к литературному процессу 70-х годов XVII века, стали складываться двумя десятилетиями ранее – в середине столетия. Примером может служить известный чин (и на нем мы остановимся более подробно в контексте интересующей нас проблемы), уже имеющий светскую природу, – чин посвящения начального сокольника, подробно изложенный в «Книге, глаголемой Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути» («Урядник сокольничья пути», 1656 год)[96].

Внимание к последнему чину в истории отечественной культуры и науки было постоянным, начиная с XVIII века[97]. За время изучения памятника удалось подробно рассмотреть художественную природу произведения, определить его источники, осветить степень участия царя Алексея Михайловича в составлении и редактировании чина. Благодаря выводам, которые были сделаны по обозначенным аспектам исследования книжного памятника, «Урядник…» теперь можно более точной определенностью можно вписать в литературный процесс переходного времени. Однако это не значит, что природа этого произведения полностью исследована, и можно ставить точку.

Сейчас можно сказать, что в рамках интересующей нас проблемы «Урядник сокольничья пути» является примером книжного текста переходного времени, где обе традиции (документальная и литературная) объединены. С одной стороны, по

---

[95] Там же. С. 74.

[96] Рукописный оригинал памятника хранится в РГАДА, Ф. 27. Оп. 1, №52 /1. Л. 1–62. XVII век.

[97] Шунков, А. В. Литературное творчество царя Алексея Михайловича: эпистолярное наследие, «Урядник сокольничья пути». Новосибирск, 2000; URL: http://cheloveknauka.com/literaturnoe-tvorchestvo-tsarya-alekseya-mihaylovicha. Его же. «Урядник сокольничья пути» как памятник русской художественной культуры середины XVII века. Кемерово: изд-во «Арф», 2007. С. 44–52.

своей структуре перед нами типичное описание одного из множества придворных церемониалов второй половины XVII века с подробным изложением порядка его проведения, с перечислением предметов, используемых по ходу совершения чина, основных действующих лиц, их роли и местонахождения в каждый момент совершаемого действа. Однако «Урядник…», созданный при непосредственном участии монарха, имеет одно существенное отличие от других. Созданный как новая редакция известного до этого чина (что подчеркнуто в самом названии – «**Новое** уложение и устроение чина сокольничья пути»), по всей видимости, заменившая старый, до нас не дошедший памятник, он предстает как образец произведения, имеющего художественную природу. Подтверждением высказанного суждения являются те фрагменты текста (в первую очередь его вступительная часть), в которых составитель чина поэтизирует соколиную охоту, дает ей субъективную оценку (восхищение и воспевание) и выражает свое личное отношение к соколиной охоте:

> И зело потеха сія полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселіем радостным, и веселит охотников сія птичья добыча»[98] и т. д.

Однако сейчас это сочинение, принадлежащее переходной эпохе, может быть интересно не только своей художественно-эстетической стороной (о чем уже было сказано выше), но и с позиции культурно-семиотической. На его примере возможно проследить, как в переходную для истории русской литературы и культуры эпоху происходил процесс смены семиотической парадигмы, процесс «превращения события в текст»[99], нарративный источник.

«Урядник сокольничья пути» по своей природе является уникальным произведением для русской книжной культуры. Необходимо помнить, что данный текст существовал неразрывно с обрядовым действом (генетически восходящим к обрядам перехода[100]) посвящения рядового сокольника в начальные. Текст чина дает подробное описание процедуры его совершения. По всей вероятности,

---

[98] Собрание писем царя Алексея Михайловича. – М., 1856. С. 91.
[99] Лотман, Ю. М. Исторические закономерности и структура текста // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., Искусство – СПб, 2004. С. 339.
[100] Арнольд ван Геннеп. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. М., 2002.

данный обряд при дворе царя Алексея Михайловича совершался часто в силу особой страсти царя к соколиной охоте, о чем свидетельствует многочисленные послания царя, адресованные А. И. Матюшкину[101] и другими лицами, входившими в ближайшее окружение государя[102]. Сохранившиеся послания, составляющие эпистолярный фонд царя, содержат его распоряжения и просьбы по организации любимой потехи и могут быть использованы как незаменимый источник историко-культурных сведений, реконструирующих быт русского монарха середины XVII века.

В то же время текст чина редактировался неоднократно при непосредственном участии самого царя[103]. И этот момент весьма показательный, поскольку он раскрывает технику работы над составлением новой редакции сочинения и демонстрирует степень участия в этом процессе основного заказчика чина. Можно сказать, что здесь Алексей Михайлович предстает как автор-текстолог, одной из основных задач которого «сводится к заботе об строении-переустроении своего произведения-объема»[104]. Отмеченная особенность позволяет видеть в самом произведении черты барочной традиции, которая начнет активно о себе заявлять двумя десятилетиями позже.

Алексей Михайлович привносит в описание церемониала свое личное отношение к любимой потехе, выражает те эмоции, которые он испытывал в момент проведения охоты с птицами. Столь активное личное участие царя в составлении и редактировании текста чина позволяет видеть в нем совершенно новый тип писателя, который творит произведение, раскрывая свои творческие возможности, «которые направляют его и направляются им»[105]. Исследователями

---

[101] Письма царя Алексея Михайловича к А. И. Матюшкину (22 письма) // Сборник Муханова. М., 1836; Письма царя Алексея Михайловича к А. И. Матюшкину // Собрание писем царя Алексея Михайловича / сост. П. Бартенев. М., 1856. С. 11–86.

[102] Охотничий дневник царя Алексея Михайловича, 1657 г. // Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 285–295; Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича / под ред. С. А. Белокурова. М., 1896. Т. 5.; Письма царя Алексея Михайловича к П. С. Хомякову (1656–1657) // ЧОИДР. М., 1862. Кн. 1: Смесь. С. 1–5.

[103] Рукописный вариант текста сохранил редакторские правки Алексея Михайловича. РГАДА Ф. 27. Оп. 1, № 52 / 1, Л. 1–62. XVII век.

[104] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 352.

[105] Михайлов, А. В. Указ. соч. С. 382.

и публикаторами[106] «Урядника» неоднократно уже неоднократно приводились эти художественные фрагменты (ставшие уже хрестоматийными) документа, являющиеся творческим проявлением «чернений государевой руки»:

> л. 11. Безмерно славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же // л. 11 об. и утешительна и челига кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая перелазка и добыча. // л. 12. Красносмотрительно же и радостно высоково сокола лет. Премудра же челига соколья добыча и лет. // л. 15об. ... Радуйтеся и веселитеся, утешайтеся и наслаждайтеся сердцами // л. 16. своими, добрымъ и веселымъ симъ утешеніемъ въ предыдущія лета[107].

Подобное соединение в одно целое поступка и слова (здесь как раз и происходит переход «из области ритуального игрового действа в сферу словесного текста»[108]), которое мы наблюдаем на примере «Урядника», и позволяет назвать его «текстом-ритуалом», слово которого сопряжено с упорядоченностью, с устроенностью мира, универсума. Спустя несколько десятилетий эта особенность понимания задач автора станет одной из характерных черт литературы барокко, с присущим ей стремлением «репрезентировать мир в его полноте (т. е. в цельности и в достаточной полноте всего отдельного)»[109].

Повторение определенных кодифицированных действий участниками ритуала и произнесение ими узаконенных чином реплик имеет семиотическую природу, отражающую меняющееся авторское сознание во второй половине XVII века: стремление по образу и подобию церковных обрядов создать и узаконить в реальной действительности светский церемониал, который должен

---

[106] Урядник сокольничья пути // «Изборник»: (Сборник произведений Древней Руси) / сост. М. А. Салмина. М.: Художеств. лит., 1969. С. 567–572, 774–775.
[107] Текст цитируется по рукописному подлиннику: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 52/1.
[108] Лотман, Ю. М. Семиосфера и проблема сюжета // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб., 2004. С. 287.
[109] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 335.

восприниматься как непреложный и требующий своего точного повторения в последующих ситуациях[110].

Позволим себе по этому поводу привести фрагмент из работы Ю. М. Лотмана «Исторические закономерности и структура текста» как доказательство высказанной выше идеи: «Подобно тому, как текст, имеющий на странице книги вневременное бытие, в процессе чтения реализуется как уже прочтенный, читаемый или тот, который еще будет читаться, текст мировой истории для средневекового сознания существует в своем глубинном бытии вне времени и, лишь обновляясь в реализующих его поступках людей, обретает временную последовательность. <…> При этом следует учесть, что само понятие чтения было иным: оно подразумевало не только повторение и постоянное возвращение к определенным текстам, но и упорядоченность этих возвращений. Аналогично этому и человеческие поступки могли восприниматься как повторение поступков уже бывших, вернее, повторная реализация их глубинных прообразов»[111].

Таким образом, памятник как по своим литературным, так и по мировоззренческим особенностям[112] его составителя демонстрирует совершенно новое отношение к процессу создания и бытования текста в изменившейся историко-культурной ситуации второй половины XVII века. Новизна проявляется в том, что еще задолго до острой полемики противоборствующих сторон (традиционалистов и «новых учителей»: Аввакума – Симеона Полоцкого) закладывается абсолютно новая для русской культуры ситуация понимания процесса создания текста и его дальнейшего восприятия. Это ситуация в свое время была определена А. М. Панченко как «замена веры культурой, обихода “утехой”, обряда зрелищем, “прохладой”, развлечением»[113].

---

[110] По словам Л. И. Сазоновой, «в “Уряднике” отчетливо выражена риторическая установка на готовое слово и заранее предопределено содержание диалога между участниками церемонии» (Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Ранее Новое время. М.: Яз. славян. культур, 2006. С. 148).

[111] Лотман, Ю. М. Исторические закономерности и структура текста // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб., 2004. С. 357.

[112] Ужанков, А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. М., 2011. С. 410–414.

[113] Панченко, А. М. История и вечность в системе культурных ценностей // О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 75.

3.4. Модель идеального универсума и ее воплощение в церемониальном тексте переходного времени («Урядник сокольничья пути»)

«Книга, глаголемая урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути», как уже было сказано выше, – особое произведение в силу своей жанровой природы. Это образец книжного текста, обладавшего не только художественной природой (что нами было доказано ранее), но документ, имевший государственный статус[114].

Данный памятник, с одной стороны, регламентировал процедуру избрания начального сокольника (главного распорядителя царской соколиной охоты), а с другой – являет собой образец литературного сочинения переходной эпохи с ярко представленной авторской точкой зрения в вопросах понимания основ государственного мироустройства, выраженных художественными приемами.

На сегодняшний день «Урядник сокольничья пути» исследован достаточно хорошо. Он постоянно находился в поле внимания историков, текстологов, литературоведов, искусствоведов, как мы уже отмечали выше, начиная с XVIII века, когда был опубликован Н. И. Новиковым в «Древней российской вифлиофике»[115]. И интерес к нему продолжает сохраняться. Книга упоминается и приводится как пример текста, рассматриваемого в качестве предпосылки

---

[114] О государственной значимости соколиной охоты говорят исторические факты, зафиксированные как в письмах царя Алексея Михайловича, так и в документах приказа Тайных дел, личной канцелярии царя, ведавшей в том числе и вопросами, связанными с организацией соколиной охоты, содержанием штата сокольников и др. Так, например, сохранился документ, датируемый 1652 годом и содержащий описание наказания за отказ от участия в царской соколиной охоте (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 53. Л. 1). Памятник впервые был опубликован В. И. Ламанским во 2 томе «Записок отделения русской и Славянской Археологии» (СПб., 1861, С. 351). Представляет собой грамоту, сохранившую редакторскую правку Алексея Михайловича. В ней Алексей Михайлович дает хозяйственные распоряжения сокольнику Леонтию Григорову и одновременно сообщает о мере наказания, вынесенного за провинности другому сокольнику Борису Бабину: «I мы велели ево бить батоги нещадно і выкинуть іс сокольничья чину. <...> И вам бы ему Бориске и беспутной ево дурости не поревновать и нам великому государю наіпаче прежнего простиратца и служить».

[115] Древняя российская вифлиофика: изд. Н. И. Новикова. СПб.,1773. Ч. 1. С. 399–447; 2-е изд. СПб.,1788. Ч. 3. С. 430–463.

возникновения русского театра[116], а также в контексте изучения вопроса становления в России художественно-эстетической теории[117] и др.

Однако можно выделить еще один аспект восприятия и оценки книги. Это текст, в который его составитель (редактор) наряду с сугубо практической, деловой предназначенностью привнес свое особое понимание мироустройства, но показал это не декларативно, а используя приемы риторики, организующие церемониал. Стоит учесть тот факт, что книга датируется 1656 годом, то есть создается в эпоху, когда в России происходят важные события как внутренней, так и внешней политики: церковная реформа 1653–1655 годов, вхождение Украины в состав России 1654 году, начало войны с Польшей в 1654 году.

События политической жизни России середины XVII века отражают государственную идеологию, которая утверждается в эпоху правления Алексея Михайловича, – создание нового православного государства, правопреемника Византийской империи, укрепление авторитета Москвы как вселенского оплота православия. Б. А. Успенский пишет: «Москва утвердилась в своем качестве православной столицы, и на этом этапе концепция «Москва – третий Рим» получает не теократический, а политический смысл. Это предполагает отказ от культурного изоляционизма и возвращение к идее вселенской православной империи. Соответственно, вновь становится актуальным византийское культурное наследие. Алексей Михайлович стремится к возрождению Византийской империи с центром в Москве как вселенской монархии, объединяющей в единую державу всех православных. Русский царь должен теперь не только занимать место византийского императора, но и стать им»[118].

---

[116] Первые пьесы русского театра / под ред. А. Н. Робинсона. М.: Наука, 1972. 205 с.

[117] Бычков, В. В. Эстетическое сознание Древней Руси // Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII веков. М.: Ладомир, 1996. С. 15–46; Бычков В. В. «Урядник сокольничья пути» // Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII веков. М.: Ладомир, 1996. С. 345–352.

[118] Успенский, Б. А. Новые представления о царе в связи с внешними культурными влияниями: реконструкция византийского образца и усвоение барочной культуры // Успенский Б. А. Избр. тр: в 3 т. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1. С. 222–223.

Как известно, именно с царем Алексеем Михайловичем связывалась идея освобождения православных от мусульманского ига[119]. Эта мысль была близка настроениям на Балканах, где широкое распространение в XVII веке получили пророчества о будущем завоевании Константинополя руссами[120]. Образ Константина Великого, с которым греки отождествляли Алексея Михайловича, имел на Руси особое значение. Начиная с конца XV века, когда сформировалась теория «Москва – Третий Рим», в сочинениях русских авторов московские правители уподоблялись византийскому императору Константину. Воспринимаемый как идеальный монарх, он постоянно привлекался для поднятия авторитета великокняжеской, а затем царской власти.

В эпоху царя Алексея Михайловича, который понимал свою политическую и духовную значимость в православном мире, этот образ стал особенно популярен. Царь Алексей Михайлович осознавал себя царем всего православного мира, намеренно ориентируясь при этом на византийский образец. Политическая программа царя Алексея Михайловича, как известно, предполагала создание православной империи, выходящей за рамки Московской Руси. Соответственно, православный мир не замыкался для него в Московском царстве, а приобретал – по крайней мере, в идеале – масштабы Византийской империи; во главе этой империи призван был стоять не константинопольский василевс, а московский царь[121]. Эта же тема найдет свое продолжение и развитие в других, более поздних, посланиях царя, из которых видно, что Алексей Михайлович не сомневается в особой природе царской власти, данной Богом и определяющей предназначение царя в земной его жизни. Примером подобного факта может служить письмо Григорию Ромодановскому:

---

[119] В многочисленных посланиях с Христианского Востока, а также в сочинениях, принадлежащих видным представителям греческой церкви (Афанасий Пателар, Герасим Влах, критский архимандрит Неофит), содержится настойчивый призыв к царю Алексею Михайловичу отвоевать у турок Константинополь и освободить от ислама православный мир (Крит, Восточное Средиземноморье и Россия в XVII веке. 1995. С. 24, 27–28, 30–34).

[120] Рогов, А. И. Культурные связи России с Балканскими странами в первой половине XVII века // Связи России с народами Балканского полуострова (первая половина XVII века). М.: Наука, 1990. С. 114–137.

[121] Эта проблема рассмотрена нами в совместной статье с Севастьяновой С. К. См.: Севастьянова С. К., Шунков А. В. Русско-польская война и идея власти в России в середине XVII века // Homo communicans: человек в пространстве межкультурной коммуникации. Щецин, 2012. С. 246–253.

> Благословилъ и предалъ намъ, государю, правити и разсуждати люди Своя на востокъ и на западъ и на югъ и на chверh въ правду, и мы Божія дhла и наши государевы, на вchхъ странахъ полагаемъ, смотря по человhку[122].

Нельзя сказать, что «Урядник сокольничья пути» являет собой политический программный документ и напрямую определяет позицию монарха в вопросах политики. Но тот факт, что сам Алексей Михайлович выступал в роли редактора нового варианта чина избрания начального сокольника, позволяет видеть в нем сочинение, занимавшее не последнее место в государственной деятельности царя. Высказанное суждение может быть принято априори в силу имеющихся других документальных подтверждений активного обращения Алексея Михайловича в своей «писательской» практике к обсуждению вопросов понимания государственного мироустройства. Примерами могут служить послания и грамоты Алексея Михайловича, адресованные ближайшему окружению[123], в которых отчетливо звучит идея мессианского призвания царя Алексея Михайловича в православном мире. Словесным воплощением высокой идеи являются традиционные эпистолярные клише, используемые царем в своих посланиях и выражающие представления автора о своем особом предназначении, заступничестве и покровительстве ему небесных сил во всех его делах:

> А мы на Божией службе, Ево милостию и отца нашего великого государя свяthшаго Никона патриарха московского, всеа великия і малыя Росиі молитвами[124].

Частотность использования приведенного стилистического трафарета в посланиях царя, адресованных семье в период Польского похода, с одной

---

[122] Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 774.

[123] См., например, издание грамот и писем царя, представленных в изданиях Собрание писем царя Алексея Михайловича / сост. П. Бартенев. М., 1856. С. 11–86;: Записки отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2; Сборник Муханова. СПб, 1866. С. 213–225; Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича / под ред. С. А. Белокурова. М., 1896. Т. V. и др.

[124] Белокуров, С. А. Письма русских государей и других особ царского семейства. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896. Т. V. –С. 18, 21, 22–26, 28, 29, 45 и др.

стороны, показывает приверженность Алексея Михайловича как писателя канонам эпистолярного жанра, с другой – в приводимой этикетной особенности присутствует авторское понимание своего места и своей роли в иерархической модели миропорядка, принятой Алексеем Михайловичем. Именно поэтому все действия и поступки, совершаемые им, являются непреложными, поскольку они продиктованы свыше и являются Божественным волеизъявлением, противиться которому он не имеет права и как христианин, и как государь.

Для Алексея Михайловича не существовало разграничения дел на сугубо личные и государственные, все одинаково важно, если затрагивает интересы государя. В этой связи вполне закономерным и оправданным является факт учреждения особого государственного органа, созданного по инициативе царя предположительно в 1653 году, – приказа Тайных дел[125], личной канцелярии Алексея Михайловича. После смерти Алексея Михайловича его сын и наследник престола Федор Алексеевич в 1676 году приказ Тайных дел расформирует. Одной из задач, которая была поставлена перед дьяками и подьячими приказа, – это ежедневная фиксация событий из жизни государя. Итогом этой работы, как известно, стало появление особого документального книжного текста – «Записки приказа Тайных дел»[126], позволяющие реконструировать ежедневные события из жизни монарха на протяжении 18 лет.

«Урядник сокольничья пути» по этой причине может быть рассмотрен как пример книжно-документального текста, раскрывающего некоторые стороны мировоззрения царя, более всего ценившего порядок во всем:

> И по ево государеву указу никакой бы вещи безъ благочинія и безъ устроенія уряженаго и удивительнаго не было; и чтобы всякой вещи честь и чинъ и образецъ // писаніемъ предложенъ былъ, по

[125] Гурлянд, И. Я. Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902; Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича, а также Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН, ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 216–239.

[126] Белокуров, С. А. Дневальныя записки приказа Тайных дел. М., 1908.

тому: хотя мала вещь, а будетъ по чину честна, мѣрна, стройна, благочинна (л. 3 – л. 3 об.)[127].

В то же время памятник значим и в историко-литературном контексте XVII века, его переходного периода, так как позволяет на примере книжно-документальных текстов рассмотреть проявление личностного сознания в этот период, показать сам процесс формирования новой светской литературы из деловой письменности.

Уже во вступительной части к «Уряднику…» его составитель через описание начальной стадии подготовки церемониала дает толкование, что есть такое порядок и в чем заключается его значимость для мироустройства в целом:

А честь и чинъ и образецъ всякой вещи большой и малой учиненъ по тому: Чинъ укрепляетъ и утверждает крепость, урядство же... уставляетъ и объявляет красоту и удивленіе (л. 4 об. – л. 5).

Каждая вещь, с позиции автора «Урядника…», – это составная часть большого и разумного действа – «чина», где каждому отведено определенное место. Именно подобное «устройство», «уложение» – залог гармонии и красоты всего миропорядка. При внимательном прочтении небольшой по объему вступительной части «Урядника» нельзя не обратить внимание на те лексические единицы, приводимые составителем, которыми он дает понять, насколько значима идея порядка, воплощаемая в каждой детали или предмете. Если вычленить эти лексические единицы из текста вступительной части и объединить их в синонимические ряды, то получится следующая картина: **ряд** (урядник – уряжение – наряд – урядство); **строй** (устроение – стройный – стройство – бесстройство); **мера** (мерный – меряние); **честь – часть – час – чин**. В свое время П. Бессонов увидел в них желание составителя продемонстрировать свое понимание красоты: «Важен общий смысл показанных слов: именно все они заключают в себе, по корням, элементарные представления красоты; ими хотели

[127] Текст цитируется по рукописи: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 52/1.

выразить, какие средства доставляют вещи красоту, или высказать полное определение красоты...»[128].

Не отвергая высказанное в свое время наблюдение П. Бессонова, добавим только то, что приведенный пример наглядно демонстрирует важность для составителя чина идеи упорядоченности и гармонии, воплощаемой в предстоящем действе. Красоту он видит, прежде всего, в упорядоченности мироздания. Красота здесь должна пониматься не только в материальном ее воплощении, но и в умозрительном:

> Что всякой вещи потреба? Мнрѧніе, сличіе, составленіе; по томъ въ ней или около ея: благочиніе, устроеніе, уряженіе. // Всякая же вещь безъ добрыя мнры и иных вышеписанныхъ вещей бездѣльна есть и не можетъ составиться и укрѣпиться (л. 7 – л. 7об).

В этих рассуждениях составитель текста выступает традиционалистом, следует тем принципам, которые были глубоко укоренены в средневековой культуре, получившей их еще от античности: «И для древнегреческой, и для византийской культуры представление о мировом бытии в пространстве и времени было связано прежде всего с идеей порядка. Само слово “космос” означает “порядок”. …. Итак, греческий “космос” покоится в пространстве, обнаруживая присущую ему *меру*…»[129].

Таким образом, вводная глава, содержащая общие размышления о понимании основ миропорядка, в дальнейшем будет конкретизирована по ходу проведения всего церемониала, выступающего символом «правильно организованного пространства культуры»[130]. На примере единичного придворного церемониала одновременно демонстрируется незыблемость мироустройства, где гарантом стабильности является воля государя:

---

[128] Бессонов, П. Общее примечание к Уряднику // Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 126, 130–133 .

[129] Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 88, 94.

[130] Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Ранее Новое время. М.: Яз. славян. культур, 2006. С. 146.

л. 16. ***Прилогъ книжный, или свой***[131]. Сія притча душевне и телеснее // л. 16 об. правды же и суда и милостивыя любве и ратного строя николе не позабывайте: делу время и потехе часъ.

Однако ценность вступительной части может быть определена и с позиции сугубо литературной. Условно называемая вводная глава может быть рассмотрена именно как литературное предисловие к документальному тексту. Подобная традиция оформления документа, как показано в ряде исследований отечественных ученых[132], широко была распространена в XVII столетии. «Урядник сокольничья пути» не является исключением, а, наоборот, органично вписывается в существовавшую традицию «литературных предисловий к документам»[133] – составления предисловий к «чинам». Наиболее известным примером является предисловие к «Чину венчания на царство», рассмотренном в статье Е. К. Ромодановской[134]. Ценные наблюдения о роли предисловия в общей композиции текста также представлены в монографии Л. А. Черной[135].

Алексей Михайлович, редактируя предисловие к новому варианту чина избрания начального сокольника, использует известные стилистические приемы, уместные в данном случае. Во-первых, изначально создается ситуация беседы с читателем книги. После небольшого вступительного фрагмента, которым открывается предисловие, объясняющее цель составления «чина», автор напрямую обращается к потенциальным читателям:

---

[131] В тексте самой рукописи выделенные курсивом слова написаны рукою царя.

[132] Историография данного вопроса представлена в статье Е. К. Ромодановской «Литературные предисловия к документам в Древней Руси // Документальные аспекты литературы: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН, 2011. С. 6–16.

[133] Там же. С. 7.

[134] Там же. С. 11–14.

[135] Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М.: Яз. рус. культуры, 1996. С. 157–159. Л. А. Черная пишет: «В позднее Средневековье в русской, так же как и в украинской и белорусской книге, постоянно растет число предисловий и послесловий к одному и тому же печатному или рукописному тексту. Отпочковываясь от основного стержневого «предречения», совмещавшего и рассказ об издании, авторе, побудительных причинах, и посвящение-панегирик покровителю, меценату или монарху, и обращение к читателям с просьбой не судить строго издателей, писцов, переводчиков и т.п., появились отдельные самостоятельные, но во многом дублирующие друг друга и отличающиеся лишь по форме прозаические и стихотворные предисловия и послесловия» (Черная Л. А. С. 157).

> Всякiй же читателю почитай, и разумhвай, и узнавай, а насъ слагателя похваляй, а не осуждай (л. 6 об.).

Обращение к читателям сохраняется как на протяжении всей части предисловия:

> паче же почитайте сiю книгу, красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники. <…> Аще съ разумом прочтете, найдете всякого утhшнаго добра (лл. 8–8 об),

так и в его завершении:

> <…> правды же и суда и милостивыя любве и ратнаго строя николиже позабывайте (л. 16 об.).

Сохраняется и такой прием, распространенный в традиции предисловий, как упоминание себя в первом лице («молю и прошу васъ… (л. 9)»), использование риторических восклицаний («О славные мои совhтники, и достовhрные и премудрые охотник! (л. 15 об.)».

Но предисловие «Урядника…» имеет характерную особенность. С одной стороны, как того требовала традиция составления предисловий к документу, оно призвано «усилить действие и значение документа»[136], а с другой – обладает литературной функцией[137], описывает эстетическое значение предмета изображения в церемониале соколиной охоты. И что еще важно – предисловие «Урядника» дает возможность увидеть новую схему восприятия текста, сменившую средневековую «книга – читатель». В привычной для Средневековья парадигме восприятия текста теперь заметна роль нового члена этой схемы –

---

[136] Ромодановская, Е. К. Литературные предисловия к документам в Древней Руси // Документальные аспекты литературы: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН, 2011. С. 16.

[137] В упоминавшейся уже статье Е. К. Ромодановской приведено наблюдение Л. Я. Гинзбург, где называется условие, при котором документ может приобрести художественное значение. Таковым условием как раз и является эстетическая функция. Во всех остальных случаях предисловия к документальным текстам не обретают литературного значения. «Урядник сокольничья пути» в этом отношении выглядит исключением из общего правила, поскольку вступительная часть наряду с практическим предназначением обладает и эмоционально-эстетическим началом, о чем уже неоднократно было отмечено в исследованиях.

реального автора, высказывающего свое понимание роли и значения созданного текста.

Наличие предисловия показательно еще и в том плане, что оно позволяет в самом «Уряднике сокольничья пути» видеть элементы барочного текста – «произведения-книги». Как известно, в традиции барокко был распространен прием построения текста, сопровождавшегося предисловием, комментарием (указателем). Эти композиционные части превращали текст в произведение-свод, который позволял читателю за счет той информации, содержавшейся в этих разделах, определенным образом просвещаться. Именно по такому принципу будет построен поэтический сборник «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого, над которым он работал в 1676–1680 годы. Насколько осознанно составитель «Урядника сокольничья пути» выбирает этот принцип, трудно сказать. Но нельзя не заметить, что эта тенденция построения книги как комплекса частей, каждая из которых должна дать определенное знание, заявлена в этом произведении.

Последующие практические части («Статьи до государева пришествия» и «Статьи после государева пришествия», включающие 12 разделов) уже конкретизируют идеи, высказанные в самом начале. Надо отметить, что как отдельная часть «Урядника», так и весь текст в целом органично вписывается в общекультурный традиционалистский контекст понимания порядка (синоним к титулярному слову «тишина», символизировавшему «благоустроенное и благоденствующее государство»[138]) как основы государственности. Убедиться в этом возможно, обратившись к двум частям самого чина, где детально оговорены детали как подготовительного этапа проведения церемониала, так и основного действа – избрание начального сокольника.

В первую очередь, что сразу обращает на себя внимание при описании церемониала, – это яркость и богатство предметно-вещного мира. Здесь чин поставления в начальные сокольники удивительным образом действительно

[138] Подробнее об истоках данного титулярного элемента, его значении см: Панченко, А. М. Русская культура в канун Петровских реформ // Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб., Азбука, 2000. С. 17–21.

предвосхищает первые театральные пьесы, которые появятся в России в начале 70-х годов XVII века. Однако в подробной детализации интерьера и точном упоминании всех задействованных в церемониале его участников нельзя не усмотреть соблюдение средневековых традиций, предусматривавших узаконенное правило: «природа и вещи должны упоминаться лишь по ходу действия и по связи со смыслом действия, никогда не становясь объектами самоцельного описания, выражающего бескорыстно-отрешенную радость глаз; люди же предстают не как объекты художнического наблюдения, но как субъекты выбора действия»[139]. «Урядник сокольничья пути» тем и интересен, что позволяет увидеть пограничность самой ситуации, как «универсальная форма средневекового мышления и восприятия – символ, не смешивающий предмет и смысл <…> и не разделяющий их»[140], постепенно начинает трансформироваться, предоставляя возможность актуализировать значение внешней обрядовой стороны события. В будущем (спустя всего лишь два десятилетия) эта тенденция станет уже «узаконенной» и будет определять поэтику первых драматических произведений.

Как известно, декорации будущих первых пьес, автором которых был Симеон Полоцкий, будут отличаться своей пышностью и яркостью материалов, использовавшихся для костюмов актеров и обустройства самой «комедийной храмины». Удивительным и символичным одновременно в данной ситуации является то, каким словом была названа постройка для первых спектаклей. «Храмина» (как русский лексический вариант с полногласием – «хоромина») одного корня со словом храм, однако здесь нельзя не заметить при всей существующей лексической родственности разных семантических оттенков. Думается, это прекрасно понимал и сам главный устроитель «комидий», выбрав для названия «избы» слово, функционирующеее в быту – хоромина.

Однако при этом внутренний интерьер «комедийной храмины» нисколько не уступал убранству храма по красоте и богатству, о чем свидетельствуют

---

[139] Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 94.
[140] Там же. С. 231.

документальные источники[141]. Равно как и поведение главного зрителя первых пьес – царя Алексея Михайловича – было тождественно поведению в храме: «он не решался покинуть театр, ибо привык к тому, что нельзя покинуть храм»[142]. К этому можно добавить еще пару известных культурно-исторических фактов, связанных с премьерой «Артаксерскового действа» 17 октября 1672 года в селе Преображенском: перед тем как пойти на новое зрелище, Алексей Михайлович посещает духовника, а после десятичасового просмотра спектакля отправляется в баню, дабы очиститься от греха.

Приемы создания «сценического» пространства, использовавшиеся в театре Алексея Михайловича, никак нельзя назвать бутафорией. Предметы, использовавшиеся в церемониале (как позже и в пьесах Симеона Полоцкого), придавали парадность и торжественность разыгрываемой ситуации, укрепляли авторитет царя как фигуры, олицетворяющей закон и справедливость:

> Государь, царь и великій князь, Алексій Михайловичь, всея великія и малыя и бълыя Россіи самодержецъ, указал быть новому сему образцу и чину …» (л. 2). «Кому государь укажетъ быть въ начальныхъ сокольникахъ, //... тово государь и пожалуетъ. л. 17об. – 18.

Стремление показать гармоничный, идеальный миропорядок достигается не только внешними декоративными приемами, но и приемами, организующими само сценическое действо, его динамику. Общее наблюдение по этому поводу, которое звучит в исследованиях «Урядника», сводится к тому, что составитель церемониала намеренно стремился использовать приемы ретардации, замедляющей ход представления, что давало возможность созерцать красоту мира, создаваемого в процессе церемониального действа.

«Структура всякого государственного церемониала времен абсолютизма представляла собой разработанное до мельчайших деталей, развивающееся в виде

---

[141] Подробнее об этом см. Появление театра и драматургии в России в XVII веке // Первые пьесы русского театра / под ред. А. Н. Робинсона. М. Наука, 1973. С. 15–16.

[142] Панченко, А. М. История и вечность в системе культурных ценностей // Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. С. 75.

определенного сюжета, торжественное искусственно замедленное действие (“действо”). Это действие состояло из многоступенчатого повторения того “волевого” импульса, который исходил от царя, затем в строгой иерархической последовательности передавался от исполнителя к исполнителю и снова в такой же последовательности, уже в реализованной форме, возвращался к царю. Церемониал становился организующей формой развития придворной культуры. Он требовал своих устойчивых идей, ритуальных жестов и принятых формул словесного выражения»[143].

Предположим, что при создании данного светского церемониала вполне могли быть использованы в качестве образца как некоторые церковные чины, так и обряды фольклорного происхождения[144]. Подобное суждение вполне может быть принято, так как ранее Н. В. Понырко в своей работе о русских святках[145] показала взаимосвязь двух обрядовых традиций на Руси XVII века: «Народная обрядность святок во многом была продолжением церковной обрядности или ее травестией»[146].

В свое время Ю. М. Лотман, характеризуя особенности организации разных моделей текста, обратил внимание на церковно-обрядовый текст: «Церковно-культовый текст очень часто строится по принципу многоярусной семантики. В этом случае одни и те же знаки служат на разных структурно-смысловых уровнях выражению различного содержания. Причем значения, которые доступны данному читателю в соответствии с его уровнем святости, посвященности,

---

[143] Первые пьесы, С. 81.

[144] Это суждение уже было высказано П. Бессоновым в примечаниях к изданию «Урядника» 1856 года: «Царь, конечно, не сочинял всех этих обычаев: они выбраны, дополнены, благоустроены, а главное, приняли известную, определенную, чиновную службу, государственную форму, вошедши в разряд своего рода правительственных распоряжений. Потому нужно бы в Уряднике различить две части: 1. основу народного обычая при известных случаях охоты и 2. форму, которую они приняли в Уряднике. <…> При всем том мы можем отличить некоторые действия и обряды, исходившие, конечно, из народных преданий и существовавшие до Урядника, в него только внесенные». См.: Бессонов, П. Общее примечание к Уряднику // Собрание писем царя Алексея Михайловича / сост. П. Бартенев. М., 1856. С. 134–135.

[145] Понырко, Н. В. Русские святки XVII века // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977. Т. 32: Текстология и поэтика русской литературы XI–XVII веков. С. 84–99.

[146] Там же. С. 85.

«книжности» и т. д., недоступны другому, еще не достигшему этой степени»[147]. Приведенное наблюдение вполне применимо и к новому варианту сокольничьего чина как к примеру светского (придворного) церемониала, призванного в конечном итоге возвеличить царственную особу и показать ее исключительную роль в земном мироустройстве.

Определенная торжественность и сакральность, подчеркивающая избранность участников церемониала, их причастность к особым сферам, имевшим более высокий смысл, чем повседневность, достигается особыми приемами. Составитель чина подробен в описании происходящего действа: сокольников, птиц, предметов, используемых в церемониале, костюмов участников церемонии[148] (вплоть до отдельных деталей), их жестов и др. Символическое значение всех этих элементов неоднократно было показано в исследованиях, посвященных изучению текста церемониала. Общий вывод из всего вышесказанного сводится к тому, что перед нами особый текст, построенный по законам риторики и призванный на примере только одного события из жизни монарха придать земной его жизни священные и торжественные формы.

И в этом стремлении нельзя не увидеть желание составителя чина следовать византийским традициям в осмыслении и понимании фигуры царя. Именно эту черту русской культуры эпохи Алексея Михайловича в свое время отметил Б. А. Успенский: «Начальные моменты культурной реформы Алексея Михайловича определяются византинизацией русской культуры. Заимствуемые формы вырываются при этом из своего контекста, в котором они существовали вместе с их исторически сложившейся интерпретацией. Попадая в иной культурный контекст, они получают новую жизнь, которая может быть лишь опосредованно связана с их предшествующим существованием. Новые знаки

[147] Лотман, Ю. М. Текст и система // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 75–76.
[148] «Внимание к одежде в пьесах 1670-х годов подсказано... русским придворным обиходом. Хорошая, ценная одежда – важный признак гармоничного мироустройства» (Первые пьесы русского театра. М., 1972. С. 34).

могут при этом порождать новое содержание; оторвавшись от своего традиционного смысла, они получают генерирующую функцию»[149].

В своем стремлении в художественной форме представить мир идеала, гармонии автор «Урядника…» руководствуется средневековой концепцией мироздания. Отличительным ее признаком является строгая система иерархических корпоративных отношений. Желание автора изобразить охотничий ритуал, обряд «по образцу и чину» прослеживается в каждой статье «Урядника». Пирамидальность, иерархичность позволяют автору «охватить мир в целом, понять его как некоторое законченное всеединство»[150]. При всей своей новизне «Урядник» еще прочно связан со средневековой традицией, и прежде всего, в осмыслении мира и его художественном изображении.

Автором четко определяются обязанности каждого участника церемонии в зависимости от того, какое место он занимает в общей системе взаимоотношений. П. М. Бицилли, характеризуя западноевропейское средневековое общество, отмечал следующее: «Все общество состоит из лествично расположенных “чинов”, из которых за каждым признается своя “честь”, своя социальная функция»[151]. Подобное положение вещей наблюдается в проводимом церемониале:

> л. 46. Готовъ идти // л. 46 об. къ государской милости; и не по моей мере такая его государская премногая милость ко мне убогому, холопу его государеву, л. 67. и велели тебя писать полнымъ именемъ.

Называние полного имени героя не случайно. Этим показываются его новый статус, более высокие права и обязанности. Одновременно имя, по законам эстетики Средневековья, должно было нести нравственно-эстетический оттенок

---

[149] Успенский, Б. А. Сакрализация монарха в контексте историко-культурного развития. Новые представления о царе в связи с внешними культурными влияниями: реконструкция византийского образца и усвоение барочной культуры // Успенский Б. А. Избр. тр.: в 3 т. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1. С. 228.

[150] Бицилли, П. М. Элементы средневековой культуры. СПб.,1995. С. 12.

[151] Там же. С. 57.

смысла, что и выражено в обращении царя к сокольникам: «Премудрые, доброродные и доброхвальные охотники».

Особенно ярко заметна иерархичность в сцене пира при дворе Алексея Михайловича. Пир также представлен как сложный ритуал, «чин», проходящий по определенному уставу[152]. В финальном пиршестве, включая и «пир» для птиц, происходит своего рода возврат к исходной ситуации, оговоренной во вступительной части, где представлены размышления автора о красоте:

> л. 90об. Царь и великій князь... велелъ вамъ быти у стола, и веселитися и утешатися съ новопожалованнымъ по чину. // л. 99 об. Начальные, время веселіемъ и утешеніемъ птицъ обвеселити насыщеніемъ живым.

Но само веселие не менее символично, чем призыв к нему. Именно всеобщее веселие, радость и есть выражение гармонии бытия, символ здоровых начал жизни, способных проявить себя как в служении царю, так и в трапезе:

> л. 107–107об. А васъ начальныхъ сокольниковъ, за ваше доброе послушаніе, во устроеніе и во уряженіе и во украшеніе // звать къ государской милости ко столу.

Таким образом, «Урядник…» на примере всего лишь одного обряда иллюстрирует абсолютность, незыблемость существующего порядка вещей, вершиной которого в земном пространстве является «великий государь». Благодаря ему мир предстает как целое, гармоничное устройство. Характерно, что именно эта идея позже получит свое развитие в пьесах 70-х годов XVII века. «Авторы изображают не столько благоденствие персонажей, пусть даже самых значительных, сколько устроенность мира в целом, гармонию мира, нарушаемую назревающим конфликтом, но непременно вновь восстанавливаемую. <…> В

[152] Ср. описание встречи и обеда в честь грузинского царевича Николая Давидовича в «Дневальных записках приказа тайных дел» (М., 1908. С. 70–87).

пьесах в основе гармонии мирового порядка мыслится забота царя о подданных»[153].

Церемониальные тексты («чины») вновь обретут свою популярность в 80-е годы XVII века, в эпоху правления царя Федора Алексеевича, который, как известно, запретил театральные постановки. Однако не произошло отказа от идеи идеального государственного мироустройства, которая вновь получила свое риторическое воплощение в текстах церемониалов, еще более усложненных по сравнению с предшествующей эпохой царя Алексея Михайловича[154].

3.5. «Чиновник» в литературной традиции переходного времени[155]

«Чиновники» как особый книжный жанр древнерусской литературы («тексты-ритуалы») в ее переходный период также находились в динамике и подвергались трансформации. Причины жанровых изменений в первую очередь связаны с подвижностью того или иного обряда/ритуала, требовавшего и новой формы его вербализации. Создававшийся новый мир в изменяющихся исторических условиях должен быть явлен посредством слова, которое установит и новый «чин», порядок, новый церемониал, прочитываемый как особый семиотический текст.

Вторая половина XVII века (эпоха правления царя Алексея Михайловича) в российской истории ознаменована утверждением новой государственной идеологии, нацеленной на установление и укрепление абсолютизма. Как уже неоднократно отмечалось, сам Алексей Михайлович активно проявлял свою инициативу во всех сферах государственной деятельности. Живой интерес

---

[153] Общие черты драматургии 1670-х годов // Первые пьесы русского театра. М., 1972. С. 29, 31.

[154] «При царе Федоре Алексеевиче продолжилось заполнение риторикой пространства церемониальной жизни, которое оставалось ею не объятым. Церемониал все более детализировался и усложнялся, а значит, обретал дополнительную семантическую глубину» // Сазонова, Л. И. Указ. соч. С. 151.

[155] Проблема, рассматренная в данном параграфе диссертации, была освещена нами в статье: Шунков, А. В. Документальный текст в литературной традиции переходного времени (К вопросу об эволюции документальных жанров в историко-литературных условиях втрой половины XVII века) // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2014. № 388. С. 42–46.

монарха к делам внутренней и внешней политики приводил к составлению новых или к редактированию уже ранее существовавших церемониальных действ («чинов»), их подробному описанию в определенных жанровых формах документальной книжности – «чиновниках». Рассмотренный выше чин избрания начального сокольника («Новое уложение и устроение чина сокольничья пути») является тому подтверждением.

Подобная редактура ряда церемониалов и, как следствие, составление их новых текстовых вариантов позволяют поднять проблему необходимости исследования места и роли «чиновников» не только в истории отечественной культуры, но и литературы, определить их место в историко-литературном процессе переходного периода. Критерием определения значения самой жанровой формы может стать само слово, используемое в вербальной организации церемониала и фиксирующее его в книжном варианте, а также рассмотрение эволюции отдельных «чиновников» в истории становления литературы, их переход из разряда документальных по своей природе текстов в произведения, имеющие признаки художественности. Одним из таких «чинов», который в переходный период развития русской литературы приобрел литературную «прописку» и утвердился не только как один из церемониалов Древней Руси, но и как источник ряда книжных произведений, является «Чин свадебный»[156], в котором представлено описание организации и проведения обряда бракосочетания.

Установлено, что чин сформировался к XVI столетию и тесно был связан с «Домостроем»[157]. Как и любой документальный текст, свадебный «чиновник» давал четкие рекомендации по организации и проведению обряда с соблюдением всех необходимых условий, определявших подготовку к сватовству: выбор

---

[156] Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН, ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 216–240, 587–589.

[157] В. В. Колесов пишет: «По содержанию “Чин” близок к “Домострою”, но в текст “Домостроя” “Чин” не включался, хотя списки “Чина” обычно сопровождают списки “Домостроя”: тематическая и идеологическая близость двух памятников осознавалась средневековым читателем» // Колесов В. В. Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН, ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 588.

времени и места проведения бракосочетания, описание одежд участников свадьбы, их речи, произносимые по ходу проведения обряда и т. д. Однако видеть в «Чине свадебном» только лишь определенный устав, содержавший в себе перечень обязательных действий и речей его участников, не совсем правильно. Исследования показали, что чин вобрал в себя огромный пласт фольклорного материала, уже переработанного согласно законам книжной христианской культуры. «Кроме множества остатков язычества, в поэтике “Чина” отражен также символический и образный мир средневекового общества. Текст памятника складывался постепенно и так же постепенно откладывались в нем следы разных периодов развития русской культуры»[158].

Установлено, что, как и любой другой книжный памятник Древней Руси, «Чин свадебный» существовал в нескольких своих редакциях, отличавшихся друг от друга определенными признаками. По мнению В. В. Колесова, «некоторые варианты чрезвычайно кратки и совершенно безлики в отношении к социальной среде или времени, когда происходили предполагаемые ритуалом события. Другие редакции наполнялись яркими подробностями и характеристиками, и тем самым “Чин” становился художественным произведением, по типу близким к народной сказке, да и по характеру совершенно народным, – с анонимностью автора, с принципиальной возможностью дальнейшего восполнения текста, с характерным для средневековых народных произведений языком»[159].

Яркость зрелищного и протяженного по времени (от 2–3 дней до 10) обрядового действа с характерными для него сюжетными линиями и включением в обряд поэтического пласта, представленного лирическими песнями, позволяли использовать его и как источник беллетристических произведений, для которых сюжетообразующим выступал мотив женитьбы. Таковыми известными повестями в истории древнерусской литературы, в основе сюжета которых лежит традиция свадебного обряда, являются, например, «Повесть о Петре и Февронии

---

[158] Колесов, В. В. Чин свадебный // Библиотека литературы Древней Руси / РАН, ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2000. Т. 10: XVI век. С. 587.

[159] Там же. С. 587.

Муромских»[160] (XVI век), «Повесть о Тверском Отроче монастыре» (вторая половина XVII века)[161]. В первом случае повесть строится на фольклорно-мифологических основаниях свадебного обряда[162], с помощью которых Ермолай-Еразм, автор повести, достигает своей цели: показывает торжество христианской добродетели – супружеской верности и любви. Во втором случае уже становится возможным проследить характер «взаимоотношения обряда и повествовательного текста»[163], особенности их совпадения в сюжетных точках и расхождения, что и было продемонстрировано С. А. Семячко в специальном исследовании[164] «Повести о Тверском Отроче монастыре».

Вместе с тем в литературе XVII века существуют примеры повестей, сюжеты которых полностью тождественны схеме свадебного обряда и строятся в соответствии с ним. Образцом такой повести является «Повесть о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне»[165]. По наблюдениям С. А. Семячко, в данном случае «между обрядом и текстом можно условно поставить знак равенства. В тексте мы найдем почти все элементы обряда в их традиционном порядке»[166]. Таким образом, беллетристика Древней Руси в определенных случаях демонстрирует свою причастность к обрядовой традиции, использованной автором при достижении художественных целей.

В то же время «чиновники», как и любые другие жанры средневековой литературы, находились в состоянии изменения и были подвержены трансформациям, связанным со спецификой бытования обряда или светского церемониала. Не стал исключением и чин, регламентировавший проведение царской свадьбы и во второй половине XVII столетия дважды претерпевший

---

[160] Мита Аюми. Отражение свадебной обрядности в «Повести о Петре и Февронии» // Мита Аюми. Поэтика сюжета «Повести о Петре и Февронии»: автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 1997. С. 11–17.

[161] Семячко, С. А. Повесть о Тверском Отроче монастыре. Исследование и тексты. СПб.: Наука, 1994. 135 с.

[162] Дмитриева, Р. П. «Повесть о Петре и Февронии». Подготовка текстов и исследование. Л.: Наука, 1979. 340 с.

[163] Семячко, С. А. Указ. соч. С. 59.

[164] См. главу исследования: «Повесть о Тверском Отроче монастыре» и древнерусский свадебный обряд» // Семячко, С. А. Указ.соч. С. 41–61.

[165] Росовецкий, С. К. Повесть о женитьбе Ивана грозного на Марии Темрюковне // Памятники культуры: Новые открытия: письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1975. М.: Наука, 1976. С. 27–37.

[166] Семячко, С. А. Указ. соч. С. 60.

изменения. Это возможно увидеть на примере двух разных редакций свадебного чина, составленных по случаю бракосочетания Алексея Михайловича в 1648 и 1671 годах. Как известно, первая свадьба царя с Марией Ильиничной Милославской (16 января 1648 года) полностью исключала все, что могло быть связано с фольклорными традициями. В свадебном чине 1648 года[167] «… бесовские играния, песни студные сопельные и трубное козлогласование»[168] были заменены духовными стихами, стихирами из Праздников и Триоди. Причины подобного «культурного аскетизма», проявившего себя во время совершения свадебного обряда, известны. Равно как известно и имя «цензора», по воле которого была проведена существенная корректировка царской свадьбы, более всего напоминавшей церковную службу. Этим «идеологом» стал протопоп Стефан Вонифатьев, сторонник необходимости реформирования всех сторон жизни в русском обществе конца 40-х годов XVII века, духовник молодого царя, глава кружка «ревнителей благочестия»[169], стремившийся к нравственному оздоровлению русского общества после Смутного времени и негативно

---

[167] Чиновный список («чиновник») свадьбы царя Алексея Михайловича с Марьей Илиьничной Милославской // РГАДА. Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. IV. Рубр. II. № 23. Л. 1–145. Подлинник. 3 экземпляра, с правками думного дьяка Назария Ив. Чистого (предп.). На лл. 74-76 - частичная утрата текста. См. № 398. Публ.: Древняя российская вивлиофика, или Собрание древностей российских, до российской истории, географии и генеалогии касающихся, издаваемая помесячно Николаем Новиковым. Изд. 1. Ч. 2. С. 387-462 (первая публикация 1773 года).
А также см: Дело о бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марьей Ильиничной Милославской, дочерью стольника Ильи Данил. Милославского. Содержание: проект “чиновника” свадьбы (с правками), записи о приготовлениях к свадьбе, именные росписи бояр, боярынь, окольничих, думных дьяков, московских дворян, стольников, дьяков, жильцов, стряпчих и детей боярских царицына чина, росписи караулов в царском дворце и в воротах Кремля // РГАДА. Ф. 135. Отд. IV, рубр. II. № 22, лл. 1–116. Подлинник. Из архива Посольского приказа.

[168] По этому поводу весьма интересные наблюдения и заключения о характере проведения русской свадьбы содержатся в очерке Н. И. Остроумова «Свадебные обычаи в древней Руси» (Тула, 1905). Кроме угощений, нами здесь указанных, на древнерусской свадьбе были и различные увеселения, забавы, которые способен был тогда выработать русский народ. Так, существовали на свадьбах пляски, игры в трубы и гусли . Как можно видеть из летописи, было на свадьбах в числе увеселений и пение. Любопытно, что наряду с песнями, стихами бытового характера, распевавшимися нашими предками на свадьбах, встречались иногда церковные песни и духовные стихи. Занимательный случай представляет собой пение Иоанна Васильевича Грозного на свадьбе Марии Владимировны с королем Магнусом. «Среди общей радости развеселился царь Иоанн Васильевич. Когда другие плясали, он собрал маленьких послушников и стал с ними петь символ Афанасия Великого. Пел он быстро, его певцы не успевали за ним и сбивались. Грозный за это бил их до крови тяжелым посохом, которым регентствовал» (Остроумов, Н. И. Указ. соч. С. 34).

[169] Ромодановская, Е. К. Стефан Вонифатьев // СКИК. Вып. 3 (XVII век). Ч. 3. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 500–503.

относившийся ко всему тому, что противоречило или не соответствовало идее превращения Московского государства во вселенское православное царство.

Однако спустя почти четверть века (22 января 1671 года) ситуация кардинально изменится. Второе бракосочетание царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной будет совершаться уже по совершенно другому сценарию[170], свидетельствующему об иной «степени приобщенности к словесной культуре» и «о возвысившемся статусе слова, о том, что место слова в культуре заметно укрепилось»[171].

Детальный анализ свадебного чина 1671 года, его текстологическое исследование, осуществленные Л. И. Сазоновой[172], выявили не только новации в организации самого хода торжества (очередность совершаемых действ, их участников, описания места проведения), но и роль слова, звучащего на протяжении всего церемониала. Л. И. Сазонова пишет: «Придворный церемониал все больше насыщался текстами. Коммуникативной функцией наделены все церемониальные действия, растянувшиеся более чем на две недели. Здесь звучат и прямая, и косвенная речь»[173]. В то же время свадебный чин 1671 года содержит текст приветственной орации, обращенной к царю Алексею Михайловичу и принадлежащей перу Симеона Полоцкого[174]. По мнению Л. И. Сазоновой, «авторство Симеона Полоцкого в создании текста свадебного приветствия в Чине 1671 г. можно считать установленным»[175].

Все эти отмеченные детали и выявленные новые факты работы над составлением свадебного чина 1671 года свидетельствуют о том, что «чиновник» имеет историко-литературное значение. Книжный памятник, принадлежащий эпохе переходного времени, помимо своей сугубо практической, утилитарной

---

[170] Чиновный список свадьбы царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, дочерью дворянина Кирил. Полуект. Нарышкина // РГАДА. Ф. 135. Отд. IV, рубр. II. № 28, Лл. 1–106. Подлинник (беловой экземпляр). Столбец отреставрирован, на Лл. 7–9, 14–21, 26, 28–29 – частично утрачен текст. См. № 399. Из архива Посольского приказа.

[171] Сазонова, Л. И. Свадебное приветсвие царю Алексею Михайловичу в Чине бракосочетания (1671 год) // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск: Наука, 2008. С. 233.

[172] Сазонова, Л. И. Указ. соч. С. 231–242.

[173] Там же. С. 233.

[174] Л. И. Сазоновой опубликован полный текст приветственной орации, включенной в состав Чина свадебного 1671 года. См.: Сазонова, Л. И. Указ. соч. С. 239–242.

[175] Сазонова, Л. И. Указ. соч. С. 236.

функции (представить подробное описание церемониала) выполняет и художественно-эстетическую функцию, о чем свидетельствует и стилистика памятника, и особые риторические приемы[176], использованные в речах участников церемониала.

В конечном итоге можно говорить о том, что «чиновник», изначально чисто документальный по своей природе жанр, приобретает литературные признаки, свойственные текстам переходного времени. Из церковного обряда «Чин свадебный» 1648 года преобразуется в текст, имеющий светскую направленность. Текст, обладающий признаками театрализации, с включением в общее действие церемониала торжественных орнаментальных речей его участников, с распределением их ролей в общем чине.

Литературность «свадебного чиновника» подтверждается и другими фактами. Так, например, торжественные приветственные орации, написанные Симеоном Полоцким и включенные им в общий ход чина, тематически совпадают с его же виршами, вошедшими в «Рифмологион» (1680 год). Текстологический анализ ораций из свадебного чина и стихов из поэтического сборника, проделанный Л. И. Сазоновой, не только доказывает их принадлежность перу одного автора, но и служит подтверждением того, что документальный текст (инструктивного, регламентирующего характера) в переходный период русской литературы вполне мог быть подвергнут литературной обработке и послужить источником для литературного сочинения, стать его основой.

Отмеченная жанровая особенность чиновника – динамичность в границах и вариативность в содержании – может быть объяснена самой эпохой, которая определяла характер восприятия мира автором. Существующая поэтика мира должна быть отражена и в соответствущей поэтике произведения. Это барочная черта литературного произведения, о которой подробно писал А. В. Михайлов, в русской культуре начинает проявлять себя задолго до того момента, как барокко заявит о себе. Подтверждением тому как раз и могут быть чиновники, которые

[176] Так, например, Л. И. Сазонова называет один из таких приемов, использованных в приветственной орации Алексею Михайловичу, – параллелизация, позволяющая сопоставить событие из жизни царя с событиями священной истории, сравнить Алексея Михайловича с библейскими героями.

стремились репрезентировать мир, находящийся в упорядоченном виде, «т. е цельности и в достаточной полноте всего отдельного»[177].

Русская литература переходного времени дает возможность познакомиться с еще одним книжным произведением, в котором представлены авторская интерпретация свадебного чина, его свободное изложение. Таким книжным памятником является сочинение Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича»[178] (1666–1667 годы), где представлены два варианта свадебного действа. Один вариант, размещенный в первой главе «О царех, о царицах, о царевичах, о царевнах», дает описание царской свадьбы, другой – в 13 главе «О житии бояр, и думных, и ближних, и иных чинов людей» – знакомит с правилами организации и проведения свадебного обряда в народной среде.

Сразу отметим, что включение автором описания свадебных традиций в начале и в финале книги позволяет оценить это как особый композиционный прием, создающий кольцевое обрамление всего повествования. Отмеченный прием выполняет вполне конкретную функцию: с его помощью становится возможным создать целостную картину устройства русского общества середины XVII века. Зафиксированные письменно элементы и особенности церемониального действа позволяют показать все уровни русского общества: от царя до простого человека, занимающего самую низшую ступень социальной иерархии («… и чин той свадбth бываетъ против того жъ, как въ царской свадбh написано» С. 171). В итоге описание свадебного чина, введенного в текст книги, помимо своей информативно-познавательной функции, (Котошихин адресует свое сочинение европейскому читателю, именно для него он и пишет свою книгу о нравах, обычаях, традициях московского общества середины XVII века), выполняет функцию сюжетопостроения, являясь одним из основных элементов единого текста. Сопоставительный анализ начальной и финальной глав книги, содержащих описание русского свадебного чина, позволяет понять значение

[177] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 335.
[178] Котошихин Григорий. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884. Изд. 3-е. В дальнейшем текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в скобках.

церемониала в жизнестроительстве представителей различных социальных слоев русского общества.

В то же время прием кольцевой композиции, примененный Котошихиным в построении книги, является одним из свидетельств принадлежности его как автора барочной традиции. Котошихин использует в своей писательской практике хорошо известные ему книжные приемы, распространненые в эпоху барокко. Общеизвестно, что одна из моделей конструкции барочного текста – это рамка. Смысл и значение данного композиционного приема раскрыты в специальных исследованиях как европейских, так и отечественных ученых. Так, например, в одной из работ, посвященных осмыслению поэтики барочного текста, А. В. Михайлов по этому поводу пишет следующее: «… рамка – знак книги-свода, книги-объема. <…> И научная книга тоже строится и издается как “рамочная конструкция”, – говоря иначе, как конструкция, которая выставляет наружу, делает зримой свою функцию рамки (для смысла, выявляющегося внутри целого), а тем самым и заявляет свои права на презумцию осмысленности»[179]. Книгу Котошихина, действительно, по тем целям и задачам, которые ставились перед ним как перед автором, можно назвать научной в том понимании, что она несла в себе определенный и конкретный свод знаний, который был востребован заказчиком сочинения. Котошихин пишет книгу на основе знаний, доступных ему самому. Из отдельных сюжетов жизни русского государства, которые он наблюдал как очевидец, составляется единый текст, сравнимый со сводом, «кунтскамерой».

На примере свадебного обряда становится возможным вербализировать своеобразную проекцию на все повествование: ритуализованным формам жизни русского двора Котошихин противопоставляет описание повседневного быта простого человека. В итоге основным художественным приемом, на котором строится весь текст, можно назвать антиномию, привносящую в текст всего сочинения контрастность, зрелищность и эмоциональность в изображении

[179] Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 342.

отдельных фрагментов сочинения. И описание свадебного обряда является одним из таких примеров, который позволяет читателю составить целостное восприятие жизни русского человека середины XVII века, русского мира во всем многообразии его национальных традиций.

Воссоздаваемый в книге автором мир предстает как с внешней, парадной, стороны, так и с внутренней – вскрывая остросюжетные линии интриг, разыгрываемые до и во время проведения свадьбы. Котошихина как книжника и автора сочинения интересует именно внутреннее наполнение обряда, поскольку именно оно дает возможность показать характер человека, увидеть его истинное лицо, тщательно скрываемое за атрибутами торжественного церемониала. Именно поэтому Котошихин предельно сухо и лапидарно описывает внешнюю сторону царского свадебного обряда, приводя общие сведения о том, как и где проводится свадьба царя, кто в ней принимает участие, какова общая продолжительность торжества, в каких одеждах должны быть главные виновники праздника и приглашенные гости, какие блюда подаются на свадебный стол и прочие детали, связанные с устроением всего свадебного чина. Однако эта документальная часть чина менее всего интересна с литературной точки зрения. Котошихин как протоколист (служба писцом в Посольском приказе вполне могла сформировать у него документальный стиль, которому он и следует) точен в описании составляющих свадебного церемониала, который он знает хорошо. Так, например, Котошихин говорит о том, что царская свадьба не допускает какого-либо эмоционального буйства:

> <…> а на дворhхъ чрезъ всh ночи для свhтлости зжгутъ дрова на устроеных мhстехъ; а иныхъ игръ, и музикъ, и танцовъ на царском веселіи не бывает никогда (С. 14).

Литературная художественная ценность памятника проявляется в тех его фрагментах, где автор позволяет себе отойти от официальной темы и сделать своего рода отступления, имеющие сюжетное начало. Именно в этих случаях документальный текст, содержащий в себе описание свадебного чина, расцвечивается литературными элементами. Так, например, своеобразным

прологом к детальному описанию царского свадебного чина, представленного с 11-й по 23-ю статью первой главы «Сочинения…», является рассказ о несостоявшейся в 1647 году свадьбе Алексея Михайловича с Евфимией Федоровной Всеволожской. Известное историческое событие из жизни молодого царя автором интерпретировано в рамках средневековой книжной традиции как вторжение дьявольских сил в жизнь праведного человека, своими действиями приводящее его к страданиям и крушению благих намерений:

> И свhдавъ царь у нhкоторого своего ближнего человhка дочь, дhвицу добру, ростомъ и красотою и разумом исполнену, велhлъ взяти къ себh на дворъ и отдати въ береженіе къ сестрамъ своим царевнамъ, и честь надъ нею велhлъ держати яко надъ сестрами своими царевнами, доколh збудется веселіе и радость. И искони въ Російской землъ лукавый дьяволъ всhялъ плевелы свои: аще человhкъ хотя мало пріидетъ въ славу и честь и богатство, возненавидhти не могутъ. У нhкоторых бояръ ближнехъ людей дочери были, а царю объ нихъ къ женидбh ни объ единой мысль на пришла: и тhхъ дhвицъ матери и сестры, которые жили у царевенъ, завидуя о томъ, умыслили учинить надъ тою обранною царевною чтобъ извести, для того: надhялися, что по ней возметъ царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека; и скоро то и сотворили, упоиша ея отравами (С. 5–6).

В небольшом по объему фрагменте, предшествующем детальному описанию свадебного чина, автору удалось показать обобщенный портрет московского двора на фоне тех козней и интриг, которые умело плетет лицемерное окружение царя, контрастно представить образ самого государя, тяжело переживающего произошедший случай:

> Царь же о томъ велми печаленъ былъ и многа дни лишенъ был яди; и потомъ не мыслилъ ни о какихъ высокородныхъ дhвицахъ, понеже позналъ о томъ, что то учинилося по ненависти и зависти (С. 6).

В финальной 13 главе сочинения Котошихина мотив обмана и подлога при сватовстве получит свое дальнейшее развитие, но теперь с его помощью представлены нравы сословий русского общества, находящихся на нижних ступенях социальной иерархии. Котошихин на довольно-таки обширном текстовом пространстве финальной главы (пять статей главы, начиная с 10-й статьи) рисует целостную картину обмана, характеризуемого им как распространенное явление при сватовстве, когда девица имеет тот или иной физический изъян (хромота, немота, глухота и др.). В этих случаях применяются проверенные временем «технологии обмана» потенциального жениха в русском обществе: подмена убогой дочери здоровой («показываютъ другую или третьею дочерь» С. 176):

> Такъже у которого отца одна дочь дhвица, а увhчна будет чhм нибуди худым, и вмhсто еh на обманство показывают нарочно служащую дhвку или вдову, назвав имянем иным и нарядя в платье в-ыное. А будет которая дhвица ростом невелика, и под неh подставливают стулы, потому что видитца доброродна, а на чем стоит того не видhть (С. 177).

Последствия свадебного обмана раскрываются уже позже, после венчания, когда молодой супруг впервые видит свою избранницу в ее истинном облике, далеком от идеала женского образа:

> <…> а как будет свадба, и в то время за того жениха по зговору выдают они замуж увhчную или худую свою дочерь, которые имя в записях своих напишут, а не тоh, которую сперва смотрилщицh показывали, и тот человhк женяся на ней того дни в лицо еh не усмотрит, что она слhпа, или крива, или что иное худое, или в словах не услышит что она нhма или глуха, потому что в тое свадбу бывает закрыта и не говорит ничего, такъже ежели хрома и руками увhчна и того потомуж не узнает, потому что в то время еh водят свахи под руки, а как отвhнчався и от обhда пойдет с нею спать, и тогда при свhчh еh увидит, что добрh добра, век с нею жить, а всегда плакать и мучитца, и потом умыслит над нею учинить, чтоб

> она постриглась; а будет по доброй его волh не учинит, не пострижется, и он еh бьет и мучит всячески … (С. 176).

В итоге описание свадебного чина (статьи с 11-й по 23-ю главы I «О чину, как устраивают свадебный чин» С. 8–16) выходит за пределы жанровой традиции документа и обретает черты и признаки сочинения с литературными элементами, в котором автор рисует обобщенный образ современника с присущими ему чертами характера. «Литературность» проявляет себя как раз в тех моментах, которые содержат «портретные штрихи» в описании неблаговидного образа невесты. Прием, использованный Котошихиным в своем сочинении при описании «подложных» невест, идентичен тем приемам, которые были распространены в документальной книжности, с которой Котошихин не мог не быть знаком по роду своей службы. Е. К. Ромодановская пишет: «Как известно, именно в документе – прежде всего в следственных делах – появляются зачатки художественного (литературного) словесного портрета, а в описях земельных угодий – пейзажа».[180] Благодаря этим особенностям сочинение Котошихина органично вписывается в литературный контекст своей эпохи, для которой свойственны секуляризация авторского мышления, поиск новых приемов в изображении героя и события, субъективность авторского взгляда на предмет изображения, введение в текст особых приемов, имитирующих непосредственную апелляцию автора к читателю, при помощи которых создается эффект диалога двух субъектов речевого высказывания. К примеру:

> Благоразумный читателю! Не удивляйся сему: истинная есть тому правда, что во всемъ свhтh нигдh такова на дhвки обманства нhтъ, яко в Московскомъ государствh (С. 178).

Словом, сочинению Котошихина присущи те художественные особенности, которые традиционно относят к литературным процессам, имеющим переходный характер.

В рассматриваемом случае есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Это трансформация чина (в данном случае свадебного чина) в текст,

---

[180] Ромодановская, Е. К. Литературные элементы в сибирских челобитных XVII в. // Е. К. Ромодановская. Избр. тр. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск: Наука, 2002. С. 337.

обретающий литературную, художественную природу. Весьма интересно то, что сочинение Григория Котошихина, содержащее в себе описание царского свадебного чина, по времени написания находится между двумя разными его редакциями 1648 и 1671 года, которые уже приводились выше. Это дает возможность проследить, как в течение почти четверти века меняется представление автора о природе документального текста, его литературном потенциале. В результате свободной авторской переработки текста чиновника и введения его в пространство другого текста он начинает восприниматься и оцениваться совершенно по-новому. Вполне очевидно то, что для автора он служит основой, базой для создания своего варианта текста. При этом изначальная форма документа не является сдерживающим фактором для творческих возможностей автора, проявляемых при написании сочинения.

3.6. Традиция церемониальной книжности Древней Руси в литературе Нового времени[181]

Обрядово-церемониальные тексты («чины») Древней Руси, как уже отмечалось, – особая жанровая форма, имевшая свое определенное практическое предназначение: представить подробное описание процесса конструирования в церемониальной практике идеального универсума, призванного заменить один мир (несовершенный) другим, приведенным к гармонии. Это определенный пласт в древнерусской книжности, в котором запечатлены представления человека о мире и месте человека в нем. Можно сказать, что «чины» формировали картину гармоничного мира, основой которого являлся принцип иерархии. Этот мир, созданный «чином», мыслился как существующий вечно, и человек должен был войти в это время, подчинить сегодняшнее вечному. В связи с этим другая задача, которая решалась «чинами», – это оформление повседневности в торжественные

[181] Данный параграф опубликован в качестве статьи в Вестнике Томского государственного университета. См.: Шунков, А. В. «Чин погребения мирских человек» (XVI в.) и его традиция в поэтическом творчестве Г. Р. Державина // Вестн. Томск. гос. ун-та. Филология. 2014. № 2. С. 151–159.

вечные формы. «Чин» должен был дать человеку возможность ощутить свою сопричастность вечному времени, освященному Богом.

Выше мы подробно останавливались на одной из разновидности «чинов», условно называемых светскими (придворными), и на примере «Урядника сокольничья пути» показали их роль в формировании новой культурной семиотической парадигмы в России середины XVII века. «Урядник сокольничья пути» дал возможность увидеть начало процесса перехода обряда в театральное зрелище, механизм проведения которого разрабатывается и записывается при непосредственном участии самого царя как редактора. Таким образом, отечественная традиция светских (придворных) церемониалов XVII века заложила основы русской драматургии, отражавшей изменившиеся культурные ориентиры повседневной жизни, в первую очередь, царя Алексея Михайловича[182]. Как известно, при Федоре Алексеевиче, по причине отсутствия с его стороны интереса к потехе, театральные постановки прекратятся[183] до начала XVIII века.

Другая разновидность «чинов» – церковных, несмотря на присущую им каноничность, все-таки оказала воздействие на русскую литературу последующих этапов развития. Один из наиболее известных вариантов трансформации текста церковной службы, ее пародирование, представлен сатирической повестью XVII века «Служба кабаку» («Праздник кабацких ярыжек»)[184], традиционно

---

[182] «Только Алексей Михайлович, сидя в кресле перед сценой, чувствовал себя совершенно свободно: он занимал то положение в зрительном зале, которое было нормальным, если оценивать его в свете театральных представлений нового времени. Но в условиях своего времени царь был не только единственным зрителем театра, он был его полновластным владельцем. Он учредил театр, санкционировал расходы на его устройство, предписал театру сюжет пьесы, устанавливал место и время спектаклей, мог награждать или наказывать исполнителей. Этот зритель получил желанную возможность, ни в чем не поступаясь своим достоинством, уже почти "божественным", взирать критическим оком на простиравшуюся перед ним сцену, на которой с равным рвением исполняли свои обязанности и бояре реальные и "бояре" театральны» // Первые пьесы русского театра. М., 1972. С. 71.

[183] Известна точная дата (15 декабря 1676 года, спустя почти год после смерти Алексея Михайловича, скончавшегося 30 января 1676 года), когда царь Федор Алексеевич приказал весь театральный реквизит (музыкальные инструменты, декорации и прочее) вывезти за ненадобностью из палат Аптекарского приказа, где при Алексее Михайловиче шли театральные постановки. См. подробнее: Первые пьесы русского театра. М., 1972. С. 16.

[184] Лихачев, Д. С. Древнерусский смех // Проблемы поэтики и истории литературы: сб. ст. в честь 75-летия М. М. Бахтина. Саранск, 1973. С. 73–90; Панченко, А. М Литература «переходного» века // История русской литературы. Л., 1980. Т. 1: Древнерусская литература. Литература XVIII века. С. 367–368, Ромодановская, Е. К. «Служба кабаку» перед церковным судом XVIII в. // Общественное сознание, книжность, литература эпохи феодализма. Новосибирск, 1990. С. 189–195.

рассматриваемой как образец русской смеховой культуры. Повесть исследована предельно полно в контексте проблемы секуляризации русской культуры и литературы, развития демократической сатиры, присутствия в ней пародийного начала, поэтому нет смысла останавливаться на ней еще раз подробно. Приведем только один интересный исторический факт, на который в свое время обратила внимание Е. К. Ромодановская, исследуя проблему зарождения пародии в древнерусской литературе[185]. «Служба кабаку» настолько приобрела популярность и неоднозначное к ней отношение со стороны духовенства (как низшего, так и высшего) в XVIII столетии, что это привело к принятию необходимых мер: проведению консисторских судов над «Службой кабаку». Как доказательства сохранились следственные дела этих судов, одно из них датировано 1727–1729 годами, другое – 1756 годом. В одной семиотической плоскости со «Службой кабаку» находится и театрализованная маскарадная затея Петра I организации «Всешутейшего собора», в основе которого лежали принципы пародирования и ниспровержения церковных обрядов[186].

Нас интересует в контексте рассматриваемой проблемы другой ее аспект: как литература Нового времени могла осмыслить традицию церковно-обрядовых текстов, причем не отдельных каких-либо фрагментов, звучащих на уровне мотива (к примеру, псалмопевческая традиция в русской поэзии[187]), а именно целый ритуальный канонический текст всей службы, ее определенного чина.

Одним из таких ярких примеров обращения к обрядово-церемониальному тексту и создания на его основе лирического произведения является ода Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779), которая удивительным образом коррелирует с церковным «Чином погребения мирских человек» (XVI

---

[185] Ромодановская, Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Новосибирск, 1994. С. 185–187. В своей книге автор, ссылаясь на известную работу В. П. Адриановой-Перетц «У истоков русской сатиры», также приводит другой пример пародирования церковной службы, имеющей уже отношение к XIX столетию, – использование Н. Ф. Щербиной в своем поэтическом творчестве формы сатирического акафиста. См.: Ромодановская, Е. К. Указ. соч. С. 172.

[186] Б. А. Успенский пишет: «Важно отметить, что в это карнавальное действо включались подлинные элементы сакрального обряда, которые в соответствующем окружении как бы приобретали противоположный смысл» / Успенский Б. А. Historia sub specie semioticae // Успенский Б. А. Избр. тр.: в 3 т. М.: Яз. рус. культуры, 1996. Т. 1. С. 76.

[187] Одна из последних книг, посвященных этой проблеме: Луцевич, Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб.: Дмитрий Буланин., 2002.

век)[188]. Напомним, что сегодня абсолютно решенными проблемами в изучении оды «На смерть князя Мещерского» являются проблема жанра[189] и своеобразие поэтического языка[190]. Единственной лакуной, существующей в изучении державинского стихотворения, пожалуй, остается вопрос присутствия в произведении реминисценций, отсылающих читателя к обрядово-церемониальной христианской книжности.

Традиционно «На смерть князя Мещерского» относят к философской поэзии, где представлено осмысление темы жизни и смерти человека, суетности и тленности земного мира, скоротечности времени. С этим нельзя не согласиться. Приводимые в многочисленных исследованиях выводы звучат более чем убедительно: «Своеобразие философских од состоит в том, что человек рассматривается в них не в общественной, гражданской деятельности, а в глубинных связях с вечными законами природы. Один из самых могущественных среди них, по мысли поэта, – закон уничтожения – смерть»[191]. Почти всегда рассмотрение стихотворения Г. Р. Державина исследователями сводится к характеристике самого образа смерти, созданного на основе использования приемов афористической контрастности: «Едва увидел я сей свет, // Уже зубами смерть скрежещет»; «Монарх и узник – снедь червей»; «Приходит смерть к нему, как тать»; «Где стол был яств, там гроб стоит»; «Сегодня Бог, а завтра прах» и другие стихотворные строки хорошо известны любому читателю. Приводимые антитезы прочно закрепились в памяти и оцениваются как собственно авторские.

Но при этом стоит обратить внимание на тот факт, что контрастность, проявляющая себя в оде через тему, выразительные средства, используемые автором, особые интонации[192], восходит к христианской традиции. Осмысливая и разрабатывая в своем творчестве тему «жизнь – смерть», Г. Р. Державин не мог не обратиться к сочинениям духовно-религиозного содержания. И такими

---

[188] Современный церковный обряд погребения умершего человека утвердился еще в XVI веке и на протяжении уже долгого времени не менялся. Не подвергалась трансформации и композиция чина.
[189] Орлов, П. А. История русской литературы XVIII века. М., 1991. С. 187–188.
[190] Лебедева, О. Б. Указ. соч. С. 284–286; Баевский, В. С. История русской поэзии 1730–1980. М., 1996. С. 39–40.
[191] Орлов, П. А. Указ. соч. С. 187.
[192] Лебедева, О. Б. Указ. соч. С. 285.

источниками могли быть обрядовые церковные произведения, созданные в эпоху Древней Руси, сочинения поэтов-силлабиков XVII века, псалмы. Одним из источников оды, отдаленным от эпохи Г. Р. Державина двумя столетиями, но тематически связанным с сочинением поэта на интертекстуальном уровне, могут быть названы псалмы, входящие в «Чин погребения мирских человек».

При проведении сравнительного анализа державинского стихотворения с текстом «чина» становится очевидным обращение автора к книжным образцам, приведшее к проникновению в оду Державина ряда стихотворных строк из псалмов «Чина…».

В первой стихотворной строке державинской оды с помощью приемов аллитерации изображается бой часов[193], напоминающий о скоротечности жизни и неизбежном приближении смерти: «Глагол времен! Металла звон!». Однако тема времени, так реалистично звучащая в самом начале стихотворения, – это основная тема обряда погребения усопшего человека. Несмотря на свой печальный характер, православная погребальная процессия отличается высокой торжественностью. Торжественность задается ударами колокола, звук которого сопровождает перенесение тела усопшего в храм. Колокол возвещает живым, что у них стало одним братом меньше, и одновременно служит прообразом трубного звука архангела, который раздастся в последний день мира, его Судного дня[194] и будет услышан во всех концах земли.

Дальнейшее развитие лирического сюжета оды Г. Р. Державина позволяет в большем объеме увидеть следование традиции церковного текста. На внелитературном уровне это проявляется в описании русского обычая ставить на стол гроб с телом покойника: «Где стол был яств, там гроб стоит». На интертекстуальном уровне связь эта просматривается через интерпретацию цитат 8 стихир Иоанна Дамаскина, читаемых после заупокойного канона 2-й части обряда погребения. Общая тема, звучащая в каждой стихире, – это скоротечность

---

[193] Сами звуки должны вызвать у читателя (слушателя) впечатление ударов часов. (Баевский, В. С. История русской поэзии 1730–1980. М., 1996. С. 39).

[194] Шунков, А. В. «Страшный суд» как сюжетообразующий мотив литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 77–85.

жизни, беспомощность и бессилие человека противостоять смерти. Однако в каждой стихире мотив утраты и страха перед смертью сопряжен с верой в Христа, который дарует вечную жизнь. Таким образом, прием антитезы, используемый Державиным, воспринят от древней псалмопевческой традиции, закрепленной в «Чине погребения мирских человек»:

> Глас 1. Какая сладость в жизни пребудет не причастною печали? Чья слава устоит на земле непреложной? Все здесь – ничтожнее тени; все обманчивее сна; одно мгновение – и все это похищает смерть; но упокой, Христе, Человеколюбче, во свете Лица Твоего и в наслаждении Твоею красотою сего (усопшего), которого Ты избрал.
>
> Глас 3. Для людей суета все то, что не остается (с ними) по смерти: не остается богатство; слава не идет (с ними во гроб). Ибо как только пришла смерть, все это исчезло. Потому возопием Христу бессмертному: упокой преставившегося от нас там, где всех веселящихся жилище.
>
> Глас 4. Куда девалось пристрастие к миру? Где мечты о временном? Где золото и серебро? Где множество рабов и слава? Все это – персть, все – пепел, все – тень. Придите же возопием бессмертному Царю: Господи! сподоби вечных благ Твоих преставившегося к Тебе от нас и упокой его в нестареющем Твоем блаженстве и т. д.

В стихирах излагается торжественная и трогательная проповедь о скоротечности земной жизни и таинственности смерти, которая делает тщетными все человеческие усилия, если они направлены к достижению богатства и славы. Душа, разлучившись с телом, может уповать только на милость Христа. «Плачу и рыдаю, когда размышляю о смерти и вижу во гробах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразною, бесславною, не имеющею вида. О чудо! Что это за таинство совершилось над нами? Как предадимся тлению? Как сочетались мы со смертью? Подлинно, по повелению Бога написано, – Подающего преставшемуся упокоение» – такими возвышенными словами

заканчивается последняя, восьмая, стихира из тех, что поются после заупокойного канона.

Следование державинской оды псалмопевческой традиции становится еще более очевидным при сопоставлении стихотворных строк произведений:

«На смерть князя Мещерского»	«Чин погребения мирских человек»[195]
Где стол был яств, там гроб стоит; Где пиршеств раздавались лики, Надгробные там воют клики, И бледна смерть на всех глядит.	**Глас 2**. … ***вчера быв с нами, ныне лежит мертв.*** Приидете разумеем, како…. зловонии лежат смердящее, како иже…. златом красяще, без красоты лежат и без лепоты.
Смерть, трепет естества и страх! Мы гордость, с бедностью совместна; Сегодня бог, а завтра прах; Сегодня льстит надежда лестна, А завтра – где ты, человек? Едва часы протечь успели, Хаоса в бездну улетели, И весь, как сон, прошел твой век.	**Глас 3**. все суетие человеческое, елико не пребудет по смерти, не пребывает богатсво и не снидет слава нашедши бо смерти вся сия погубит. Тем же Христу бессмертному возопием: преставльшагося от нас покой, идее же всем есть веселящимся жилище у тебе. Человеци, что всуе мятемся. ***Дым е житие се.***
Не мнит лишь смертный умирать И быть себя он вечным чает; ***Приходит смерть к нему, как тать***, И жизнь внезапну похищает.	**Глас 4**. Где есть мирское пристрастие, где есть маловременных мечтание, где есть злато и сребро, где есть раб множество и плищи. Вся попел, вся персть, вся сень. ***Прииде смерть яко хищник.***
Ничто от роковых когтей, Никая тварь не убегает: ***Монарх и узник – снедь червей…*** …… ***Сегодня бог, а завтра прах.***	**Глас 5**. Помянух пророка вопиюща: аз есмь земля и попел, и ***паки рассмотрих во гробех и видех кости обнажены. И рех: убо кто е царь или нищ, или праведник или грешник.***

Особого комментария требует строка из державинского стихотворения «монарх и узник – снедь червей». Строка, как и многие другие, ставшая афористической. Но державинская есть не что иное, как перифраз стиха псалма,

[195] Текст приводится по источнику, указанному в электронном каталоге библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: № 233 Требник неполный, полууст. четкий XVI века, в четверть, 318 листов Л. 129–148. URL: www.stsl.ru

звучащего в «Чине погребения мирских человек». «Составы и сосуды плоти нашея, яко прах и смрад, снедь червем быша. Преже составы плоти нашея любезны, ныне же гнусный и смердящий, яко сухи кости наша, не имуще дыхания». Как дословная цитата, взятая из «Чина…», впервые в литературе эта строка зафиксирована в «Письмах юродивого», литературном памятнике смеховой культуры XVII века[196], введенном в научный оборот Н. В. Понырко. Стоит сказать, что русская литература XVII века в силу ряда историко-культурных обстоятельств проявила активный интерес к теме «жизнь – смерть», «жизнь как сон». Изображение жизни-смерти человека на основе образной контрастности, как известно, нашло свое воплощение в творчестве поэтов и писателей эпохи барокко: князя Бориса Репнина-Оболенского[197], монарха Алексея Михайловича[198], Кариона Истомина и др.

Человече! Зрев, чие лице красно,
разумей: в смерти будет то ужасно,
Понеже тогда лепотна есть рожа,
егда в здравости гладка на ней кожа.
Аще ли кожа с онаго сдерется,
страха и плача каждый наберется[199].

Таким образом, державинская ода вбирает в себя духовный опыт, накопленный и представленный до него в литературе более ранних периодов. Она продолжает традицию Святого Писания осмысления жизни человека,

---

[196] Лихачев, Д. С., Панченко, А. М., Понырко, Н. В. Смех в древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 205–214.

[197] «Казание о человеческой жизни двоестрочно, велми душеполезно» // Виршевая поэзия (первая половина XVII века) / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. В. К. Былинина, А. А. Илюшина. М.: Совет. Россия, 1989. С. 114–116. См. также: Повесть и сказание о прении живота со смертию и о храбрости его и о смерти его (памятник переводной литературы XV–XVI веков)// Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М.: Художеств. лит., 1969. С. 464–466, 757–758 (прим.) – Сер. «Библиотека всемирной литературы». Подгот. текста и прим. Р. П. Дмитриевой. «Устав» Нила Сорского, где отдельная (7) глава посвящена «памяти смертной и страшному Суду». В ней Нил Сорский говорит, что «невозможно есть алчущему не поминати хлеба; тако же и хотящему спастися не поминати смерти». Для достижения особенного молитвенного состояния старец рекомендовал помнить о том, что человеческая жизнь коротка: «Путь сей краток есть; дым есть – житие сия, пара и перст, пепел; вмале является и вскоре погибает», и иноку необходимо «събирть» «ум в та, яже рекоша святии в писаниих о различных страшных смертех… Полезне же мню и сие, еже въспоминати нам различныя смерти веденныа и слышанныа, яже и в днех наших бывше».

[198] Мы имеем в виду «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» (Статейный список 1652 года) царя Алексея Михайловича. Литературная природа послания царя подробно нами была рассмотрена в книге «Жанр послания в русской литературе XVII века (на примере эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича). Кемерово: КемГУКИ, 2006. С. 45–61.

[199] Истомин Карион. Стихи увещательны от греховного льщения // Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.: Наука, 1973. С. 203.

понимаемую как восхождение к Благодати, обретение покоя, даруемого свыше. И финал оды отражает христианское мировоззрение: последняя интонационная антитеза утверждает торжество жизни над смертью, а не наоборот.

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

(*курсив мой*. – А. Ш.)

Часто можно встретить такую трактовку последней строфы: автор, завершая оду, выражает точку зрения, свойственную эпикурейскому мировосприятию. Смерть неизбежна, но человеку дарована жизнь и, следовательно, необходимо жить, получая наслаждение от жизни[200]. Интерпретация, как нам кажется, несколько упрощает понимание стихотворения поэта. Отметим, что подобный подход был бы применим, например, к произведениям эпохи Ренессанса или барокко. Последние четыре строки финальной строфы в эмоциональном отношении наиболее сильны. В их основе находятся художественные образы (дар небес, покой, душа, благословление, судьба), призванные не заземлять представление человека о жизни, сводимое только к получению благ и удовольствий, а наоборот, с позиции христианина, заставить читателя задуматься о смысле жизни. Именно поэтому автор композиционно выстраивает последнюю строфу, следуя традиции канонических псалмов, исполняемых во время обряда погребения усопшего, где финальные строки провозглашают силу веры в бессмертие души.

Таким образом, проделанный анализ выявил присутствие в тексте Г. Р. Державина «чужого» слова, которое позволило автору обновить литературную традицию изображения темы «жизни – смерти», зыбкости границ между ними. Реминисценция в конкретном рассматриваемом произведении предстает носителем культурной памяти, служит проявлением общей установки

[200] Это мнение, например, О. Б. Лебедевой // Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII века. М.: Высш. шк., 2000. С. 286.

автора на цитацию и сохранение литературных традиций. Смеем высказать суждение, что, как для самого Г. Р. Державина, так и для его читателя. слово оды рождало вполне реальные литературные ассоциации, оно было живым и узнаваемым.

В заключение наших размышлений позволим себе привести наблюдение, высказанное Л. Ф. Луцевич по поводу некоторых од Г. Р. Державина («Бог», «Счастливое семейство» и др.), где она отмечает присутствие особого религиозного страха, свойственного лирическому герою[201]. Наблюдение, которое абсолютно созвучно и с рассматриваемой нами одой: «В Св. Писании страх, понятый как путь спасения через веру, есть главная человеческая добродетель..., “страх Божий” также становится причиной для того, чтобы делать «в жизни всякое добро». (454)

Анализ оды Державина, с которой начинается «новый путь» поэта, позволяет увидеть в ней предтечу действительно иной поэзии. Поэзии, для которой будет свойственно ощущение единения человека с Богом, поэта с Творцом. В этом случае мы вновь можем наблюдать, как традиция церковных церемониальных текстов уже в новой исторической ситуации выполнила изначально характерную для чинов функцию – показать пути достижения человеком гармонии с миром.

* * *

Подводя итог нашим наблюдениям, отметим следующее: «чиновники» как образцы книжно-документального жанра Древней Руси содержали подробные описания «действ» и являли собой пример «переходных текстов», обладавших двойственной природой. С одной стороны, они преследовали сугубо практическую цель – документально зафиксировать официально утвержденный торжественный светский или церковный церемониал, показать его механизм. С

[201] Л. Ф. Луцевич пишет, что «Державин, пожалуй, действительно, один из наиболее последовательных православных поэтов XVIII в.». (Луцевич. С. 443.) С. 448. «Герой оды “Бог” в основе своей унижен и слаб, зависим от Божественного предопределения, но в то же время он бесконечно велик, поскольку верит в свое спасение, бессмертие, предназначение, данные ему от бога, и в этой надежде и вере сохраняет свое высокое человеческое достоинство».

другой – создать книжный текст с закрепленными формулами словесного выражения действий участников определенного церемониала и при этом соблюсти законы при построении его сюжета.

Также необходимо отметить, что многочисленные «чиновники», число которых резко умножилось именно в эпоху правления царя Алексея Михайловича, демонстрируют одну из особенностей мышления, заключавшуюся в стремлении к идеалу единства человека и мира, приданию этому миру «чинности», то есть гармоничных форм существования, соответственно, к преодолению «бесчиния» – хаоса и дисгармонии.

Однако главное, в чем заключается значение «чиновников» как особой жанровой разновидности книжности Древней Руси, – это их особая роль в формировании новой переходной культурно-семиотической парадигмы в России XVII века. «Чиновники» как книжно-документальные тексты демонстрируют начавшийся в истории культуры Руси переход от обряда к зрелищам, театрализованным представлениям. Истоками данного процесса определяются не только западноевропейские барочные влияния, оказавшие свое воздействие на русскую культуру во второй половине XVII века, но и явления, зарождавшиеся и вызревавшиеся в недрах собственно русской культуры.

Многочисленные церемониальные действа, существовавшие в форме «чинов», по своей сути явились абсолютно органичными для эпохи XVII века – века динамичного, породившего совершенно новую модель поведения человека, нацеленного на действие. Обилие церемониальных текстов, появившихся в XVII веке, как раз и свидетельствует о желании не только придать жизни упорядоченные («чинные») торжественные формы, но и привнести в эту жизнь разнообразие, представленное в смене как парадных, так и повседневных зрелищ. Характерным является то, что эти зрелища не всегда могли соответствовать национальной культурной традиции, по этой причине вполне понятна мотивация царя Федора Алексеевича прекратить театральные постановки как явления, не вписывавшиеся в традицию средневекового представления о жизни. Но спустя четверть века, в эпоху Петра I, интерес к зрелищным действам вновь возродится,

однако возрождение театра будет напрямую связано с европейской традицией[202]. Данный факт (вторичное появление культурно-исторического события, но в принципиально новых условиях и времени, или «ретроспективная трансформация»[203]) прекрасно иллюстрируют идеи Ю. М. Лотмана, высказанные им в работе «Культура и взрыв». Под метафорой «взрыва»[204] понимается процесс, при котором границы упорядоченной семиосферы рушатся, и, как следствие, устоявшийся семиотический порядок приобретает динамику. В результате этого «сотрясения» создается иная система обновленных знаков культуры, то, что изначально могло казаться случайным, впоследствии становится закономерным. Именно поэтому эпоха Алексея Михайловича нам видится как период, подготовивший многие явления культуры времени Петра I и последующих периодов русской культуры XVIII века. Театрализация из сферы искусства в XVIII веке перейдет в реальную историческую плоскость – дворцовые перевороты, разыгрывавшиеся как своеобразные спектакли исторических персонажей[205].

В конечном итоге, можно сказать, что новые идеи, звучащие в беллетристике XVII века, с одинаковой силой заявили о себе и в особом роде книжности – «чиновниках», также формировавших новую модель человека своего времени – человека, все больше и больше погружавшегося в пространство нового изящного текста культуры.

---

[202] «В 1702 г. в Москве на Красной площади по повелению царя (Петра I) была построена «комедийная храмина», в которой выступала приглашенная из Германии труппа странствующих актеров, сначала под руководством Иоганна Кунста, а затем – Отто Фюрста. Руководителям театра вменялось в обязанность готовить для театрального дела и русских актеров, набранных из подьячих Посольского приказа» // Первые пьесы. С. 17.

[203] термин Ю. М. Лотмана. См.: Лотман, Ю. М. Культура и взрыв // Лотман, Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб., 2004. С. 25.

[204] «Взрыв» трактуется как вневременное непредсказуемое событие, «отождествление всех противоположностей». Каждый момент взрыва имеет свой набор равновероятных возможностей перехода в следующее состояние, за пределами которого располагаются заведомо невозможные изменения». «Состояние взрыва характеризуется моментом отождествления всех противоположностей. Различное предстает как одно и то же. … Невозможное делается возможным» // Лотман, Ю. М. Указ. соч. С. 108, 135–136.

[205] Лотман, Ю. М. отмечает, что «дворцовые перевороты в России XVIII в., возглавлявшиеся, как правило, женщинами, сопровождались ритуальным переодеванием претендентш на престол в костюм, который был, во-первых, мужским, во-вторых, гвардейским, а в-третьих, именно того полка, который играл ведущую роль в перевороте» // Лотман, Ю. М. Указ.соч. С. 81.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переходная эпоха в развитии русской литературы, представленная многообразием книжных «пограничных» текстов, демонстрирует процессы, которые, начиная со второй половины XVII века, привели русскую литературу к открытию и усвоению новых приемов и механизмов в изображении мира и человека. Исследование показало, что эти новые литературные приемы не всегда можно отнести к разряду заимствованных и усвоенных русской литературой в результате влияния европейской книжной традиции. Анализ привлеченных для исследования письменных памятников, созданных в переходную эпоху развития русской литературы, показал, что процесс слома прежней средневековой традиции происходил в результате процессов, возникших в недрах русской книжной культуры. Одним из таких механизмов в переходный период развития русской литературы стала трансформация прежней литературной системы, сложившейся в средневековый период и в конечном итоге приведшей к появлению в русской литературе «переходного текста» со свойственной ему поэтикой.

В чем заключается художественное своеобразие текста переходной эпохи, каковы его отличительные типологические признаки и какая роль отводится ему в эволюции русской литературы? Эти вопросы были основными на протяжении всего диссертационного исследования, и на них мы старались дать ответы, привлекая как широко известные произведения эпохи, так и впервые вводимые в научный оборот. Данные сочинения, несмотря на принадлежность творчеству разных авторов, разным жанровым формам (эпистолярные сочинения; описания церемониальных торжеств и обрядов; записки дьяков и подьячих приказа Тайных дел, документальные по своей природе, но в отдельных случаях выступающие как самостоятельные и цельные сочинения) и создание при различных обстоятельствах, тем не менее, позволяют объединить их в одну группу – всё это «переходный текст» русской литературы.

Динамика культурных процессов, происходивших во второй половине XVII века, не могла не отразиться и на литературе, не изменить представления автора эпохи о потенциальных возможностях слова и возможностях самого книжного текста в переходный период русской словесности. Ранее уже неоднократно отмечалось, что в переходный период, очерченный границами второй половины XVII – первой третью XVIII века, русская литература шла по пути секуляризации, акцентируя внимание на такие стороны, как занимательность, зрелищность, независимость автора от средневековых методов и приемов при изображении мира и героя, стремясь показать его индивидуальный характер.

Рассмотренные в диссертационном исследовании произведения, принадлежащие переходной эпохе, все эти признаки проявляют. Однако необходимо учесть, что эти новые черты, определяющие поэтику «переходного текста», являются следствием изменения сознания самого автора, начинающего воспринимать, оценивать мир и человека уже с иных позиций. Новизна авторского мировоззрения получает свое воплощение и выражение в слове, которое постепенно теряет религиозную символику, свойственную средневековой эпохе, и «начинает двигаться по направлению к знаку: ослабевает строгая и неразрывная связь между внешней формой слова и его смыслом, отношения между означающим и означаемым приобретают привкус конвенциональности»[1]. Это результат эволюции авторского слова в русской литературе, полученный к середине XVIII века. Но истоком процесса, выявленного историками литературы XVIII столетия, является предшествующий ему переходный период, имеющий национальные культурные корни.

В этой ситуации изменение авторского сознания в переходный период развития русской литературы можно назвать одним из основных результатов,

[1] Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. (1700–1750-е годы): учеб.-метод. комплекс по курсу «История русской литературы XVIII века». СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2013. С. 18.

следствием которого стал слом старой книжной традиции, воплощавшей религиозную средневековую картину мира, и утверждение нового понимания книжного текста как выражения в художественной форме индивидуальной точки зрения автора. На примере произведений, ставших предметом рассмотрения в первой главе диссертации, можно говорить о процессе постепенной беллетризации средневековой книжной традиции. Авторские литературные элементы были выявлены в той разновидности книжного текста, который изначально должен был существовать как неотъемлемая часть богослужебного обряда. На примере «Сказания об успении Богородицы» были отмечены авторские приемы, использованные на рубеже 40–50-х годов XVII века при редактировании канонического книжного образца, впоследствии ставшими типичными для литературного процесса более позднего времени. Времени, когда в него вольется творчество Симеона Полоцкого, протопопа Аввакума, традиционно связанное с литературой эпохи барокко.

Библейский сюжет, как известно, благодаря Симеону Полоцкому станет основой первых драматургических произведений только в начале 70-х годов XVII века, получив сценическое воплощение в первых русских пьесах, представленных царю Алексею Михайловичу. Однако постепенное проникновение элементов драматизации текста и, как следствие, его «оживление» за счет использованных приемов риторики, декламации происходит намного раньше. Как показал анализ «Сказания об успении Богородицы», Алексей Михайлович, редактируя текст, сохранил фабулу библейского события, но при этом устранил пространные фрагменты, тем самым усилив эмоциональное начало в произведении, сосредоточив внимание на самом событии и его героях. В результате новая редакция текста позволяет увидеть, насколько меняется сознание самого автора, находившегося в творческом поиске новой художественной формы, объединяющей эпический, лирический и драматургический компоненты для традиционного библейского сюжета.

Проникновение в книжную традицию Средневековья новых художественных элементов, являющихся следствием эволюции авторского сознания, постепенно приводило к формированию новой культурно-художественной системы во второй половине XVII века. В рамках этой системы постепенно начинает функционировать и новый тип текста, в основе которого лежит средневековая книжная традиция, но, благодаря той задаче, которая ставится автором в процессе написания произведения, она подвергается творческой переработке. В результате это приводит к новым вариантам интерпретации традиционных сюжетов и мотивов, усилению в самом произведении литературного (художественного) начала. Эпистолярные сочинения царя Алексея Михайловича, в основе сюжета которых лежат известные евангельские мотивы, являются ярким подтверждением того, как автор переходной эпохи уже осознанно начинает использовать в своей практике новые художественные приемы.

Тенденции формирования в переходный период русской литературы новой культурно-художественной системы, где одним из основных факторов стало изменение авторского сознания, прослеживаются в анонимных беллетристических повестях рубежа XVII–XVIII веков. Евангельский мотив блудного сына, фактически являющийся одним из сюжетообразующих для русской литературы в ее переходный период, начинает функционировать в различных своих вариантах, что свидетельствует о секуляризации авторского сознания, воспринимающего канонический библейский текст как источник сюжетов для своих произведений. В результате новый текст (как авторский, так и сохраняющий привычную для древнерусской традиции анонимность) уже осмысливается и воспринимается как художественный по своей природе, обладающий образной системой, являющейся личным творением самого автора.

Таким образом, исследованный в первой главе диссертации объем источников свидетельствует о том, что в объективно меняющихся историко-

культурных обстоятельствах и условиях происходил процесс пробуждения личностного сознания автора. Книжник (писатель) начинает по-иному изображать окружающий его мир, человека, ход исторического процесса, который воспринимается сквозь призму ежедневных событий, осмысливаемых теперь не только с позиции религиозного средневекового мировоззрения, но и обыденного, будничного течения жизни.

Это продемонстрировано на примерах произведений, имеющих разножанровую природу: обрядовый текст, предназначенный для церковной службы, эпистолярные сочинения царя Алексея Михайловича, представляющие придворную словесную культуру, беллетристические повести рубежа XVII–XVIII веков, традиционно определяемые как образцы демократической литературы. Привлеченный материал позволяет сделать вывод о том, что общей особенностью всех этих текстов, определяемых как «переходные», является отказ от стилевого канона, характерного для средневековой литературы. Приоритетным здесь становится стремление автора к свободному использованию на практике литературных приемов (как традиционных для книжной культуры средневековья, так и новых), приведших к открытию внутреннего мира человека, осмыслению ценности события одного дня. В итоге привычный с точки зрения своей формы текст становится «мерцающим» новыми смыслами и символами, что в конечном итоге приводит к становлению новой семантико-смысловой семиосферы культуры XVII века в России.

«Пограничность» текста переходной эпохи была показана и с другой стороны: через изображение «новой» личности человека, формирующейся в условиях изменения мировоззренческих систем во второй половине XVII века, когда на смену теоцентрической модели мировосприятия пришла антропоцентрическая, а вслед за ней и эгоцентрическая (А. Н. Ужанков[2]),

[2] Ужанков, А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2008. 528 с; Его же. О специфике развития русской литературы XI – первой трети XVIII века. Стадии и формации. М.: Языки славянской

окончательно утвердившая приоритет частного и индивидуального в русской культуре переходного периода.

Книжные тексты, рассмотренные во второй главе диссертации, акцентируют внимание на изменениях, произошедших в переходный период русской культуры в восприятии категории времени и его изображении в литературе. Впервые привлеченный для филологического исследования памятник документальной книжности второй половины XVII века «Дневальные записки приказа Тайных дел» показал, как зарождалось ощущение исторического процесса, его хода, породившего интерес к событиям каждого дня и их фиксацию.

В «Дневальных записках…» демонстрируется совершенно иное ощущение времени: на смену вселенскому, сакральному пришло земное, историческое, связанное с событием одного дня, для которого выбирается соответствующая жанровая форма, документальная по своей природе. Но именно она впоследствии позволит оформиться в русской литературе такому жанру, как дневник, на страницах которого фиксируется жизнь в ее повседневном течении. Так, документальный по своей природе книжный памятник органично вписывается в общий литературный контекст переходного периода благодаря тем особенностям, которые свидетельствуют о появляющемся интересе (опять-таки в силу секуляризации авторского сознания) к частной жизни человека, его внутреннему миру. Именно по этой причине он может быть сопоставлен с «дружескими» посланиями, принадлежащими царю Алексею Михайловичу и ставшими «живыми» откликами на события, участниками которых был сам царственный адресант и его современники-адресаты.

Эпистолярные сочинения монарха являются примером «переходного текста», поскольку в них предметом изображения становится жизнь сердца героя, находящая свое воплощение в широком диапазоне эмоций и страстей.

культуры, 2009. 264 с. Его же. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2011. 512 с.

Письма царя – творческая лаборатория формирования чувств новой личности и их словесного выражения в тексте. Одновременно на примере эпистолярного наследия Алексея Михайловича становится возможным увидеть перспективы развития дружеского послания. Именно в переходный период русской литературы закладываются основы традиции жанра дружеского послания, расцвет которого произойдет уже в литературе нового времени (XVIII–XIX века). Послания Алексея Михайловича можно назвать «переходными», поскольку их стилистика соединяет в себе как традицию средневекового эпистолярного канона, так и новые авторские приемы, приводящие к индивидуализации обоих участников коммуникации: и автора послания, и его получателей (адресатов), из которых и складывается галерея «героев переходного времени».

Насколько приемы индивидуализации персонажа и субъективный подход в оценке исторического события получили свое распространение в литературной практике переходного периода, свидетельствует сочинение беглого подьячего Посольского приказа Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича». Книжный памятник, созданный автором в конце 60-х годов XVII века, был впервые рассмотрен как образец «переходного текста» в русской литературе. Переходный характер сочинения Котошихина проявляется в том, что в нем (как и в случае с «Дневальными записками приказа Тайных дел», эпистолярными сочинениями царя) можно проследить процесс формирования новой исторической картины мира, нового восприятия времени, исторического события и его изображения в книжном тексте. В итоге акцент переносится с крупных и монументальных исторических событий на моменты частной жизни человека, представленной в будничных и повседневных поступках, что является одной из новых особенностей поэтики произведений переходного времени.

В то же время сочинение Котошихина демонстрирует и абсолютно новый тип книжника (писателя) в русской литературе, ранее отсутствовавшего в

культуре Древней Руси и появившегося в переходную эпоху. Это тип писателя, который начинает работать на заказ, получая денежное вознаграждение. Именно этот тип писателя в будущем, в Петровскую эпоху, станет распространенным и будет активно поддерживаться самой государственной властью – основным заказчиком литературных сочинений. «О России в царствование Алексея Михайловича» – это ангажированное произведение, демонстрирующее в русской литературе новый тип писателя-западника, стремящегося к объективности (документальности), но в то же время не лишенного и субъективного подхода при изображении отдельных исторических эпизодов в своем сочинении.

Выявленные случаи «творческой вольности» автора в интерпретации истории оказываются очень ценными именно с историко-литературной точки зрения, так как показывают если не проявление художественного вымысла, то, по крайней мере, активную позицию автора, не ограничивающего себя в использовании источников в процессе работы над текстом. Именно по этой причине рассматриваемый книжно-документальный текст презентует позицию его создателя, его отношение к выбранному объекту повествования, демонстрирует личное восприятие, понимание и объяснение явлений и процессов, происходивших в русском обществе второй половины XVII века. В итоге сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича» предстает как образец «переходного текста», в котором документальность и литературность органично дополняют друг друга. Позволим себе в данном случае высказать еще одно наблюдение, имеющее непосредственное отношение к интересующей нас проблеме.

Тот подход в осмыслении и описании исторического событийного ряда, который представлен в книжных памятниках переходного времени (к числу которых, безусловно, относится и сочинение Григория Котошихина), в последующие периоды русской литературы получит свое дальнейшее развитие. Напомним еще раз тот принцип работы с документом, который существовал в

средневековой книжной традиции. Книжник, составляя документ, не вправе привносить в него то, что не имеет отношения к реальности или является плодом его личного творчества. Но он может из обилия фактов отбирать те, которые отражают его субъективный взгляд на событие, совпадают с его личными интересами.

В итоге за фактами, вводимыми в документ, становится возможным разглядеть и позицию самого составителя (писателя-документалиста), что и было выявлено на примере сочинения Котошихина. И этот подход, основанный на соединении традиции историографического описания, восходящего к русскому летописанию, с приемами художественного, образного изображения истории, впоследствии будет развиваться в литературной традиции Нового времени. В качестве двух наиболее ярких примеров назовем «Историю государства Российского» (1826) Н. М. Карамзина и историческую беллетристику Ю. Н. Тынянова, в основе которой лежит принцип, в свое время сформулированный самим автором: «Там, где кончается документ, там я начинаю».

Особое место в литературном процессе второй половины XVII века отводилось книжному жанру, содержавшему описания различного рода церемониалов и обрядовых действ – «чиновникам». «Тексты-ритуалы» регламентировали церемониальную практику (венчание на царство, выходы царей и патриархов, придворные праздники) и являли собой развернутые сценарии с описанием состава участников торжества и приличествующей случаю одежды, обязательным обозначением места и роли каждого участника проводимого праздничного действа, с приведением реплик участников ритуала.

Утилитарность, характерная для документа, и художественно-эстетическое начало, проявляющееся в языке, образном ряде «чиновников», заставляют воспринимать и оценивать их как яркие явления книжности, обладающие переходным характером. В проведенном исследовании был показан процесс

«перехода» во второй половине XVII века сакрального обряда в светское и секуляризированное действо, вербализуемое и разыгрываемое в театрально-зрелищных формах. В итоге был сделан вывод, что «чиновники» в переходный период русской культуры закладывают традиции театрализации повседневной жизни русского человека и являются одним из источников, который лежит в основе отечественной драматургии.

Значение «чиновников» в литературном процессе второй половины XVII века как примеров «переходного текста» было определено еще и тем, что они заключали в себе особую идею, столь важную для эпохи. Такой идеей было стремление показать через разыгрываемое действо миропорядок, воплощающий в себе идеал и гармонию. Однако не меньшую роль в практическом моделировании идеального миропорядка, утверждении в земном пространстве гармонии отводилось именно слову, фиксирующему представление составителя «чина» о красоте в книжном тексте, сохраняющее в XVII веке, с одной стороны, христианское понимание порядка, гармонии («чина») и хаоса, греха («бесчиния»), а с другой – постепенно эволюционирующее и придающее церемониальному действу торжественный светский характер.

Также было установлено, что благодаря двойственной природе «чиновников» они стали не только одним из реальных источников драматургических произведений переходной эпохи, но и послужили основой для беллетристических произведений русской литературы.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что системный подход к выделению в литературном процессе второй половины XVII – первой трети XVIII века «переходного текста» – одна из актуальных проблем в литературоведении. В предложенной работе расширено и углублено представление о поэтике комплекса произведений разножанровых, но объединенных общими признаками переходности.

В диссертационном исследовании выделены основные черты поэтики «переходного текста». Во-первых, таким признаком можно назвать синтез в рамках одного произведения документальной и книжной традиций, которые не вступают друг с другом в противоречие, но оцениваются автором с позиции их роли и возможности для выражения идеи в произведении. Во-вторых, в рассматриваемых текстах выявлен отказ от жесткого средневекового стилевого канона и переход к свободному стилю выражения автором своих мыслей, что в перспективе приводит к формированию в литературе художественной речи. В-третьих, для «переходного текста» характерны своя литературная техника, включающая новые риторические приемы, определяющие индивидуальный авторский стиль, субъективность авторской точки зрения, используемые изобразительные средства языка, в своей совокупности выступающие уже как признак литературного текста. В-четвертых, «переходный текст» демонстрирует новый образ автора, мировоззрение которого формируется под влиянием меняющейся идеологии, благодаря которой в русской культуре начинается процесс секуляризации, изменившей представление и о художественном творчестве.

В предшествующие переходному периоду этапы развития древнерусской литературы любой книжный текст осмысливался в своей неразрывной связи с Творцом и оценивался как Боговдохновенный, в котором «степень художественности зависит не от формы и способа изображения (жанра, стиля), но от степени проявления Первообраза в образе»[3]. Со второй половины XVII века начинает меняться представление о литературном творчестве, которое воспринимается уже как выражение воли книжника (писателя), для которого литературная деятельность постепенно становится не служением Духу, а воплощением собственного видения мира и человека в нем. Насколько масштабными были эти изменения в переходный период русской культуры, свидетельствуют не только процессы, связанные с искусством слова, но и

[3] Левшун, Л. В. История восточнославянского книжного слова XI – XVII вв. Минск, 2001. С. 18.

процессы, происходившие в других сферах искусства: живописи, музыки, театра.

Предложенный в диссертационном исследовании концептуальный анализ выбранных произведений, представляющих «переходный текст», позволяет глубже рассмотреть процесс эволюции общественного сознания в России, расширяя представления современного человека об историко-культурных, историко-литературных процессах и явлениях, носивших «пограничный» характер и заложивших основы будущих реформ и преобразований в области культуры России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Грамоты к кн. Гр. Ромодановскому от царя Алексея Михайловича с черновыми отпусками, написанными царем. 1672 г. // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 305.
2. Заметки царя о домашних расходах // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 56.
3. Мысли царя Алексея Михайловича о ратном деле, как защитить государство от врагов и как показать себя и своих подданных готовыми к ратному ополчению // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 85.
4. Наказ Федору Наумову, сыну Елизарову да дьяку Никите Насонову о заводе на Скопине и на Романове пашни. // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 339. 12 л.
5. О соколиной охоте царя Алексея Михайловича и об ее устройстве. (1645–1671) // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 52.
6. Памятные записки руки царя Алексея Михайловича о монастырях и другого разного содержания // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 544.
7. Письма царя Алексея Михайловича к А.И. Матюшкину // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 51.
8. Письма царя Алексея Михайловича своей семье. // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 91.
9. Послание Алексея Михайловича к дворянину А. Л. Ордину-Нащокину (Сношения со Швецией). 1660 г.// РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 91–105.
10. Послание Алексея Михайловича к Воину Ордину-Нащокину // РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 197. Л. 3–4.
11. Послание Воина Ордина-Нащокина царю Алексею Михайловичу. 1661 г. // РГАДА. Ф. 96. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 123–124.
12. Приказ царя Алексея Михайловича сокольникам по делу Бориса Бабина, с поправками царя // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 53.
13. Расследование с собственноручными приписками и решениями царя Алексея Михайловича по делу казначея Никиты // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 77.
14. Сказание об успении пресв. Богородицы, правленное царем Алексеем Михайловичем // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 337.
15. Собственноручная записка царя Алексея Михайловича о расходе на поминовение кн. Михаила (Одоевского) // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 527.
16. Статьи о каких делах говорить борам по разным отраслям управления // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 341.
17. «Урядник сокольничья пути» // БАН. 32.4.28.; I. A. 25. XVIII век.
18. «Урядник сокольничья пути» // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 52/1.

19. Царский дневник: тетрадь в 4-ку собственной государевой руки // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 527. 8 л.

20. Челобитная, заручная именем государя и его государевых полчан о званье бояр на Озерецкого медведя // РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. № 53.

21. Чин на погребение мирских человек // Библиотека Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: № 233 Требник неполный, полууст. четкий XVI века, в четверть, 318 листов Л. 130–151.

22. Чиновный список («чиновник») свадьбы царя Алексея Михайловича с Марьей Илиьничной Милославской // РГАДА. Ф. 135; Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. IV. Рубр. II. № 23. Л. 1–145.

23. Дело о бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марьей Ильиничной Милославской, дочерью стольника Ильи Данил. Милославского. Содержание: проект «чиновника» свадьбы (с правками), записи о приготовлениях к свадьбе, именные росписи бояр, боярынь, окольничих, думных дьяков, московских дворян, стольников, дьяков, жильцов, стряпчих и детей боярских царицына чина, росписи караулов в царском дворце и в воротах Кремля // РГАДА. Ф. 135; Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Отд. IV. Рубр. II. № 22. Л. 1–116.

24. Чиновный список свадьбы царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, дочерью дворянина Кирил. Полуект. Нарышкина // РГАДА. Ф. 135; Государственное древлехранилище хартий и рукописей Отд. IV. Рубр. II. № 28. Л. 1–106.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

25. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедицией Императорской академии наук, доп. и изд. Высочайше учрежденною коммиссиею. – Санкт-Петербург: в Тип. 2 отд-ния Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. – Т. 4. – 502 с.

26. Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. – Санкт-Петербург: в Тип. 2 отд-ния Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1842. – Т. 4. – 604 с.

27. Аделунг, Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений / Ф. Аделунг. – Репринтное издание 1864 г. – Санкт-Петербург: Альфарет, 2008. – 584 с.

28. Белокуров, С. А. Дневальные записки Приказа тайных дел / С. А. Белокуров. – Москва: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1908. – 347 с.

29. Василий Великий. Беседы на Шестоднев/ Святитель Василий Великий // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесари Каппадокийския. – Москва, 1991. –Ч. 1. – С. 25–26.

30. Гваньини, А. Описание Московии / А. Гваньини. – Москва: Греко-Латинский кабинет, 1997. – 176 с.

31. Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией. – Санкт-Петербург: Тип. Эдуарда Праца, 1848. – Т. 3. – 572 с.

32. Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией. – Санкт-Петербург: Тип. Эдуарда Праца, 1851.– Т. 4. – 452 с.

33. Древний Патерик, изложенный по главам. – 3-е изд. – Москва: Правило Веры, 2009. – 494 с.

34. Древняя российская вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, яко то: российския посольства в другия государства, редкия грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей, и многия сочинения древних российских стихотворцев, издаваемая Николаем Новиковым. Членом Вольнаго Российскаго собрания при Имп. Московском университете. – Санкт-Петербург: Тип. Акад. наук, 1773. – Ч. 1. – 475 с.

35. Древняя российская вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, яко то: российския посольства в другия государства, редкия грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей, и многия сочинения древних российских стихотворцев, издаваемая Николаем Новиковым. Членом Вольнаго Российскаго собрания при Имп. Московском университете. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: В типографии Компании типографической, 1788. – Ч. 3. – 476 с.

36. Аввакум, протопоп. Житие Аввакума и другие его сочинения / Аввакум протопоп; сост., вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсон. – Москва: Советская Россия, 1991. – 368 с.

37. Записки отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. – Санкт-Петербург: в тип. И. Огризко, 1861. – Т. 2. – 789 с.

38. Коллинс, С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне / С. Коллинс // Сочинение Самуила Коллинса, который девять лет провел при Дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича // Утверждение династии. – Москва, 1997. – С. 1–42.

39. Котошихин, Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича / Г. К. Котошихин// Русское историческое повествование XVI–XVII веков / сост., предисловие, подготовка древнерусских текстов, перевод и примечания Ю. А. Лабынцева. – Москва: Советская Россия, 1984. – С. 162–315.

40. Котошихин, Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича, а также Чин свадебный / Г. К. Котошихин// Библиотека литературы Древней Руси / РАН; ИРЛИ; под ред.: Д. С. Лихачева,

Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 2000. – Т. 10. – С. 216–239.

41. Котошихин, Г. К. О России, в царствование Алексея Михайловича / Г. К. Котошихин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: издание Археогр. комиссии, 1884. – 216 с.

42. Московия и Европа. Григорий Карпович Котошихин. Патрик Гордон. Ян Стрейс. Царь Алексей Михайлович. – Москва: Фонд Сергея Дубова, 2000. – 619 с.

43. Олеарий, А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / А. Олеарий; введ., пер., примеч. и указ. А. М. Ловягина. – Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1906. – 528 с.

44. Олеарий, А. Описание путешествия в Московию. – Москва: Российские семена, 1996. – 368 с.

45. Охотничий дневник царя Алексея Михайловича, 1657 г. // Забелин И. Опыты изучения русских древностей и истории: исследования, описания, критические статьи. – Москва: Типография Грачева и К, 1872. – Ч. 1. – С. 281–295.

46. Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского // Памятники литературы древней Руси. Конец XVI – начало XVII века: сборник / сост. и общ. ред.: Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. – Москва: Художественная литература, 1987. – С. 58–73.

47. Письма русских государей и других особ царского семейства: изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. Дел: в 5 т. Т. 5. Письма царя Алексея Михайловича. – Москва: тип. Орлова, 1896. – 74 с.

48. Письма царя Алексея Михайловича к П. С. Хомякову (1656–1657) // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. – Москва: В Университетской Типографии, 1862. – Кн. 1. – С. 1–5.

49. Повесть временных лет // Библиотека литературы древней Руси в 20 т./ РАН; ИРЛИ; под ред.: Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 1. – С. 62–315.

50. Повесть о болезни и смерти Василия III // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVIв.: сборник / сост. и общ. ред.: Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева; вступ. ст. Д. С. Лихачева. – Москва: Художественная литература, 1985. – С. 18–47, 569–576.

51. Аллепский, П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Москву в XVII.: извлечение/ Архидиакон Павел Алеппский; пер. с араб. проф. Г. А. Муркоса. – Санкт-Петербург: Издание П. П. Сойкина, 1898. – 167 с.

52. Аллепский, П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом

Алеппским. Выпуск 1. От Алеппо до земли казаков/ Архидиакон Павел Алеппский // Чтения в обществе истории и древностей российских. – 1896. – Книга 4 (179). – С. 3–10.

53. Аллепский, П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. 2. От Днестра до Москвы / Архидиакон Павел Алеппский; пер. с араб. проф. Г. А. Муркоса. – Москва: Унив. тип., 1897. – 202 с.

54. Мейерберг, А. Путешествие в Московию барона Августина Майерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи, послов Августейшего Римского Императора Леопольда к Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное самим бароном Майербергом / Августин Мейерберг. – Москва: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1874. – 216 с.

55. Шереметев, Б. П. Путешествие по Европе боярина Б. П. Шереметева 1697–1699 / Б. П. Шереметев; изд. подгот.: Л. А. Ольшевская, А. А. Решетова, С. Н. Травников. – Москва: Наука, 2013. – 509 с.

56. Рейтенфельс, Я. Сказания светлейшему Герцегу Тосканскому Козьме Третьему о Московии / Я. Рейтенфельс// Утверждение династии. – Москва, 1997. – С. 240–406.

57. Рейтенфельс, Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии / Я. Рейтенфельс; ред. и пер А. И. Станкевича. – Москва: тип. О-ва распространения полез. кн., арендуемая В. И. Вороновым, 1906. – 228 с.

58. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения / Симеон Полоцкий; подгот. текста, статья и коммент. И. П. Еремина. – Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 282 с.

59. Повести и сказания Древней Руси: памятники литературы XI–XVII веков в избранных переводах: изборник / сост. Н. В. Понырко; под ред. Д. С. Лихачева. – Москва; Санкт-Петербург: ДИЛЯ, 2001. – 1148 с.

60. Полоцкий, Симеон. Комидия притчи о блуднем сыне: пьеса / Симеон Полоцкий // Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII века: сборник пьес / АН СССР; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; изд. подгот.: О. А. Державина, А. С. Демин, В. П. Гребенюк, под ред. А. О. Державиной. – Москва: Наука, 1972. – С. 138–160.

61. Чин и поставление на царство Царя и Великого Князя Алексея Михайловича // Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся; изданная Николаем Новиковым, членом ВольнагоРоссийскаго собрания при Имп. Московском университете. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: В типографии Компании типографической, 1788. – Ч. 7. – С. 234–303.

62. Чин поставления на царство царя и великого князя Алексея Михайловича: сообщено наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандритом Леонидом: читано в заседании общества 8-го января 1882 года. – Санкт-Петербург: Типография И. Вощинского, 1882. – 39 с.

63. Чин свадебный / подг. текста, пер. и коммент. В. В. Колесова // Библиотека литературы Древней Руси. – Санкт-Петербург: Наука, 2000. – Т. 10. – С. 216–240.

III. ИССЛЕДОВАНИЯ

64. Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. – 476 с.

65. Аверьянов, К. А. Русская дипломатия и контрразведка в XVII веке / К. А. Аверьянов // Российская дипломатия: история и современность: материалы науч.-практ. конф.,посвящ. 450-летию создания Посольского приказа (29 окт. 1999 г.) / МГИМО. – Москва: РОССПЭН, 2001. – С. 110–120.

66. Адрианова-Перетц, В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси / В. П. Адрианова-Перетц. – Москва; Ленинград: изд-во и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1947. – 188 с.

67. Адрианова-Перетц, В. П. Русская демократическая сатира XVII века / В. П. Адрианова-Перетц. – 2-е изд. – Москва: Наука, 1977. – 256 с.

68. Алехина, Л. И. Образ Горя-Злочастия: к вопросу о мировоззрении автора «Повести о Горе-Злочастии» / Л. И. Алехина // Герменевтика древнерусской литературы. – Москва 1994. – Сб. 7 (2). – С. 313–322.

69. Алпатов, С. В. Европейский юмор в России XVII в. / С. В. Алпатов, С. М. Шамин// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2013. – № 4 (54). – С. 21–33.

70. Андреев, И. Л. «Достоверный охотник» (к вопросу о месте и роли службы в XVII в.) / И. Л. Андреев // Герменевтика древнерусской литературы / РАН; ИМЛИ; О-во исследователей Древней Руси; отв. ред. М. Ю. Люстров. – Москва: Наследие, 2000. – Сб. 10. – С. 460–474.

71. Андреев, И. Л. Алексей Михайлович: штрихи к портрету / И. Л. Андреев // Исторический вестник. Романовы: династия и эпоха. – Москва, 2013. – Т. 3 (150). – С. 48–70.

72. Геннеп, Арнольд ван. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп; пер. с фр.: Ю. В. Ивановой, Л. В. Покровской. – Москва: Вост. лит. РАН, 2002. – 198 с.

73. Антонова, М. В. Чин и личность в древнерусских посланиях XVI века / М. В. Антонова // Человек в славянской культуре: тезисы выступлений межвуз. науч. конф. (3–5 апреля 1992 г.). – Курск: КГПИ, 1992. – С. 34–36.

74. Архангельская, А. В. Древнерусский текст и особенности его интерпретации / А. В. Архангельская // Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методические аспекты. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2012. – С. 11–13.

75. Аскарова, В. Я. Динамика представлений о читателе в «бунташном» XVII веке / В. Я. Аскарова // Тезисы докл. XXII науч.-практ. конф. (по итогам исследовательской работы преподавателей за 1998–1999 гг.) / Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск, 2000. – Ч. 1. – С. 4–6.

76. Бальбуров, Э. А. мотив и канон / Э. А. Бальбуров // Сюжет и мотив в контексте традиции: материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы / под ред. Е. К. Ромодановской. – Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН, 1998. – Вып. 2. – С. 6–21.

77. Барокко в славянских культурах: сборник статей / АН СССР; Ин-т славяноведения и балканистики; под ред. А. В. Липатова. – Москва: Наука, 1982. – 351 с.

78. Бартенев, П. Антикритика. Ответ г. Забелину / П. Бартенев, П. Бессонов // Молва. – 1857. – № 6. – С. 375–378.

79. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – Москва: Искусство, 1986. – 444 с.

80. Бахтина, О. Н. Проблемы поэтики старообрядческой литературы: агиографические тексты: дис. ... д-ра филологических наук: 10.01.01 / Бахтина Ольга Николаевна. – Томск, 2000. – 422 с.

81. Бахтина, О. Н. Старообрядческая литература в контексте христианской традиции понимания слова / О. Н. Бахтина // Герменевтика древнерусской литературы. – Москва, 2004. – Вып. 11. – С. 132–152.

82. Бедина, Н. Н. «Повесть о Горе-Злочастии» XVII в. в свете православной антропологии / Н. Н. Бедина // Литература и философия: сб. науч. статей / Мин-во образования РФ; Рос. гос. гидрометеоролог. ун-т; под ред. В. Д. Денисова. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 15–20.

83. Белокуров, С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии / С. А. Белокуров. – Москва: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1898. – 336 с.

84. Белокуров, С. А. Из духовной жизни московского общества XVII века / С. А. Белокуров. – Москва: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1902. – 306 с.

85. Бельковский, А. П. Второй царь из дома Романовых Алексей Михайлович («Тишайший») / А. П. Бельковский. – Москва: Археол. ин-т им. имп. Николая II, 1913. – 16 с.

86. Берков, П. Н. Задачи изучения переходного периода русской литературы (от древней к новой) / П. Н. Берков // Пути изучения древнерусской литературы и письменности: доклады Совещания (13–14 мая

1968 г.) / ред.: Д. С. Лихачев, Н. Ф. Дробленкова; АН СССР; Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). – Ленинград: Наука, 1970. – С. 12–19.

87. Берков, П. Н. О литературе так называемого переходного периода / П. Н. Берков // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII в.): сборник статей / отв. ред. А. Н. Робинсон. – Москва: Наука, 1971. – С. 19–32.

88. Берман, Б. И. Читатель жития: агиографический канон русского средневековья и традиции его восприятия/ Б. И. Берман // Художественный язык средневековья: сборник статей / АН СССР; Науч. совет по истории мировой культуры; отв. ред. В. А. Карпушин. – Москва: Наука, 1982. – С. 159–183.

89. Берх, В. Н. Царствование Алексея Михайловича / В. Н. Берх. – Санкт-Петербург: издал И. Сленин: печатано в тип. Х. Гинце, 1831. – Ч. 1. – 314 с.

90. Берх, В. Н. Царствование Алексея Михайловича / В. Н. Берх. – Санкт-Петербург: издал И. Сленин: печатано в тип. Х. Гинце, 1831. – Ч. 2. – 270 с.

91. Бицилли, П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – Москва: Мифрил, 1995. – 264 с.

92. Богданов, А. П. Чины венчания российских царей / А. П. Богданов // Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв.: сборник статей / Рос. АН; Науч. совет по истории мировой культуры; Секция по культуре Древ. Руси. – Москва: Наука, 1995. – С. 211–224.

93. Богданов, А. П. Московская публицистика последней четверти XVII в. / А. П. Богданов. – Москва: Институт российской истории РАН, 2001. – 489 с.

94. Богоявленский, С. К. московский театр при царях Алексее и Петре / С. К. Богоявленский. – Москва: О-во истории и древностей рос. При Моск. ун-те, 1914. – 192 с.

95. Буланин, Д. М. Переводы и послания Максима Грека: неизд. тексты / Д. М. Буланин; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1984. – 277 с.

96. Буланин, Д. М. Последнее столетие древнерусской книжности / Д. М. Буланин // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1992. – Вып. 3 (1). – С. 3–13.

97. Буров, А. А. Русская «Повесть о Фроле Скобееве» XVII века в контексте западноевропейского плутовского романа / А. А. Буров // Преемственность в развитии литературы: кпробл. взаимодействия и взаимовлияния литератур: сб. науч. тр. / Министерство образования РФ; Пятигорский гос. пед. ин-т иностранных языков; отв. ред. Н. М. Келейникова. – Пятигорск: Изд-во ПГПИИЯ, 1993. – С. 3–9.

98. Бурсон, А. Е. О времени и обстоятельствах создания первоначальной редакции чина поставления и венчания на царство Ивана IV/

А. Е. Бурсон // Россия в IX–XX веках. Проблемы истории, историографии и источниковедения: сб. статей и тезисов докладов Вторых чтений, посвящ. памяти А. А. Зимина (Москва 26–28 апреля 1995 г.). – Москва: Инф.-издательское агентство «Русский мир», 1999. – С. 93–96.

99. Бухаркин, П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха / П. Е. Бухаркин. – Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. – 498 с.

100. Былинин, В. К. Царь Алексей Михайлович как мастер распева / В. К. Былинин, А. Л. Посощенко// Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1987 / под ред. Д. С. Лихачева. – Москва: Наука, 1988. – С. 131–137.

101. Бычков, В. В. Эстетика в России XVII века / В. В. Бычков. – Москва: Знание, 1989. – 63 с.

102. Бычков, В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века / В. В. Бычков. – Москва: Мысль, 1992. – 638 с.

103. Бычков, В. В. «Урядник сокольничья пути» / В. В. Бычков // Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII вв. / отв. ред. В. В. Бычков; Ин-т философии РАН. – Москва: Ладомир, 1996. – С. 345–352.

104. Бычков, В. В. Эстетическое сознание Древней Руси / В. В. Бычков // Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII вв. / отв. ред. В. В. Бычков; Ин-т философии РАН. – Москва: Ладомир, 1996. – С. 15–46.

105. Вагнер, Г. К. Искусство Древней Руси / Г. К. Вагнер, Т. Ф. Владышевская. – Москва: Искусство, 1993. – 254 с.

106. Вайгачев, С. А. «Обмирщение» русской духовной культуры XVII в.: сущность процесса и его социокультурные истоки (к постановке вопроса) / С. А. Вайгачев // Актуальные проблемы истории русской культуры: сб. науч. трудов / АН СССР; Ин-т истории СССР; отв. ред. А. Н. Копылов. – Москва: Наука, 1991. – С. 41–59.

107. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX вв. Архетипы русской культуры. От средневековья к Новому времени / В. К. Васильев. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 260 с.

108. Васильев, В. К. Сюжет позднего русского средневековья (в сочинениях князя А. Курбского и протопопа Аввакума) / В. К. Васильев // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия. История. Филология. – 2010. – Т. 9. – № 2. – С. 134–140.

109. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – Москва: Высш. школа, 1989. – 404 с.

110. Веселовский, А. Н. Поэтика сюжетов / А. Н. Веселовский // Веселовский А. Н. Избранное: историческая поэтика / науч. ред. И. О. Шайтанов. – Москва: РОССПЭН, 2006. – С. 535–651.

111. «Вечные» сюжеты русской литературы: («блудный сын» и другие) / под ред.: Е. К. Ромодановской, В. И. Тюпы. – Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 1996 – 180 с.

112. Виролайнен, М. Н. Повесть временных лет: реконструкция летописного исторического сюжета через систему канонических представлений / М. Н. Виролайнен // Виролайнен М. Н. Исторические метаморфозы русской словесности. – Санкт-Петербург: Амфора, 2007. – С. 61–98.

113. Волкова, Т. Ф. Развитие повествовательности и художественного вымысла в русской исторической литературе XV–XVII веков.: учебное пособие по спецкурсу / Т. Ф. Волкова. – Сыктывкар: Сыктывк. гос. ун-т, 1989. – 88 с.

114. Воротников, Ю. Л. «Лишний человек» в древнерусской литературе / Ю. Л. Воротников // Мир библиографии. – 2001. – № 3. – С. 26–31.

115. Воротников, Ю. Л. Круг чтения наших предков: «Повесть о Горе и Злочастии» / Ю. Л. Воротников // Вестн. РАН. – 2001. – Т. 71. – № 4. – С. 341–346.

116. Габдуллина, В. И. Мотив возвращения блудного сына в романах И. С. Тургенева / В. И. Габдуллина // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2013. – Вып. 8. – С. 135–150.

117. Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. – Москва: Новое лит. обозрение, 1996. – 351 с.

118. Гене, Б. История и историческая культура средневекового Запада / Б. Гене. – Москва: Языки славянской культуры, 2002. – 494 с.

119. Гиппиус, А. А. «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении названия / А. А. Гиппиус// Из истории русской культуры. – Москва: Языки русской культуры, 2000. – Т. 1. – С. 448–460.

120. Голиков, А. Г. Источниковедение отечественной истории / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 460 с.

121. Голубцов, А. П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона / А. П. Голубцов. – Москва: Синод. тип, 1908. – 312 с.

122. Гребенюк, В. П. Публичные зрелища петровского времени и их связь с театром / Гребенюк В. П. // Новые черты в русской литературе и искусстве: XVII – начало XVIII в.: сборник статей / отв. ред. А. Н. Робинсон. – Москва, Наука, 1976. – С. 133–145.

123. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – Москва: Искусство, 1984. – 350 с.

124. Гуревич, А. Я. Культура и общество средневековой Европы / А. Я. Гуревич. – Москва: Искусство,1989. – 366 с.

125. Гуревич, А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие / А. Я. Гуревич // Из истории культуры средних веков и Возрождения: сборник статей / Науч. совет по истории мировой культуры; отв. ред. В. А. Карпушин. – Москва: Наука, 1976. – С. 276–311.

126. Гуревич, А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства/ А. Я. Гуревич. – Москва: Искусство, 1990. – 396 с.

127. Гурлянд, И. Я. Приказ великого государя Тайных Дел / И. Я. Гурлянд. – Ярославль: Тип. Губернскаго правления, 1902. – 390 с.

128. Гурьянова, Н. С. О приемах построения текста писателями-старообрядцами / Н. С. Гурьянова // Гуманитарные науки в Сибири. – 2004. – – № 3. – С. 23–28.

129. Данилевский, И. Н. Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов / И. Н. Данилевский. – Москва: Аспект-Пресс, 2004. – 382 с.

130. Демин, А. С. О литературном значении древнерусских письмовников / А. С. Демин // Русская литература. – 1964. – № 4. – С. 165–170.

131. Демин, А. С. Русские письмовники XV–XVII вв.: к вопросу о русской эпистолярной культуре: автореф. дис. ... канд. филологических наук / Демин Анатолий Сергеевич. – Ленинград, 1964. – 17 с.

132. Демин, А. С. Появление театра и драматургии в России в XVII в. / А. С. Демин, О. А. Державина, А. Н. Робинсон // Первые пьесы русского театра. – Москва: Наука, 1972. – С. 7–101.

133. Демин, А. С. Театр в художественной жизни России XVII в. / А. С. Демин / Новые чрры в русской литературе и искусстве: XVII начало XVIII в.: сборик статей / отв. ред. А. Н. Робинсон – Москва: Наука, 1976. – С. 28–62.

134. Демин, А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, человеке / А. С. Демин. – Москва: Наука, 1977. – 296 с.

135. Демин, А. С. Писатель и общество в России XVI–XVII веков: обществ. настроения / А. С. Демин; отв. ред. О. А. Державина. – Москва: Наука, 1985. – 352 с.

136. Демин, А. С. Фантомы барокко в русской литературе первой половины XVII века / А. С. Демин // Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII-начала XVIII в. – Москва: Наука, 1989. – С. 27–42.

137. Демин, А. С. О художественности древнерусской литературе / А. С. Демин. – Москва: Языки рус. культуры, 1998. – 847 с.

138. Демин, А. С. О древнерусском литературном творчестве. Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. От Илариона до Ломоносова / А. С. Демин. – Москва: Языки славянской культуры, 2003. – 758 с.

139. Демкова, Н. С. Принципы сюжетной организации текста в повествовательной литературе XVII в. / Н. С. Демкова // Вопросы сюжета и композиции: межвузовский сборник. – Горький: Изд-во Горьковского университета, 1984. – С. 33–41.

140. Демкова, Н. С. Русская проза XVII века в контексте традиции: источники, поэтика, интерпретации: автореф. дис … д-ра филологических наук: 10.01.01 / Демкова Наталья Сергеевна / Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 1997. – 52 с.

141. Демкова, Н. С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники: сб. статей / Н. С. Демкова; Санкт-Петербургский гос. ун-т.– Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. – 219 с.

142. Демкова, Н. С. Сочинения протопопа Аввакума и публицистическая литература раннего старообрядчества: материалы и исследования / Н. С. Демкова. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та 1998. – 329 с.

143. Дмитриева, Р. П. «Повесть о Петре и Февронии». Подготовка текстов и исследование / Р. П. Дмитриева. – Ленинград: Наука, 1979. – 340 с.

144. Дмитриев, Л. А. Текст и его интерпретация в изучении древнерусской литературы / Л. А. Дмитриев // Освобождение от догм: история русской литературы: состояние и пути изучения / РАН; Науч. совет по рус. лит., ИМЛИ; отв. ред. Д. П. Николаев. – Москва: Наследие, 1997. – Т. 1. – С. 98–107.

145. Дмитриевский, А. А. Чин пещного действа: историко-археологический этюд (Посвящается проф. Н. Ф. Красносельцеву) / А. А. Дмитриевский // Византийский Временник. – Санкт-Петербург, 1894. – Т. 1. – С. 553–600.

146. Дорофеева, Л. Г. Образ смиренного человека в древнерусской агиографии XI – первой трети XVII века: автореф. дис. … д-ра филологических наук: 10.01.01 / Дорофеева Людмила Григорьевна. – Москва, 2013. – 37 с.

147. Дунаев, М. М. Православие и русская литература: в 6 ч. / М. М. Дунаев. – Москва: Храм Святой мученицы Татианы при Моск. гос. ун-те, 2002. – Ч. 3. – 762 с.

148. Душечкина, Е. В. Статейный список 1652 г. как литературный памятник / Е. В. Душечкина// Уч. зап. Тартус. ун-та. Вып. 369. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. – Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1975. – С. 3–18.

149. Душечкина, Е. В. Царь Алексей Михайлович как писатель. Постановка проблемы / Е. В. Душечкина // Культурное наследие Древней

Руси. Истоки. Становление. Традиции / отв. ред. В. Г. Базанов. – Москва: Наука, 1976. – С. 184–188

150. Елеонская, А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века / А. С. Елеонская. – Москва: Наука, 1990. – 222 с.

151. Еремин, И. П. Лтература Древней Руси: этюды и характеристики / И. П. Еремин. – Москва; Ленинград: Наука, 1996. – 263 с.

152. Еремин, И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы / И. П. Еремин. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 326 с.

153. Живов, В. М. Царь и Бог: семиотические аспекты сакрализации монарха в России / В. М. Живов, Б. А. Успенский // Языки культуры и проблемы переводимости. – Москва, 1987. – С. 47–153.

154. Журавель, О. Д. Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе / О. Д. Журавель. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. – 234 с.

155. Журавель, О. Д. О барочных тенденциях в старообрядческой книжности первой трети XVIII века / О. Д. Журавель // Гуманитарные науки в Сибири. Серия. Культура народов Сибири. –2008. – № 3. – С. 12–17.

156. Журавель, О. Д. Литературное творчество старообрядцев XVIII – начала XXI в.: темы, проблемы, поэтика / О. Д. Журавель. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 438 с.

157. Журова, Л. И. Авторский текст Максима Грека: рукописная и литературная традиции: в 2 ч. / Л. И. Журова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – Ч. 1. – 490 с.

158. Журова, Л. И. Авторский текст Максима Грека: рукописная и литературная традиции: в 2 ч. / Л. И. Журова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – Ч. 2. – 303 с.

159. Забелин, И. Е. Разрядные книги / И. Е. Забелин // Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории: исследования, описания и критические статьи. – Москва: Типография Грачева и К, 1872. – Ч. 1. – С. 466–514.

160. Забелин, И. Е. Царь Алексей Михайлович / И. Е. Забелин // Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории: исследования, описания и критические статьи. – Москва: Типография Грачева и К, 1872. – Ч. 1. – С. 203–280.

161. Забелин, И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. / И. Е. Забелин. – Москва, 1895. – Т. 1. – Ч. 1. – 759 с.

162. Забелин, И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. / И. Е. Забелин. – Москва: Синодальная Типография, 1915. – Т. 1. – Ч. 2. – 899 с.

163. Забелин, И. Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII ст.: в 3 кн. Кн. первая. Государев двор или дворец / И. Е. Забелин. – Москва: Книга,1990. – 312 с.

164. Зиборов, В. К. Алексей Михайлович / В. К. Зиборов, С. В. Лобачев // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург, 1992. – Ч. 1. – С. 70–72.

165. Зиновьева, Е. И. Описание особых примет человека в кабальных книгах XVI–XVII веков (нос) / Е. И. Зиновьева // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 2. История. Языкознание. Литературоведение. – 1992. – № 9. – С. 90–95.

166. Зотов, А. М. «Новый летописец» как памятник литературы первой трети XVII века: автореф. дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Зотов Александр Михайлович. – Новосибирск, 1999. – 24 с.

167. Зотов, А. М. Притча о блудном сыне и ее роль в организации художественного целого «Повести о Горе-Злочастии» и комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» / А. М. Зотов // Дергачевские чтения–2000. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы Междунар. науч. конф. (10–11 окт. 2000 г.) / УрГУ; УрО РАН; НИИ рус. культ.; Объединенный музей писателей Урала; сост. А. В. Позднев. – Екатеринбург, 2001. – Ч. 1. – С. 89–92.

168. Зюмтор, П. Опыт построения средневековой поэтики / П. Зюмтор. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2003. – 544 с.

169. Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе / отв. ред. Я. С. Лурье; АН СССР; Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). – Ленинград: Наука, 1970. – 592 с.

170. Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания: сборник статей / Рос. АН; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; отв. ред. П. А. Гринцер. – Мосва: Наследин, 1994. – 509 с.

171. Каган, М. С. О переходных периодах в культуре / М. С. Каган // Роль духовной культуры в развитии личности: сборник статей / науч. ред. С. Н. Иконникова. – Ленинград: ЛГИК, 1979. – С. 11–15.

172. Калинович, М. Я. «Повесть об Александре, российском дворянине» и «Повесть о Петре Златых Ключей» / М. Я. Калинович // Филологический сборник. – Киев, 1956, – № 8. – С. 192–194.

173. Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя / В. В. Калугин. – Москва: Языки русской культуры, 1998. – 414 с.

174. Каптерев, Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович / Н. Ф. Каптерев. – Сергиев Посад: тип. Св.-Троиц. Сергиевой лавры, 1909. – Т. 1. – 525 с.

175. Каравашкин, А. В. Философия прекрасного в Древней Руси / А. В. Каравашкин // Человек. – 1995. – № 5. – С. 61–88.

176. Каравашкин, А. В. Харизма царя. Средневековая концепция власти и ее семиотическая интерпретация / А. В. Каравашкин // Одиссей: человек в истории. – Москва, 2000. – С. 257–275.

177. Каравашкин, А. В. Литературный обычай Древней Руси / А. В. Каравашкин. – Москва: РОССПЭН, 2011. – 551 с.

178. Карпюк, Г. В. Из истории развития лексики эпистолярного стиля XVII века / Г. В. Карпюк // Филологический сборник Хабаровского пед. института. – 1959. – Вып. 1. – С. 193–216.

179. Карсавин, Л. П. Символизм мышления и идея миропорядка в средние века (XII–XIII века) [Электронный ресурс] / Л. П. Карсавин // Научный исторический журнал. – 1913. – Т. 1 (2). – № 2. – С. 10–28. – Режим доступа: http://annals.xlegio.ru/evrope/small/symbol.htm

180. Катаев, Н. М. Царь Алексей Михайлович и его время / Н. М. Катаев. – Москва: Д. И. Тимковский, 1901. – 80 с.

181. Кашуба, М. В. Идеи нравственного совершенствования личности и общества в морально-дидактической литературе XVII столетия / М. В. Кашуба // Православие в Древней Руси: сб. науч. трудов / Гос. музей истории религии и атеизма; отв. ред. Л. И. Емелях. – Ленинград: ГМИРИА, 1989. – С. 60–66.

182. Кизеветтер, А. А. День царя Алексея Михайловича / А. А. Кизеветтер. – Москва: тип. О-ва распространения полезных книг, аренд. В. И. Вороновым, 1904. – 20 с.

183. Кирпичников, А. И. Успение Богородицы в легенде и в искусстве А. И. Кирпичников // Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.). – Одесса: Типография А. Шульце, 1888. – Т. 2. – С. 191–235.

184. Киселева, М. С. От древнерусской книжности к барочному энциклопедизму / М. С. Киселева // Гуманитарный вектор. Серия. Педагогика. Психология. – 2008. – № 3. – С. 9–12.

185. Киселева, М. С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености / М. С. Киселева. – Москва: Прогресс-Традиция, 2011. – 472 с.

186. Климова, М. Н. Малоизученный памятник русской беллетристики переходного периода «История о некоей купеческой дочери…» и его жанровое своеобразие / М. Н. Климова // Проблемы литературных жанров: материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня основания Том. гос. ун-та. (8–10 дек. 1998 г.) / ТГУ; отв. ред.: А. С. Янушкевич, Т. Л. Рыбальченко. – Томск: Изд-во ТГУ, 1999. – Ч. 1. – С. 69–73.

187. Кожин, А. Н. Литературный язык Московской Руси / А. Н. Кожин. – Москва: Русский язык, 1984. – 184 с.

188. Кожинов, В. В. Происхождение романа / В. В. Кожинов. – Москва: Советский писатель, 1963. – 439 с.

189. Колесников, С. А. Тексты Московского государства: концепция проклятого героя / С. А. Колесников // Обсерватория культуры. – 2012. – № 2. – С. 122–130.

190. Колесов, В. В. Источники древнерусской культуры и истоки русской ментальности / В. В. Колесов // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2001. – № 1(3). – С. 1–9.

191. Кортава, Т. В. Московский приказный язык XVII века как особый тип письменного языка: автореф. дис. … д-ра филологических наук: 10.02.01 / Кортава Татьяна Владимировна. – Москва, 1999. – 49 с.

192. Кошелева, О. Е. «Лекарство душевное» в русской книжности XVII в. / О. Е. Кошелева // Герменевтика древнерусской литературы / Акад. наук СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; отв. ред. А. С. Демин. – Москва, 1989. – Сб. 2. – С. 90–108.

193. Кошелева, О. Е. Детство и воспитание царя Алексея Михайловича / О. Е. Кошелева // Свободное воспитание: педагогический альманах. – 1993. – Вып. 3. – С. 52–62.

194. Кошелева, О. Е. Побег Воина / О. Е. Кошелева // Казус: индивидуальное и уникальное в истории: альманах. – Москва, 1997. – С. 55–86.

195. Кристенсен, С. О. История России XVII в.: обзор исследований и источников / С. О. Кристенсен. – Москва: Прогресс, 1989. – 256 с.

196. Кротов, М. Г. Послания царя Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа. (Этюд из исторической психологии) / М. Г. Кротов // Герменевтика древнерусской литературы XVI – начала XVIII веков / Акад. наук СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; отв. ред.А. С. Демин. – Москва: Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького, 1989. – С. 140–178.

197. Кузнецов, И. В. Жанровая модель притчи и тип героя в русской литературе XVII–XVIII вв. / И. В. Кузнецова // Молодая филология: сб. науч. трудов / под. ред. В. И. Тюпы. – Новосибирск, 1998. – Вып. 2. – С. 19–32.

198. Кузнецов, И. В. Теоретическая история, диалектика и риторика русской литературы / И. В. Кузнецов // Вопросы литературы. – 2011. – № 3. – С. 181–224.

199. Кузьмина, В. Д. Повести Петровского времени / В. Д. Кузьмина // История русской литературы: в 10 т. – Москва; Ленинград: АН СССР, 1941. – Т. 3 (1). – С. 119.

200. Культура средневековой Москвы: XVII век / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – Москва: Наука, 1999. – 427 с.

201. Культура средних веков и нового времени: сборник статей/ МГУ им. М. В. Ломоносова; Совет молодых ученых МГУ; отв. ред. Л. В. Кошман. – Москва: Изд-во МГУ, 1987. – 104 с.

202. Культура, человек и картина мира: сборник статей / АН СССР; Ин-т философии; отв. ред.: А. И. Арнольдов, В. А. Кругликов. – Москва: Наука, 1987. – 347 с.

203. Кутепов, Н. И. Царская охота на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII век: исторический очерк / Н. И. Кутепов. – Санкт-Петербург,1898. – Т. 2. – 316 с.

204. Лаппо-Данилевский, А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII–XVIII вв. / А. С. Лаппо-Данилевский. – Москва: Наука, 1990. – 290 с.

205. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового запада / Ж. Ле Гофф. – Москва: Прогресс–Академия, 1993. – 373 с.

206. Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII века / О. Б. Лебедева. – Москва: Высш. шк., 2000. – 415 с.

207. Левшун, Л. В. О возможной систематике творческих методов в средневековой восточнославянской книжности / Л. В. Левшун // Христианство и русская литература / РАН; ИРЛИ; отв. ред. В. А. Котельников. – Санкт-Петербург: Наука, 2002. – Сб. 4. – С. 3–23.

208. Лепахин, В. В. Икона и иконичность / В. В. Лепахин. – 2- изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Успенское подворье Оптиной Пустыни, 2002. – 400 с.

209. Лепахин, В. В. Икона и слово: виды, уровни и формы взаимосвязи [Электронный ресурс] / В. В. Лепахин // Дикое поле. – 2005. – № 7. – Режим доступа: http://www.dikoepole.org/numbers_journal.php?id_txt=303

210. Лепахин, В. В. Особенности композиции Повести о Горе-Злочастии / В. В. Лепахин// Studia Slavica Savariensia. – 2007. – 2007– С. 271–286.

211. Липатов, А. В. Славянские литературы и общеевропейский литературный процесс: история, типология, связи / А. В. Липатов // Славянские литературы: доклады советской делегации (XI международный съезд славистов, Братислава, сент. 1993 г.). – Москва: Наука, 1993. – С. 75–88.

212. Лихачев, Д. С. Повести русских послов как памятники литературы / Д. С. Лихачев // Путешествия русских послов XVI–XVII вв.: статейные списки. – Москва; Ленинград: Изд-во Акад. Наук СССР, 1954. – С. 319–346.

213. Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. Лихачев. – Москва; Лениград: Изд-во Акад. Наук СССР, 1958. – 186 с.

214. Лихачев, Д. С. Семнадцатый век в русской литературе / Д. С. Лихачев // XVII век в мировом литературном развитии. – Москва, 1969. – С. 299–328.

215. Лихачев, Д. С. Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана Грозного) / Д. С. Лихачев // Рукописное наследие древней Руси: по материалам Пушкинского Дома: сборник статей. – Ленинград: Наука, 1972. – С. 10–27.

216. Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили / Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1973. – 254 с.

217. Лихачев, Д. С. «Смеховой мир» Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. – Ленинград: Наука, 1976. – 204 с.

218. Лихачев, Д. С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. – Ленинград: Наука, 1984. – 29 с.

219. Лихачев, Д. С. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы / Д. С. Лихачев// Исследования по древнерусской литературе / отв. ред. О В. Творогов. – Лениград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. – С. 79–95.

220. Лихачев, Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси: избр. работы: в 3 т. / Д. С. Лихачев. – Ленинград: Художественная литература, 1987. – Т. 2. – С. 321–342.

221. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев // Лихачев Д. С. Избранные работы: 3 т. – Ленинград: Художественная литература, 1987. – С. 260–654.

222. Лихачев, Д. С. Принцип историзма в изучении литературы / Д. С. Лихачев // Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества // РАН; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург: БЛИЦ, 1996. – С. 109–134.

223. Лобачев, С. В. Патриарх Никон / С. В. Лобачев. – Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2003. – 412 с.

224. Лотман, Ю. М. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Труды по русской и славянской филологии. XXVIII: литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича Егорова / отв. ред. В. И. Беззубов. – Тарту, 1977. – С. 3–36. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; Вып. 414).

225. Лотман, Ю. М. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский// Вопросы литературы. – 1977. – № 3. – С. 154–156.

226. Лотман, Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII века / Ю. М. Лотман // Из истории русской культуры. Т. 4. XVIII – начало XIX века. – Москва: Яз. рус. культуры, 1996. – С. 88–89.

227. Лотман, Ю. М. Текст и система / Ю. М. Лотман// Лотман Ю. М. Об искусстве. – Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 1998. – С. 75–76.

228. Лотман, Ю. М. Исторические закономерности и структура текста / Ю. М. Лотман// Лотман Ю. М. Семиосфера: культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. – Санкт-Петербург: Искусство – СПб, 2004. – С. 339–363.

229. Лотман, Ю. М. Семиосфера: культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. – Санкт-Петербург: Искусство – СПб, 2004. – 703 с.

230. Лотман, Ю. М. О семиотическом механизме культуры / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Лотман Ю. М. Семиосфера: культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. – Санкт-Петербург: Искусство – СПб, 2004. – С. 485–504.

231. Луцевич, Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии / Л. Ф. Луцевич. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2002. – 608 с.

232. Люстров, М. Ю. Два послания московского патриарха Иосифа усопшим святителям / М. Ю. Люстров// Известия Академии Наук. Серия литературы и языка. – 1998. – Т. 57. – № 1. – С. 45–46.

233. Малэк, Э. Разыскания по русской литературе XVII–XVIII вв. Забытые и малоизученные произведения / ЭлизаМалэк. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2008. – 400 с.

234. Маркевич, А. И. Г. К. Котошихин и его сочинение о Московском государстве в половине XVII в. / А. И. Маркевич. – Одесса: Тип. Штаба Округа, 1895. – 181 с.

235. Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Сюжет и мотив в контексте традиции / под ред. Е. К. Ромодановской. – Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 1998. – Вып. 2. – 268 с.

236. Медовиков, П. Е. Историческое значение царствования Алексея Михайловича / П. Е. Медовиков. – Москва: тип. Александра Семена, 1854. – 256 с.

237. Миллер, Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное / Г. Ф. Миллер. – Москва: Наука, 1996. – 447 с.

238. Мита Аюми. Поэтика сюжета «Повести о Петре и Февронии»: автореф. дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Мита Аюми. – Санкт-Петербург, 1997. – 19 с.

239. Михайлов, А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи / Михайлов А. В. // историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Москва: Наследие, 1994. С. 326–391.

240. Моисеева, Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII в. / Г. Н. Моисеева. – Ленинград: Наука,1980. – 261 с.

241. Морозов, А. А. Проблема барокко в русской литературе XVII – начала XVIII века / А. А. Морозов // Русская литература. – 1962. – № 3. – С. 3–39.

242. Морозов, А. А. Проблема европейского барокко / А. А. Морозов // Вопросы литературы. – 1968. – № 12. – С. 111–127.

243. Морозов, П. О. История русского театра до половины XVII столетия / П. О. Морозов. – Санкт-Петербург: Тип. В. Демакова, 1889. – 398 с.

244. Морозова, Л. Е. Две редакции чина венчания на царство Алексея Михайловича / Л. Е. Морозова // Культура славян и Русь / ред. Ю. С. Кукушкин. – Москва: Наука, 1998. – С. 457–471.

245. Морохин, А. В. К истории ранней деятельности ревнителей древнего благочестия / А. В. Морохин // Российская история. – 2010. – № 6. – С. 115–119.

246. Назаревский, А. А. Очерки из области русской исторической повести начала XVII в. / А. А. Назаревский. – Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1958. – 184 с.

247. Назаревский, А. А. О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века / А. А. Назаревский. – Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1961. – 80 с.

248. Никанорова, Е. К. Литературные источники поддельных документов / Е. К. Никанорова, Е. К. Ромодановская // Сибирский филологический журнал. – 2012. – № 2. – С. 8–14.

249. Николаев, Н. И. Открытие «внутреннего» человека в литературе петровской эпохи («Гистория о российском кавалере Александре») / Н. И. Николаев // Проблемы художественного мышления и историко-литературный процесс / Ташкент. гос. ун-т; отв. ред. А. Н. Давшан. - Ташкент: ФАН, 1989. – С. 3–23.

250. Новые черты в русской литературе и искусстве XVII начала XVIII вв.: сборник статей / отв. ред. А. Н. Робинсон. – Москва: Наука, 1976. – 284 с.

251. Одесский, М. П. Театр власти и власть театра: «бояре на сцене» в книге Я. Рейтенфельса «О Московии» / М. П. Одесский // Древняя Русь: вопросы медиевистики. – 2001. – № 4. – С. 1–12.

252. Ольшевская, Л. А. «Шереметев – украшение России…» / Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников // Путешествие по Европе боярина Б. П. Шереметева (1697–1699). – Москва: Наука, 2013. – С. 226–336.

253. Остроумов, Н. И. Свадебные обычаи Древней Руси: историко-этнографический очерк / Н. И. Остроумов. – Тула: Тип. И. Д. Фортунатова насл., 1905. – 68 с.

254. От средневековья к новому времени. Материалы и исследования по русскому искусству XVII первой половины XIX века: сборник статей / АН СССР; ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР; под ред. Т. В. Алексеевой. – Москва: Наука, 1984. – 239 с.

255. Охтень, С. А. Идейно-художественное своеобразие «Повести о Горе-Злочастии» в ее отношении к книжной и фольклорной традициям Древней Руси: автореф. дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Охтень Софья Александровна. – Екатеринбург, 2002. – 19 с.

256. Панич, Т. В. Книга «Щит веры» в историко-литературном контексте конца XVII века / Т. В. Панич. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. – 332 с.

257. Панченко, А. М. Аввакум как новатор / А. М. Панченко // Русская литература: историко-литературный журнал. – 1982. – № 4. – С. 142–152.

258. Панченко, А. М. Начало петровской реформы: идейная подоплека / А. М. Панченко // XVIII век: итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века / АН СССР; ИРЛИ; отв. ред. А. М. Панченко. – Ленинград: Наука, 1989. – Сб. 16. – С. 5–16.

259. Панченко, А. М. Русская стихотворная культура XVII века / А. М. Панченко / отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. – Ленинград: Наука, 1973. – 280 с.

260. Панченко, А. М. Литература «переходного века» / А. М. Панченко // История русской литературы: в 4 т. Т. 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века / ред.: Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко. – Ленинград: Наука, 1980. – С. 291–407.

261. Панченко, А. М. История и теория / А. М. Панченко // Русская литература. – 1981. – № 3. – С. 203–208.

262. Панченко, А. М. Русская культура в канун петровских реформ / А. М. Панченко. – Ленинград: Наука, 1984. – 205 с.

263. Панченко, А. М. Топика и культурная дистанция / А. М. Панченко // Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения: сборник статей / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Москва: Наука, 1986. – С. 236–250.

264. Пиккио, Р. Влияние церковной культуры на литературные приемы Древней Руси / Р. Пиккио // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: литература и язык / отв. ред.: Н. Н. Запольская, В. В. Калугин; ред. М. М. Сокольская. – Москва: Знак, 2003. – С. 122–162.

265. Пиккио, Р. О библейском семантическом обрамлении «Повести о Горе-Злочастии» / Р. Пикио // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: литература и язык / отв. ред.: Н. Н. Запольская, В. В. Калугин; ред. М. М. Сокольская. – Москва: Знак, 2003. – С. 693–703.

266. Платонов, С. Ф. Царь Алексей Михайлович. Опыт характеристики / С. Ф. Платонов // Исторический вестник. – 1886. – Май. – С. 265–275.

267. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов. – Москва: Высш. шк., 1993. – 735 с.

268. Подтергера, И. А. К вопросу о теории эпистолографии в России XVII в. (по материалам библиотеки Симеона Полоцкого) / И. А. Подтергера // От Ивана Грозного до Бориса Пастернака: статьи о русской литературе / сост. Сонг Иль Ким, И. Н. Сухих; науч. ред. И. Н. Сухих. – Санкт-Петербург, 1998. – Вып. 2. – С. 18–32.

269. Подтергера, И. А. Письма и послания Симеона Полоцкого: автореф. дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Подтергера Ирина Александровна. – Санкт-Петербург, 2000. – 22 с.

270. Понырко, Н. В. Эпистолярное наследие Древней Руси XI–XIII века. Исследования. Тесты. Переводы / Н. В. Понырко; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Наука, 1992. – 215 с.

271. Понырко, Н. В. Михаил Федорович / Н. В. Понырко // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVII век / под ред.: Д. М. Буланина, А. А. Турилова. – Санкт-Петербург: Ин-т рус. лит. РАН (Пушкинский Дом), 1993. – Ч. 2. – С. 358–359.

272. Понырко, Н. В. Источниковедение литературы Древней Руси (эпистолярное наследие XI–XIII вв., памятники рождественского и великопостного литургических циклов в народной культуре XVI–XVII вв., старообрядческая письменность XVII–XVIII вв.): автореф. дис. … д-ра филологических наук: 10.01.01 / Понырко Наталья Владимировна; РАН. ИРЛИ. – Санкт-Петербург, 1999. – 42 с.

273. Пушкарев, Л. Н. История в общественном сознании России XVII века / Л. Н. Пушкарев // Вопросы истории. – 1997. – № 9. – С. 36–47.

274. Прокофьев, Н. И. О некоторых гносеологических особенностях литературы русского барокко / Н. И. Прокофьев // Проблемы жанра и стиля в русской литературе. – Москва, 1973. – С. 3–16.

275. Протопопов, В. В. Нотная библиотека царя Федора Алексеевича / В. В. Протопопов // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1976. – Москва, 1977. – С. 119–133.

276. Протопопов, В. В. Четырехголосная хоровая композиция царя Алексея Михайловича / В. В. Протопопов // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1991 / под ред. Д. С. Лихачева. – Москва: Наука, 1997. – С. 107–110.

277. Рамазанова, Н. В. Тропарь и кондак на пренесение честных мощей князю Михаилу Черниговскому, «… творение Ивана, богомудрого Царя, Самодержца Российского» (к проблеме атрибуции») / Н. В. Рамазанова // Литература Древней Руси. Источниковедение: сборник научных трудов. – Ленинград: Наука, 1988. – С. 107–116.

278. Ранчин, А. М. О принципах герменевтического изучения древнерусской словесности / А. М. Ранчин // Древняя Русь: вопросы медиевистики. – 2001. – № 4. – С. 69–81.

279. Ранчин, А. М. Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях / А. М. Ранчин. – Москва: Новое литературное обозрение, 2007. – 575 с.

280. Ранчин, А. М. О топике в древнерусской словесности: к проблеме разграничения топосов и цитат / А. М. Ранчин// Древняя Русь: вопросы медиевистики. – 2012. – № 3. – С. 21–32.

281. Робинсон, А. Н. Задачи литературно-исторической типологии при изучении древнейшей русской литературы (факторы литературной однотипности и разнотипности) / А. Н. Робинсон // Пути изучения древнерусской литературы и письменности: доклады Совещания (13–14 мая 1968 г.) / ред.: Д. С. Лихачев, Н. Ф. Дробленкова. – Ленинград: Наука, 1970. – С. 19–31.

282. Робинсон, А. Н. Историческое место и значение первого русского театра/ А. Н. Робинсон // Первые пьесы русского театра. – Москва: Наука, 1972. – С. 51–55.

283. Робинсон, А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века / А. Н. Робинсон. – Москва: Наука, 1974. – 407 с.

284. Робинсон, А. Н. Первый русский театр как явление европейской культуры / А. Н. Робинсон // Новые черты в русской литературе искусстве XVII–XVIII в.: сборник статей / отв. ред. А. Н. Робинсон. – Москва: Наука, 1976. – С. 8–27.

285. Рогов, А. И. Культурные связи России с Балканскими странами в первой половине XVII в. / А. И. Рогов // Связи России с народами Балканского полуострова (первая половина XVII в.): сборник статей / АН СССР; Ин-т славяноведения и балканистики; отв. ред. Б. Н. Флоря. – Москва: Наука, 1990. – С. 114–137.

286. Рождественский, Н. И. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском быту XVII в. (Челобитная нижегородских священников 1636 года в связи с первоначальной деятельностью Ивана Неронова) // Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских. – Москва, 1902. – Кн. 2. – С. 18–31.

287. Ромодановская, Е. К. «Служба кабаку» перед церковным судом XVIII в. / Е. К. Ромодановская // Общественное сознание, книжность, литература эпохи феодализма. – Новосибирск, 1990. – С. 189–195.

288. Ромодановская, Е. К. Литературное творчество патриарха Никона и старообрядческие писатели / Е. К. Ромодановская // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки: сб. науч. трудов / РАН. Сиб. отд-ние; Ин-т истории; отв. ред. Н. Н. Покровский, Р. Моррис. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 58–64.

289. Ромодановская, Е. К. От цитаты к сюжету. Роль повести-притчи в становлении новой русской литературы / Е. К. Ромодановская // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1994. – С. 66–75.

290. Ромодановская, Е. К. Русская литература на пороге нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода / Е. К. Ромодановская. – Новосибирск: Наука, 1994. – 232 с.

291. Ромодановская, Е. К. К вопросу об эволюции жанра притчи / Е. К. Ромодановская// Ars interpretandi: сб. статей к 75-летию проф. Ю. Н. Чумакова / ред. кол.: Н. Е. Меднис, Т. И. Печерская, Е. К. Ромодановская. – Новосибирск, 1997. – С. 200–207.

292. Ромодановская, Е. К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе / Е. К. Ромодановская // Евангельский текст в русской литературе

XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1998. – Вып. 2. – С. 73–111.

293. Ромодановская, Е. К. Система жанров в русской литературе переходного периода. (XVII – первая половина XVIII в.) / Е. К. Ромодановская // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. – Москва, 1998. – С. 133–144.

294. Ромодановская, Е. К. Эпистолярное наследие тобольских архиереев XVII века / Е. К. Ромодановская // Гуманитарные науки в Сибири. – 1998. – № 4. – С. 13–16.

295. Ромодановская, Е. К. Об изменениях жанровой системы при переходе от древнерусских традиций к литературе нового времени / Е. К. Ромодановская // XVIII век / РАН; ИРЛИ. – Санкт-Петербург, 1999. – Сб. 21. – С. 14–21.

296. Ромодановская, Е. К. Литературные элементы в сибирских челобитных XVII в. / Е. К. Ромодановская // Сибирь. Литература. Критика. Журналистика. Памяти Ю. С. Постнова / отв. ред. Л. П. Якимова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – С. 30–40.

297. Ромодановская, Е. К. О структуре и принципах построения «Словаря-указателя сюжетов и мотивов русской литературы» / Е. К. Ромодановская // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: экспериментальное издание / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние; Ин-т филологии СО РАН; Этнокультур. взаимодействие в Евразии программа фундам. исслед. Президиума РАН; отв. ред. Е. К. Ромодановская. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – Вып. 1 – С. 3–10.

298. Ромодановская, Е. К. Римские деяния на Руси. Вопросы текстологии и русификации: исследование и издание текстов / Е. К. Ромодановская. – Москва: Индрик, 2009. – 968 с.

299. Ромодановская, Е. К. К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях / Е. К. Ромодановская // Литература и документ: сборник научных трудов / Институт филологии СО РАН; отв. ред. Е. К. Ромодановская. – Новосибирск, 2011. – С. 5–15.

300. Ромодановская, Е. К. Литературные предисловия к документам в Древней Руси / Е. К. Ромодановская // Документальные аспекты литературы: сборник научных трудов / Институт филологии СО РАН; отв. ред. Е. К. Ромодановская. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2011. – С. 6–17.

301. Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / отв. ред. С. А. Семячко. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2005. – 784 с.

302. Русская драматургия последней четверти XVII – начала XVIII в. / под ред. О. А. Державиной. – Москва: Наука, 1972. – 368 с.

303. Русская культура в переходный период Средневековья к Новому времени: сб. статей / Рос. АН; Ин-т рос. истории; отв. ред. А. Н. Копылов. Москва: Ин-т рос. истории, 1992. – 171 с.

304. Саенкова, Е. М. Чиновники (типиконы) Успенского собора Московского Кремля как источник по истории русского искусства Позднего Средневековья: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04 / Саенкова Елена Михайловна. – Москва, 2004 – 196 с.

305. Сазонова, Л. И. Поэзия русского барокко: вторая половина XVII – начало XVIII в. / Л. И. Сазонова. – Москва: Наука, 1991. – 263 с.

306. Сазонова, Л. И. Литература средневековой Руси в контексте Slavia Ortodoxa: теоретические и методологические проблемы исследования жанров / Л. И. Сазонова // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд славистов (Краков, 1998 г.): доклады российской делегации. – Москва: Наследие, 1998. – С. 5–21.

307. Сазонова, Л. И. Русская культура XVII века перед выбором пути / Л. И. Сазонова // Человек между Царством и Империей: культурно-исторические реалии, идейные столкновения, рождение перспектив: материалы международной конференции (Москва, 14–15 ноября 2002 г.). – Москва, 2003. – С. 184–200.

308. Сазонова, Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время / Л. И. Сазонова; Рос. Акад. наук; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. – Москва: Языки славянских культур, 2006. – 896 с.

309. Сазонова, Л. И. Свадебное приветствие царю Алексею Михайловичу / Л. И. Сазонова // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте: сборник / отв. ред.: Н. Н. Покровский, И. В. Силантьев. – Новосибирск: Наука, 2008. – С. 231–242.

310. Сазонова, Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени / Л. И. Сазонова. – Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2011. – 472 с.

311. Сазонова, Л. И. Свадебные церемонии первых царей из Дома Романовых / Л. И. Сазонова // Славяноведение. – 2013. – № 2. – С. 51–67.

312. Сазонова, Н. И. У истоков раскола Русской церкви в XVII веке: исправление богослужебных книг при патриархе Никоне (на материалах Требника и Часослова) / Н. И. Сазонова. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 296 с.

313. Севастьянова, С. К. Художественные образы патриарха Никона в переписке с царем Алексеем Михайловичем. Образы патриарха и духовного наставника царя / С. К. Севастьянова // Человек и мир человека: сб. материалов Всерос. науч. конф. – Рубцовск: РИО РИИ, 2005. – Вып. 2 (1). – С. 350–397.

314. Севастьянова, С. К. Библейские источники в переписке патриарха Никона с современниками / С. К. Севастьянова // Человек и мир человека: сб. статей Всерос. науч. конф. – Рубцовск: РИО РИИ, 2006. – Вып. 3 (1). – С. 311–335.

315. Севастьянова, С. К. Эпистолярные сочинения Патриарха Никона в традиции русского барокко / С. К. Севастьянова // Человек в культуре

русского барокко: сб. ст. по матер. междунар. конф. ИФ РАН (Историко-архитектурный музей «Новый Иерусалим», Москва, 28–30 сентября 2006 г.). – Москва: ИФ РАН, 2007. – С. 285–298.

316. Севастьянова, С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: исследование и тексты / С. К. Севастьянова. – Москва: Индрик, 2007. – 776 с.

317. Севастьянова, С. К. Библейская цитата и фрактата в посланиях патриарха Никона царю / С. К. Севастьянова // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте / отв. ред. академик РАН Н. Н. Покровский; Институт филологии СО РАН. – Новосибирск: Наука, 2008. – С. 244–259.

318. Севастьянова, С. К. Патриарх Никон – книжник и идеолог «переходного» времени / С. К. Севастьянова // Человек вчера и сегодня. Междисциплинарные исследования: сборник статей. – Москва: ИФ РАН, 2008. – Вып. 2. – С. 211–220.

319. Севастьянова, С. К. Литературно-публицистическое наследие патриарха Никона в «переходной» культуре России XVII в. / С. К. Севастьянова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия. Филология. – 2009. – № 2 (26). – С. 7–13.

320. Севастьянова, С. К. Мотивы агиографии в челобитных патриарха Никона царю Алексею Михайловичу (к вопросу о взаимовлиянии литературы и документа) / С. К. Севастьянова // Сюжет. Мотив. История: сборник науч. трудов / отв. ред. Е. В. Капинос. – Новосибирск: Наука, 2009. – С. 47–59.

321. Севастьянова, С. К. Русско-польская война и идея власти в России в середине XVII века / С. К. Севастьянова, А. В. Шунков // Homo communicans: человек в пространстве межкультурной коммуникации / под. ред.: К. Янашек, Й. Митурской-Бояновской, А. Шункова, Б. Родзевич. – Щецин, 2012. – С. 252–253.

322. Седакова, О. А. Филологические проблемы славянского средневековья в работах Риккардо Пиккио / О. А. Седакова // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1. – С. 114–125.

323. Седов, П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века / П. В. Седов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2006. − 604 с.

324. Семячко, С. А. Повесть о Тверском Отроче монастыре. Исследование и тексты / С. А. Семячко; отв. ред. Р. П. Дмитриева. – Санкт-Петербург: Наука, 1994. – 135 с.

325. Серегина, Н. С. Отражение исторических событий в стихире о Темир-Аксаке и в других песнопениях Владимирской иконе и проблема авторства Ивана Грозного / Н. С. Серегина // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1985 г. – Москва: Наука, 1987. – С. 148–164.

326. Серегина, Н. С. Стихиры Митрополиту Петру «творения» Ивана Грозного / Н. С. Серегина // Древнерусская певческая культура и книжность: сборник научных трудов / сост. и отв. ред. Н. С. Серегина. – Ленинград: ЛГИТМИК, 1990. – С. 69–80.

327. Серегина, Н. С. Песнопения Русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI–XIX вв. «Стихирарь месячный» / Н. С. Серегина. – Санкт-Петербург: РИИИ, 1994. – 468 с.

328. Силантьев, И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии / И. В. Силантьев. – Новосибирск: ИДМИ, 1999. – 103 с.

329. Силантьев, И. В. Мотив в системе категорий нарратива / И. В. Силантьев // Интерпретация текста: сюжет и мотив: сборник научных трудов / отв. ред. Е. К. Ромодановская. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 13–36.

330. Силантьев, И. В. Поэтика мотива / И. В. Силантьев. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 294 с.

331. Силантьев, И. В. Сюжетологические исследования / И. В. Силантьев. – Москва: Языки славянской культуры. 2009. – 224 с.

332. Симонии, П. К. «Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца по иноческий чин», по единственной сохранившейся рукописи XVIII века / П. К. Симонии // СОРЯС. – 1907. – Т. LXXXIII. – № 1 – С. 1–88.

333. Сиповский, В. В. Русские повести XVII–XVIII вв. / В. В. Сиповский. – Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1905. – 308 с.

334. Сметанин, В. А. Эпистология поздней Византии / В. А. Сметанин // Античная древность в средние века. – Свердловск, 1978. – Сб. 15. – С. 60–82.

335. Смирнов, И. П. Барокко и опыт поэтической культуры начала XX в. / И. П. Смирнов // Славянское барокко: ист.-культ. проблемы эпохи. – Москва, 1979. – С. 335–361.

336. Смирнов, И. П. Котошихин Григорий Карпов / И. П. Смирнов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVII в. / РАН. ИРЛИ; ред. колл.: Д. М. Буланин, А. А. Турилов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1993. – Ч. 2. – С. 186–190.

337. Сморжевских, М. Проблема модальности повествования в послании Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа / М. Сморжевских // Русская филология. – 2000. – № 1. – С. 18–23.

338. Соболевский, А. И. Переводная литература Московской Руси XIV – XVII веков: библиогр. материалы / А. И. Соболевский. – Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1903. – 460 с.

339. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. / С. М. Соловьев. – Москва: Изд-во социал.-эконом. лит., 1961. – Т. 11. – Кн. VI. – Т. 11–12.

340. Сорокин, Ю. А. Алексей Михайлович / Ю. А. Соловьев // Вопросы истории. – 1992. – № 4–5. – С. 73–80.

341. Срезневский, И. И. Старческая песнь о Горе-Злочастии / И. И. Срезневский // Изв. АН по ОРЯС. – 1856. – Т. V. – Вып. 2. – С. 401–412.189

342. Стенникова, П. А. Церковно-театрализованные действа в России XVI–XVII вв.: на примере «Пещного действа» и «Шествия на осляти» в Вербное воскресенье: дис. ... канд. исторических наук: 07.00.02 / Стенникова Полина Александровна. – Челябинск, 2006 – 271 с.

343. Сукина, Л. Б.«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть»:образ смерти в картине мира русского человека XVII в. / Л. Б. Сукина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия. История России. – 2010. – № 1. – С. 5–17.

344. Сурков, Е. А. Притча о блудном сыне и «рассказ» о блудной дочери / Е. А. Сурков // Сурков Е. А. Русская повесть в историко-литературном контексте XVIII – первой трети XIX века. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – С. 220–236.

345. Талина, Г. В. Угрешские походы царя Алексея [Электронный ресурс] / Г. В. Талина // Слово: образовательный портал. – Электрон. дан. – Москва: [Б. и.], 2014. – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/history/35267.php

346. Терентьева, П. В. Музыкальная текстология и реконструкция древнерусского чина «Пещное действо»: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Терентьева Полина Владимировна. – Москва, 2008. – 353 с.

347. Титова, Л. В. Послание дьякона Федора сыну Максиму. Литературный и полемический памятник раннего старообрядчества / Л. В. Титова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – 310 с.

348. Топоров, В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: опыт прочтения / В. Н. Топоров. – Москва: Русский мир, 2006. – 427 с.

349. Трубецкой, Е. Н. Три очерка о русской иконе: умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе / Е. Н. Трубецкой. – Москва: Центр гуманит. информатики «ИнфоАрт», 1991. – 111 с.

350. Тупиков, Н. М. Литературная деятельность царевича Ивана Ивановича / Н. М. Тупиков // Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург, 1894. – Ч. 296. – Декабрь. – С. 358–374.

351. Тюпа, В. И. Новелла и аполог // Русская новелла: проблемы теории и истории / С.-Петербургский гос. ун-т; под ред.: В. М. Марковича, В. Шмида. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1993. – С. 19–31.

352. Тюпа, В. И. Словарь мотивов как научная проблема / В. И. Тюпа, Е. К. Ромодановская // Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской

литературы: от сюжета к мотиву. – Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 1996. – С. 3–15.

353. Ужанков, А. Н. Истоки русской художественной прозы / А. Н. Ужанков // Русская бытовая повесть XV–XVII в. – Москва: Сов. Россия, 1991. С. 5–18.

354. Ужанков, А. Н. Человеческие отношения в русской приключенческой повести XVII – первой половины XVIII в.: об истории жанра / А. Н. Ужанков // Литературное общение и формирование творческих индивидуальностей писателей XVIII–XIX веков: межвузовский сборник науч. трудов. – Москва: Узорочье, 1998. – С. 4–17.

355. Ужанков, А. Н. Восприятие творчества и писательского труда в Древней Руси / А. Н. Ужанков // Балтийский филологический курьер. – 2005. – № 5. – С. 251–281.

356. Ужанков, А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII века. Теория литературных формаций / А. Н. Ужанков. – Москва: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2008. – 528 с.

357. Ужанков, А. Н. О специфике развития русской литературы XI – XVIII первой трети XVIII века: стадии и формации / А. Н. Ужанков. – Москва: Языки славянской культуры, 2009. – 259 с.

358. Ужанков, А. Н. К проблеме исторической поэтики древнерусской литературы / А. Н. Ужанков // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2011. – № 628. – С. 152–175.

359. Ужанков, А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций: монография / А. Н. Ужанков. – Москва: Изд-во Лит. института им. А. М. Горького, 2011. – 510 с.

360. Уланов, В. Я. Власть московских государей в XVII веке / В. Я. Уланов // Три века: Россия от смуты до нашего времени: ист. сб. / под ред. В. В. Каллаша. – Москва: Товарищество И. Д. Сытина, 1912. – Т. 1. – С. 275–284.

361. Уортман, Р. С. Сценарии власти: мифы и церемонии руской монархии. Т.1. От Петра Великого до смерти Николая I / Р. С. Уортман. – Москва: ОГИ, 2002. – 606 с.

362. Успенский, Б. А. История и семиотика / Б. А. Успенский // Успенский Б. А. Семиотика истории. Семиотика культуры: избранные труды в 3 т. – Москва: Языки русской культуры, 1996. – Т. 1. – С. 11–12.

363. Успенский, Б. А. Семиотика истории. Семиотика культуры: избранные труды в 3 т. – Москва: Языки русской культуры, 1996. – Т. 1. – 605 с.

364. Фаизов, С. Ф. «Где Москва, где восток, где запад?»: почему крымский хан Мухаммед IV не согласился с царем Алексеем Михайловичем в вопросе о том, кто может владеть Востоком и Западом [Электронный ресурс] / С. Ф. Фаизов// Медина: издательский дом. – Электрон. дан. –

Москва: [Б. и.], 2014. – Режим доступа: http://www.idmedina.ru/books/materials/faizhanov/3/hist_faizov-2.htm

365. Федотов, Г. П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам / Г. П. Федотов. – Москва: Прогресс, 1991. – 185 с.

366. Флоря, Б. Н. Путешествия Воина Нащокина (в приложении Письмо Воина Нащокина отцу) // Средние века. 2010. № 1–2. С. 313–320.

367. Флоря, Б. Н. Московский договор между Россией и Речью Посполитой и внешне политические планы А. Л. Ордина-Нащокина // Славяноведение. 2010. №2. С. 31–37.

368. Флоря, Б Н. Русское государство и его западные соседи (1655–1661) / Б. Н. Флоря. – Москва: Индрик, 2010.

369. Формозов, А. Литературная судьба книги «Урядник сокольничья пути» / А. Формозов // Московский журнал. – 1991. – .№ 8. – С. 27–29.

370. Фрейденберг, О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг. Москва: Лабиринт, 1997. – 488 с.

371. Хейзинга, Й. Осень средневековья. Исслед. форм жизн. уклада и форм мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга; пер. Д. В. Сильвестрова; отв. ред. С. С. Аверинцев. – Москва: Наука, 1988. – 539 с.

372. Переходные процессы в русской художественной культуре: новое и новейшее время / отв. ред. Н. А. Хренов. – Москва: Наука, 2003. – 494 с.

373. Хромов, О. Р. Подмосковные вотчины Алексея Михайловича. Предварительные тезисы к восприятию стиля царских усадеб / О. Р. Хромов // Герменевтика древнерусской литературы. – Москва, 1992. – Сб. 4. – С. 286–301.

374. Человек в культуре русского барокко: сборник статей / Российская акад. наук; Ин-т философии; отв. ред. М. С. Киселева. – Москва: Ин-т философии РАН, 2007. – 613 с.

375. Черная, Л. А. Русские книжные предисловия конца XVII – начала XVIII в. (защита «мирских» книг и «гражданских» наук) / Л. А. Черная // Тематика и стилистика предисловий и послесловий / под ред. А. С. Демина. – Москва: Наука, 1981. – С. 254–271.

376. Черная, Л. А. Русская мысль второй половины XVII начала XVIII в. о природе человека / Л. А. Черная // Человек и культура: индивидуальность в истории культуры. – Москва: Наука, 1990. – С. 192–203.

377. Черная, Л. А. От идеи «Угождения Богу» к идее «Постижения Бога» через мир: антропоцентризм русской культуры второй половины XVII – нач. XVIII в. / Л. А. Черная // Филевские чтения: материалы Третьей науч. конф. по проблемам рус. культуры второй пол. XVII – нач. XVIII в. (8–11 июля 1993 г.) / отв. ред. О. Р. Хромов. – Москва, 1994. – Вып. 6. – С. 49–59.

378. Черная, Л. А. Философско-антропологический подход к изучению славянских культур / Л. А. Черная // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд

славистов (Краков, 1998 г.): доклады российской делегации. – Москва: Наследие, 1998. – С. 287–304.

379. Черная, Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени / Л. А. Черная – Москва: Языки русской культуры, 1999. – 288 с.

380. Черная, Л. А. Восприятие пространства и времени в русской культуре XVII в. / Л. А. Черная // Герменевтика древнерусской литературы / РАН; ИМЛИ; О-во исследователей Древней Руси; отв. ред. М. Ю. Люстров. – Москва: Наследие, - 2000. – Сб. 10. – С. 517–528.

381. Черная, Л. А. Книга в русской культуре «переходного периода» от Средневековья к Новому времени / Л. А. Черная // Книга в пространстве культуры: сборник статей / РАН; Ин-т славяноведения; Отд. истории культуры. – Москва, 2000. – С. 31–39.

382. Черная, Л. А. От «человека Души» к «человеку Разума» / Л. А. Черная // Человек между Царством и Империей: материалы международной конференции «Человек между Царством и Империей: культурно-исторические реалии, идейные столкновения, рождение перспектив» (Москва, 14–15 ноября 2002 г.) / отв. ред. М. С. Киселева. – Москва: Институт человека РАН, 2003. – С. 127–142.

383. Черная, Л. А. История культуры Древней Руси / Л. А. Черная. – Москва: Логос, 2007. – 288 с.

384. Черная, Л. А. Антропологический код древнерусской культуры / Л. А. Черная. – Москва: Языки славянских культур, 2008. – 464 с.

385. Чернов, А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века / Л. А. Черная // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 1994. – Вып. 3. – С. 151–159.

386. Чернявская, Ю. О. Сюжетно-жанровые особенности русской бытовой повести и городская культура XVII в.: дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Чернявская Юлия Олеговна. – Томск, 2002. – 191 с.

387. Шайкин, А. А. Историческая концепция и композиция «Повести временных лет» / А. А. Шайкин // Шайкин А. А. Поэтика и история. На материале памятников русской литературы XI–XVI веков: учебное пособие. – Москва: Флинта; Наука, 2005. – С. 144–146.

388. Шайкин, А. А. Функции времени в «Повести временных лет» / А. А. Шайкин // Шайкин А. А. Поэтика и история. На материале памятников русской литературы XI–XVI веков: учебное пособие. – Москва: Флинта; Наука, 2005. – С. 134–135.

389. Шатин, Ю. В. Архетипические мотивы и их трансформация в новой русской литературе / Ю. В. Шатин // «Вечные» сюжеты русской литературы: «блудный сын» и другие: сборник науч. статей / под ред.: Е. К. Ромодановской, В. И. Тюпы. – Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 1996. – С. 29–41.

390. Шунков, А. В. «Повесть о Горе-Злочастии» и традиция средневековой литературы / А. В. Шунков // Проблемы литературных жанров. Материалы VIII научной межвузовской конференции (17–19 октября 1995 г.). – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1996. – Ч. I. – С. 13–15.

391. Шунков, А. В. «Урядник сокольничья пути» как памятник русской художественной культуры середины XVII века / А. В. Шунков. – Кемерово: АРФ, 2007 – 70 с.

392. Щербакова, Л. В. Повседневная культура жителей Московского государства второй половины XV – конца XVII веков глазами современников-европейцев: дис ... канд. культурологии: 24.00.01 / Щербакова Лилия Валерьевна. – Саратов, 2011. – 188 с.

ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ТОДРЛ)

393. Адрианова-Перетц, В. П. О связи между древним и новым периодами в истории славянских лтератур / В. П. Адрианова-Перетц // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); ред.: Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1963. – Т. 19. – С. 427–447.

394. Адрианова-Перетц, В. П. Человек в учительной литературе Древней Руси / В. П. Адрианова-Перетц // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. А. М. Панченко. – Ленинград: Наука, 1972. – Т. 27. – С. 3–69.

395. Адрианова-Перетц, В. П. К вопросу о круге чтения древнерусского писателя Адрианова-Перетц // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1974. – Т. 28. – С. 3–30.

396. Бакланова, Н. А. К вопросу о датировке «Повести о Фроле Скобееве» // Н. А. Бакланова / Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1957. – Т. 13. – С. 511–519.

397. Буланин, Д. М. О некоторых принципах работы древнерусских писателей / Д. М. Буланин// Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1983. – Т. 37. – С. 3–13.

398. Демин, А. С. Вопросы изучения русских письмовников XV–XVII вв. Из истории взаимодействия литературы и документальной письменности / А. С. Демин // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук

СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Москва; Ленинград: Наука, 1964. – Т. 20. – С. 90–99.

399. Демин, А. С. Русские пьесы 1670-х годов и придворная культура / А. С. Демин // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. А. М. Панченко. – Ленинград: Наука, 1972. – Т. 27. – С. 273–284.

400. Демин, А. С. Представление о переменчивости жизни в русской литературе XVII в. / А. С. Демин // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1976. – Т. 30. – С. 149–164.

401. Вигзелл, Ф. Блудные сыновья или блуждающие души: «Повесть о Горе-Злочастии» и «Очарованный странник» Лескова / Ф. Вигзелл // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); редкол.: А. А. Алексеев, О. А. Белоброва, Д. М. Буланин, Н. В. Понырко, М. А. Салмина. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. – Т. 50. – С. 754–762.

402. Державина, О. А. К проблеме поэтического стиля исторической повести начала XVII в. / О. А. Державина // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. В. И. Малышев. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1958. – Т. 14.– С. 298–304.

403. Державина, О. А. Перспективы изучения переводной новеллы XVII в. / О. А. Державина // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Я. С. Лурье. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – Т. 18. – С. 176–188.

404. Еремин, И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого / И. П. Еремин // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт литературы (Пушкинский Дом); ред.: В. П. Адрианова-Перетц, И. П. Еремин. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1948. – Т. 6. – С. 125–154.

405. Кузьмина, В. Д. Проблемы изучения переводной литературы древней Руси / В. Д. Кузьмина // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Я. С. Лурье. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – Т. 18. – С. 3–21.

406. Калугин, В. В. Теории текста в русской литературе XVI в. / В. В. Калугин // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); редкол.: А. А. Алексеев, О. А. Белоброва, Д. М. Буланин, Н. В. Понырко, М. А. Салмина. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. – Т. 50. – С. 611–616.

407. Ковтун, Л. С. Новый труд о древних теориях искусства слова на Руси / Л. С. Ковтун, В. В. Колесов // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1983. – Т. 37. – С. 391–400.

408. Лесур, Ф. Труды Д. С. Лихачева во французском восприятии / Ф. Лесур // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); редкол.: А. А. Алексеев, О. А. Белоброва, Д. М. Буланин, Н. В. Понырко, М. А. Салмина. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. – Т. 50. – С. 32–39.

409. Лихачев, Д. С. Проблема характера в исторических произведениях начала XVII века / Д. С. Лихачев // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); ред. В. П. Адрианова-Перетц. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1951. – Т. 8. – С. 218–234.

410. Малэк, Элиза. «Повесть чудна есть, како жена избави мужа своего от смерти» – малоизвестный памятник переходной поры / Элиза Малэк // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1993. – Т. 48. – С. 339–343.

411. Малэк, Элиза. Вновь обнаруженный список юмористических курантов (К истории смеховой литературы Древней Руси) / Элиза Малэк // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Л. В. Соколова.– Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2004. – Т. 55. – С. 427–430.

412. Матхаузерова, С. Функция времени в древнерусских жанрах / С. Матхаузерова // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. А. М. Панченко. – Ленинград: Наука, 1972. – Т. 27. – С. 227–235.

413. Матхаузерова, С. Две теории текста в русской литературе XVII века / С. Матхаузерова // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1976. – Т. 31. – С. 271–284.

414. Матхаузерова, С. Барочный славизм / Матхаузерова С. // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); редкол.: А. А. Алексеев, О. А. Белоброва, Д. М. Буланин, Н. В. Понырко, М. А. Салмина. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. – Т. 50. – С. 149–155.

415. Моисеева, Г. Н. Гистория о российском матросе Василии Кириацком. (К вопросу о составе и происхождении повести) / Г. Н. Моисеева // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР;

Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1954. – Т. 10. – С. 358–389.

416. Назаревский, А. А. К изучению «Повести о Горе-Злочастии» / А. А. Назаревский // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1969. – Т. 24. – С. 199–204.

417. Панченко, А. М. О русском литературном быте рубежа XVII–XVIII вв. / А. М. Панченко // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1969. – Т. 24. – С. 267–272.

418. Панченко, А. М. Два этапа русского барокко / А. М. Панченко // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1977. – Т. 32. – С. 100–107.

419. Панченко, А. М. История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко / А. М. Панченко // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1979. – Т. 34. – С. 189–200.

420. Панченко, А. М. Повесть о Горе-Злочастии / А. М. Панченко // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1988. – Т. 41. – С. 56–59.

421. Понырко, Н. В. Русские святки XVII в. / Н. В. Понырко // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1977. – Т. 32. – С. 84–99.

422. Ромодановская, Е. К. Западные сборники и оригинальная русская повесть (К вопросу о русификации заимствованных сюжетов в литературе XVII -начала XVIII в.) / Е. К. Ромодановская // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград: Наука, 1977. – Т. 33 – С. 164–174.

423. Севастьянова, С. К. Письма патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря. 1668–1670 гг. / С. К. Севастьянова // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. О. В. Творогов.– Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2004. – Т. 56. – С. 582–596.

424. Сперанский, М. Н. Эволюция русской повести в XVII веке // Труды Отдела древнерусской литературы / М. Н. Сперанский / Академия наук СССР; Институт русской литературы; ред. А. С. Орлов. – Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1934. – Т. 1. – С. 137–171.

425. Творогов, О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси / О. В. Творогов // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Москва; Ленинград: Наука, 1964. – Т. 20. – С. 29–40.

426. Федорова, И. В. Переводные памятники паломнической литературы Московской Руси XVI–XVII вв. / И. В. Федорова // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР; Институт литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Н. В. Понырко – Санкт-Петербург: Наука, 2008. – Т. 59. – С. 293–305.

427. Черная, Л. А. О понятии «чин» в русской культуре XVII века / Л. А. Черная // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук; Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1993. – Т. 47. – С. 343–356.

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

428. Библиография советских русских работ по литературе XI–XVII вв. 1917–1957 гг. / сост. Н. Ф. Дробленкова; ред. В. П. Адриановой-Перетц. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. – 434 с.

429. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1958–1967 гг.: в 2 ч. Ч. 1. 1958–1962 гг. / сост. Н. Ф. Дробленкова; ред.: В. П. Адрианова-Перетц, Л. А. Дмитриев. – Ленинград: Наука, 1978. – 204 с.

430. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1958–1967 гг.: в 2 ч. Ч. 2. 1963–1967 гг. / сост. Н. Ф. Дробленкова; ред.: В. П. Адрианова-Перетц, Л. А. Дмитриев. – Ленинград: Наука, 1979. – 276 с.

431. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1968–1972 гг. / сост. Н. Ф. Дробленкова; ред. Д. М. Буланин. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. – 270 с.

432. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1973–1987 гг.: в 3 ч. Ч. 1. 1973–1977 гг. / сост.: А. Г. Бобров, М. Д. Каган, Н. И. Милютенко, М. А. Салмина, О. В. Творогов; ред.: Т. Г. Иванова, О. В. Творогов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1995. – 173 с.

433. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР. 1973–1987 гг.: в 3 ч. Ч. 2. 1978–1982 гг. / сост.: А. Г. Бобров, М. Д. Каган, Н. И. Милютенко, М. А. Салмина, О. В. Творогов; ред.: Т. Г. Иванова, О. В. Творогов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. – 192 с.

434. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР (России). 1988–1992 гг. / сост.: О. А. Белоброва, С. Э. Коледа, М. А. Салмина, С. А. Семячко, О. В. Творогов, М. А. Федорова; ред.: Т. Г. Иванова, С. А. Семячко, О. В. Творогов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1998. – 336 с.

435. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в России. 1993–1997 гг. / сост.: М. А. Салмина, О. В. Творогов, О. Л. Новикова, В. А. Ромодановская, ред.: С. А. Семячко, О. В. Творогов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2005. – 323 с.

436. Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в России в 1998–2002 гг. / сост.: В. А. Ромодановская, М. А. Салмина, О. В. Творогов; ред. Т. Г. Иванова, В. А. Ромодановская. – Москва: Индрик, 2008. – 672 с.

437. Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник / под ред. В. В. Кускова. – Москва: Высш. шк, 1994. – 334 с.

438. Литература Древней Руси: биобиблиографический словарь / сост. Л. В. Соколова; под. ред. О. В. Творогова. – Москва: Просвещение, 1996. – 238 с.

439. Центральный государственный арив древних актов СССР: путеводитель: в 4 т. / сост.: Е. Ф. Желоховцева, М. В. Бабич, Ю. М. Эскин. – Москва, 1991. – Т. 1. – 528 с.

440. Словарь древнерусского языка (XI–XIVвв.): в 10 т. / АН СССР; Институт русского языка; гл. ред. Р. И. Аванесов – Москва: Русский язык, 1991. – Т. IV. – 559 с.

441. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVII в. / Акад. наук СССР; Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1992. – Ч. 1. – 410 с.

442. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVI в. / Акад. наук СССР; Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1993. – Ч. 2. – 439 с.

443. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVII в. / Акад. наук СССР; Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1998. – Ч. 3. – 518 с.

444. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVII в. / Акад. наук СССР; Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2004. – Ч. 4. – 888 с.

445. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: экспериментальное издание / отв. ред. Е. К. Ромодановская. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – Вып. 1.–241 с.

446. Христианство: энциклопедический словарь: 3 т. / гл. ред. С. С. Аверинцев. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 1993–1995.

447. Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. / П. Я. Черных. – Москва: Рус. яз., 1999. – Т. 1. – 621 с.

ИНОСТРАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

448. Атанасов, П. Българо-руски литературни връзки през XVII и XVIII в. / П. Атанасов. – София: Наука и изкуство, 1986. – 166 с.

449. Боева, Л. Развитие жанров в русской и болгарской литературах XVII и XVIII вв. / Л. Боева; Болгарская АН; Ин-т лит. – София: Изд-во Болгарской Академии наук, 1983. – 173 с.

450. Боева, Л. Древнерусские повести (жанры XVII века) / Л. Боева. – София: Университетское изд-во им. «Св. Климента Охридского», 1992. – 217 с.

451. Bulanin, D. M. Wichtige Forshungergebnisse zur Geschichte und Kultur Altrußlands in den letzten drei Jahrzehntenim Spiegel eiener Neverscheinung / D. M. Bulanin // Zeitschrift fűr Slawistik. – 1993. – Bd. 38. – Hf. 2. – S. 255–267.

452. Бродский, А. И. Уроки логики для России. К вопросу о латинско-польском влиянии на русскую культуру / А. И. Бродский // Dusza polska i rosyiska. Spojzenie wspolczesne. – Lodz, 2003. – S. 71–80.

453. Демкова, Н. С. Проблемы нового отношения к литературному тексту в русских памятниках XVII века / Н. С. Демкова // Studia Russica Thorunensia. – Thòrun, 1994. –S. 5–6.

454. Державина, О. А. Основные задачи сравнительно-исторического изучения славянских литератур // Slavia. Casopis pro slovanskoi filologii. Rocn. XXVIII. – Praha. 1959. – Ses. 1. – S. 55–57.

455. Greenblatt, S. Renaissance self-fashioning. - Univ. of Chicago press, 1983.

456. Greenblatt, S. Hamlet in purgatory. - Princeton univ. press,2001.

457. Gallagher, C. The industrial reformation of English fiction: Social Discourse and Narrative Form, 1832-1867. - Chicago, 1985.

458. Kowalska, H. Категория времени в русской литературе XVII в. / H. Kowalska // Slavia Orientalis. – 1992. – Roc. 41. – № 4. – S. 23–26.

459. Małek, E. Narracije staropolskie w Rosji XVII–XVIII ww. / E. Małek. – Łódź: Wydaw. łódzkie, 1988. – 293 c.

460. Małek, E. Русская нарративная литература XVII–XVIIIвв.: опыт указателя сюжетов / E. Małek. – Łódź: Wydaw. Uniw. łódzkiego, 1996. – 179 c.

461. Małek, E. «Неполезное чтение» в России XVII–XVIII веков / E. Małek; Uniwersytet Łódzki. – Warszawa; Łódz: Wydawnictwo naukowe PWN, 1992. –122 c.

462. Małek, E. Mały słownik terminologiczny literaturu, folkloru i kultury staroruskieij / E. Małek, J. Wawrzyńczyk. – Łódź, 1995. – 104 s.

463. Малэк, Элиза. Указатель сюжетов русской нарративной литературы XVII–XVIII вв. / Элиза Малэк. – Łódź: Wydaw. univ. łodzkiego, 2000. – Т. 1. – 430 с.

464. Малэк, Элиза. Место и роль светской повествовательной прозы в литературной культуре Руси XVII– первой трети XVIII в. / Элиза Малэк // Acta Universitatis Lodziensis. FoliaLitteraria 32: KulturaliterackadawnejRusi. – Łódź 1992. – S. 101–113.

465. Рогов, А. И. Русско-греческие культурные связи во 2-й пол. XV–XVII вв. / А. И. Рогов // The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow: Proceedings of the international Congress on the Millennium of the conversion of Rus` to Christianity (Thessaloniki, 26–28 November 1988) / Edited by Anthony-Emil N. Tachiaos. – Thessaloniki, 1992. – S. 427–433.

466. Серман, И. З. Царев кабак и его отображение в русском литературном творчестве XVII столетия / И. З. Серман // Filologia e literaturaneipaesislavi: Studi in onore di SanteGraciotti / A cura di G.B.Bercoff, M.Capaldo, J.J.Capaldo, E.Sgambati. – Roma, 1990. – P. 455–466.

467. Смирнов, И. П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории / И. П. Смирнов. – Wien, 1991. – 196с.

468. Станчев, К. Жанр, стиль и модус в средневековой литературе православных славян: методологические и терминологические проблемы / К. Станчев // Contributi Italiani al XII Congresso Internazionale degli Slavisti (Cracovia 26 Agosto – 3 Settembre 1998) / Associazione Italiana degli Slavisti; A cura di F. Esvan. – Napoli, 1998. – P. 25–60.

469. Suchanek, L. Модель жанра и его индивидуальная реализация (на примере агиографии) / L. Suchanek // Gattungen und Genologie der slavisch-orthodoxen Literaturen des Mittelalters (Dritte Berliner Fachtagung 1998). Im Auftrag der Berliner Forschungsgruppe «Ältereslavische Literaturen» herausgegeben von Klaus-Dieter Seeman. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. – S. 259–267.

470. Шунков, А. В. Авторское слово в русской эпистолографии 2-й половины XVII века (на материале семейной переписки царя Алексея Михайловича) / А. В. Шунков //Acta Neophilologica / Rocznik naukowy instytutu neofilologii; UWM Olsztyn. – 2010. – XII. – S. 181–191.

471. Шунков, А. В. Идея порядка и ее воплощения в жанровой традиции Древней Руси / А. В. Шунков// Acta Neophilologica / UWM Olsztyn. – 2012. – XIV (1). S. 193–201.

472. Shunkov, A. «The last judgement» as a plot motive of literature and culture of ancient Russia // Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet 2013 / A. Shunkov // Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21–22 marca 2013 v Poprade. – Ružomberok, 2013. – S. 686–690.

473. Jensen, Claudia. Orpheus and Pickleherring in the Kremlin: The «Ballet» for the Tsar of February 1672 / Jensen Claudia, Maier Ingrid / Scando-Slavica. – 2013. – 59 (2). –S. 145–184.

474. Piccio, R. Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom / R. Piccio // American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists (Warsaw, August 21–27, 1973) / Vol. II. Literature and Folklore / Ed. By Victor Terras. – The Hague; Paris, 1973. – P. 439–467.

475. Waugh, D. C. The Librari of Aleksei Mikhailovich / D. C. Waugh // Forschungen zur osteuropaischen des Geschichte. – 1986. – Bd.38. – P. 299–324.

476. Wigzell, Faith C. M. Literature from the beginning to 1700 / Faith C. M. Wigzell// The year`s work in modern language studies. – London, 1991. – Vol. 52 (1990). – P. 956–962.

477. Fuhrman, Ioseph T. Tsar Alexis, His Reign and His Russia / Ioseph T. Fuhrman. – Academic International Press, 1981. – 250 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РГАДА. Ф. 96. Оп. 2. 1661 г. Ед. хр. 2. Л. 123–124. Несмотря на отсутствие в письме подписи Воина, историки (Кошелева О. Е.) уверены в принадлежности покаянного послания именно Воину Нащокину.

Приводим текст по указанному изданию: «...с писма, каково писмо подал иноземец... в нынешнем... году. Пресветлый милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец! Не токмо в слезных моих супликат <...> до престолу вашего царского величества диригованных вину мою приношу тебе, великому государю, но и всегда есть сердешное мое покаяние святою правдою. Яко он мытарь, которой отшедл в дом свой по отпущении грехов его. Где и я имею надежду уподания моего. При <...> с мытарем [в] вере. Упросить Господа Бога, да будет милосердие Великого Государя надо мною, холопом твоим, тверду имею на сие надежду, понеже есть написано в Божественном писании: "Царева бо есть [воля] в руце Божией". Поистине, государь, царь, холоп твой смерти за преступление мое [достоин]... чистым моим покоянием. Милости у тебя, государя, прошу. Милосердый, пресветлый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, холопа своего, своим государевым милосердием, чтобы я, холоп твой, надежен был на твою цареву милость и где тобе, великому государю, повеление ми, холопу твоему, будет. Смерти не страшася, готов [тебе] служить. Ожидаю [твоей] государевой милости. Царь, государь, смилуйся... вашего...» (Кошелева О. Е. Побег Воина // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М., 1997. С. 55–86).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

«От царя, великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, верному и избранному и радетелному о Божиих и о наших государских делех и судящему люди Божия и наши государевы в правду (воистинно доброе и спасителное дело, что люди Божия судити в правду!), наипачеж христолюбцу и миролюбцу, еще же нищелюбцу и трудолюбцу и совершенно богоприимцу и странноприимцу и нашему государеву всякому делу доброму ходатаю и желателю, думному нашему дворянину и воеводе Афанасью Лаврентьевичу Ордину Нащокину от нас, Великого Государя, милостивое слово. Учинилось нам, Великому Государю, ведомо, что сын твой попущением Божиим, а своим безумством об[ъ]явился во Гданске, а тебе, отцу своему, лютую печаль учинил. И тоя ради печали, приключившейся тебе от самого сатаны и, мню, что и от всех сил бесовских, изшедшу сему злому вихру и смятоша воздух аерны[й] и разлучиша и отторгнута напрасно сего добраго агньца яростным и смрадным своим дуновением от тебе, отца и пастыря своего. Да и ты к нам, Великому Государю, в отписк[е] своей о том писал же, что писал к тебе ис Царевичева Дмитреева города дияк Дружина Протопопов и прислал Богуслава Радивила, посланника ево, роспрос, а в том роспросе об[ъ]явлено про приезд сына твоего во Гданеск. И мы, Великий Государь, и сами по тебе, верном своем рабе, поскорбели, приключившейся ради на тя сея

горкия болезни и злаго оружия, прошедшаго душу и тело твое. Ей, велика скорбь и туга воистинно! Си узнец жалостно раздробляетца и колесница плачевно сламляетца. Еще же скорбим и о сожителнице твоей, яко же и о пустыножилице и единопребывателнице в дому твоем, и премшую горкую пелынь тую во утробе своей, и зело оскорбляемся двойнаго и неутешнаго ея плача: перваго ея плача неимуще тебе Богом данного и истинна супруга своего пред очима своима всегда, второго плача ея — о восхощении и разлучении от лютаго и яросного зверя драгаго и единоутробного птенца своего, напрасно отторгнутаго от утробы ее. О злое сие насилие от темнаго зверя попущением Божием, а ваших грех ради! Воистинно зело велик и неутешим плач кроме Божия надеяния обоим вам, супругу с супружницею, лишившася таковаго наследника и единоутробнаго от недр своих, еще же утешителя и водителя старости, и угодителя честной вашей седине, и по отшествии вашем в вечная благая памятотворителя добраго. Что же, по сетовании, творим ти воспрянути от печали, что от сына, и возложити печаль на волю Божию. А нежели в печаль впадати или воскочити яко еленю на источники водныя, такс и тебе, отставя печаль и вборзе управитися умныма отчима на запаведи Божий и со всяким благодарением уповати яко же и Василий Великий, еже благо есть на Господа уповати, нежели на се помышляти. Предложим же и реченное от диякона во Святей литургии: “станем добре, станем добре, станем право и разумно, горе ум свой возводяше, сии речь свято, чисто и благоразумно и безо всякого сомнителства житейска быстро <ясно вспре> очима зрети, и благодати, надежди свыше ожидати”, – поучает.

Пригласим ж и Василия Великаго – ясносиятелнаго и огнезрачна столпа — его ж главе досязающи небеси, что ж огнезрачный Василий, како повелевает о всем благодарити Бога, а не в печали до конца пребывати? “Благодарим ли, привязуем, бием, на колеси протязуем, очию лишаем, благодарим ли, томим **<**и бием**>**, бесчестными ранами бием от ненавидящего, померзаем от мраза, гладом удручаем, на древе привязуем, чад напрасно лишаем или и жены самыя лишився, истоплением напрасно погубль гобзование во искусителя в мори, или в разбойники по случаю впад, язвы имея, оболгаем, недоумеем в юзилищи пребывая? Ей, благодарим, а не невоздаянием воздаем! И паче благочестие уповаем и плакати **<**повелевает**>** по естеству, а не через естество безмерное повелевает, ни же убо женам, ни же мужем повелевая любоплакателное и многослезное, поелико дряхлу быти печалных, и мало некако прослезити и се безмолвие, а не возмутителне, нерыдателне, ниже растерзавающи ризу или перстию посыповатися”. Призовем же и Иева праведнаго понесшага нашедшия и лютотерзаемые скорби, что ж тогда Иев рек, чим ползовался, точию непрестанно во устех своих имел: “Буди имя Господне благословенно от ныне и до века!” и, наконец, какая благая восприял! И тому мы, Великий Государь, вельми подивляемся, что вихра бесовска в мале нашедшага на тя, убоялся, а Божиею помощию отставил, и то в забвении положил как в мимошедшее время Дух Святой во святей церкви вас обоих соединил и тело и крови Господни смеете сподоби[л] приняти и уже на земле глас снабдевает и не забывает. Колми паче душу заблудящую и изгибшую может

вскоре возвратити на покояние и учинити в первое достояние. Почто в такую великую печаль и во уныние (токмо веруй и уповай!) чрезмерные вдал себя? И бьешь челом нам, Великому Государю, чтоб тебя переменить, чтоб твоим затемнением ума нашему, Великого Государя, делу на посольском съезде порухи какие не учинилось. И ты от которого обычая такое челобитье предлагаешь? Мню, что от безмерныя печали. Многи бо познахом в бедах нестерпимых испустити слезу не могущих, таж овех убо в неисцелныя страсти впадаша в неистовление или изступление ума, овех же и до конца издохнувша, якоже немощию силы их тяготою печали преклонишася. *Но что убо сотворю? Расторгну одежду и прииму валятися по земли и припадати и обумирати и показывати себе пришедшим яко же отроча от язвы взывающее и издыхающее?* И издохнувших телесныя ради жизни и срама тленнаго, которая благая восприяли, разве вечных мук наследие получил? *А упова<ние>телных воздая<ние>телных и безсумнителных <облегчает, обещает> на будущая благая <упования на Бога> печалная жития. Обесчестен ли бысть? Но к славе, еже ради терпения на небесех лежащей, взирай. Отщепен ли бысть? Но взирай богатство небесное и сокровище, еже скрыл еси себе ради благих дел. Отпал ли еси отечества? Но имаши отечество на небесех Иерусалим. Чадо ли отложил еси? Но ангелы имаши, с ними же ликоствуеши у престола Божия, и возвеселишися вечным веселием. И которая благая жизнь <издохнувша телесныя ради жизни и срама тленнаго кроме восприятия вечныя муки>* воскликни. Еже <а> великого солнца и златокованную трубу Иоана Златоустаго не воспомянул ли святаго его писания, еже не люто бо есть пасти, люто бо есть, падши, не

востати? Так и тебе подобает отпадения своего пред Богом, что до конца впал в печаль востати борзо и стати крепко, надесно, и уповати и дерзати на диявола, и на ево приключившееся действо крепко, и на свою безмерную печаль дерзостно, безо всякого сомнителства. Воистинно Бог с тобою есть и будет во веки и навеки, сию печаль той да обратит вам <вскоре> в радость и утешит вас вскоре. А что будет и впрямь сын твой изменил, и мы, Великий Государь, его измену поставили ни во что, и конечно ведаем, что кроме твоея воли сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и в соглашение <твое> ему. И он, простец, и у нас, великого государя, тайно был, и по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такого простоумышленного яда под языком ево не ведали. А тому мы, Великий Государь, не подивляемся, что сын твой сплутал, знатно то, что с молодоумия то учинил. Сам ты Божественное писание чтеши и разумееши, како святый апостол вещает о юности: “Юность есть нетвердо и всезыблемо основание, и ветроколеблема и удобосокрушаема трость, всюдуобносим помысл, неизвестный путешественник, неискусный снузник, пиянствующий всадник, необузданный свирипеющий конь, лютейший неукротимый зверь, любострасный огнь, себя поядающии пламень, неистовещееся моря, дивияющее воднение, удобь потопляемый корабль, безчинно движение, неподобно желание, разтленно рачение, неудобь удержание похотение, ярма благаго расторгновение и бремене лехкаго повержение, неведение Бога, забвение самого себе”. А он человек малодой, хощет создания

владычня и творения рук Ево видеть на сем свете, яко же и птица летает семо и овамо, и полетав доволно, паки ко гнезду своему прилетает **<…>** сердцу его Сына слова Божия, воспомянет гнездо свое телесное наипаче же душевное притязание от Святаго Духа во святой купели, он к вам вскоре возвратитца. И тебе б, верному рабу Божию и нашему государеву, видя к себе Божию милость, и нашу государскую отеческую премногую милость, и отложа тою печаль, Божие и наше государево дело совершать, смотря по тамошнему делу. А нашево государсково не токмо гневу на тебя к ведомости плутости сына твоего ни слова нет, а мира сего тленного и вихров, исходящих от злых человек, не перенять, потому что во всем свете разсеяни быша, точию бо человеку душою пред Богом не погрешить, а вихры злые, от человек нашедшие, кроме воли Божий что могут учинити? Упование нам Бог и прибежище наше Христос, а покровитель нам есть Дух Святый. Писано в царствующем граде Москве, в наших царских полатех, лета 7168 марта в 14 день».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

«Всемогущий Божие славы величества, в которой пребываем есмь и желающим от нас благополучие подаем и малодушных сим утешаем сице: Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не смущайся, аще ветвь пала, но древо непоколебимо, корень бо есть водрузися на твердой земле. А за отдалением ветрозыблющия ветви не имей себя отрезана быти, и древа сим подпором нашего милостиваго обнадеяния подкрепляем буди. Абие плод приносил бы ся не во уничижению оному древу. Ведаешь, где родился есть и воспитан и вырос и чево учон не зло творити. В здешнее простираясь, не пренебрези будущих, иде же неумытный судия свесть тайная человеком. Ей, того убойся, иже по убиении может воврещи в дебрь огненную, но и власы главы изочтены суть. До сего времяни в буести твоей пребытие, иде же и ныне есть. А от того хотящи тя во исправлении видети, челобитье твое приняв, милостиво прощаем и обнадеживаем целу и без навету, нашим же превысоким милосердием от излишних свободну быти, яко же рожший твой, без всякого сумнения, зря нашу милость, близ нас пребывает, а чего желаешь от нас ведомства принята о служении своем и тобе бы не ослабно, всячески промысл иметь и почасту писать и писма присылать Якову Ренингу, он на то повеление имеет чрез Юрья Никифорова, подьячева, которого гораздо знаешь. Велено тому Ренингу чрез почту до Печерского монастыря посылать, а от толь, где надобно быть, учнут посылать»

(Записки отделения Русской и Славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 768–769; РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 197. л. 3–4).